

ВРЕМЯ
ИМЫ 121
1993



ПИСЬМО С ФРОНТА

ВРЕМЯ И МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Деятнадцатый год издания

**Выходит один раз
в три месяца**

**121
1993**

НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

**ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ЮРИЙ БРЕТЕЛЬ **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ДЖОН ГЛЭД **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНГОХ**
ЛЕВ НАВРОЗОВ **ЕФИМ ЭТКИНД** (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК

Московское отделение журнала "Время и мы"

Андрей Колесников
Адрес отделения: 121433, Москва,
Малая Филевская ул., 54, кв. 4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала "Время и мы"

Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot
mizgch, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"

Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Voieffdieu,
92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине

Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>А.Б. ЙЕГОШУА</i>	
Любовник	5
<i>Вера ЗУБАРЕВА</i>	
Игра фантазий	151
<i>Александр ШКЛЯРИНСКИЙ</i>	
Молитва	157

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА

<i>Петр БОЛДЫРЕВ</i>	
Но вечный выше нас закон	164
<i>В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ</i>	
Американское телевидение как искусство и как наркотик	180
<i>Лев НАВРОЗОВ</i>	
"Уж полночь близится, а Г. все нет..."	190
<i>Ю. ШРЕЙДЕР</i>	
Правда Солженицина и правда Шаламова	204

СУДЬБЫ

<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Один солдат на свете жил	219

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Исповедь палача	236
---------------------------	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

<i>Сергей ИВАНОВ</i>	
Мой отец был свидетелем смерти Маяковского	256

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

<i>В.ПЕТРОВСКИЙ</i>	
Памукале — город трех цивилизаций	275



А.Б.ЙЕГОШУА

ЛЮБОВНИК

Главы из романа

Перевод с иврита Наталии Вольберг

На великих изломах жизни рождается великий дух, а с ним и подлинная литература. Кажется, мир уже много знает об Израиле, а вот его литература и ее герои, которые только и могли родиться в этой стране, нередко скрыты за семью печатями. Первая встреча журнала с израильской литературой произошла в 1976 году, когда в редколлегию пришел теперь уже давно покойный Михаил Ледер. Человек из легенды, полиглот и знаток иврита, он был одержим идеей перевести повесть А.Б. Иегошуа "В начале лета 1973 года", которая появилась в десятом номере "Время и мы". Позже в переводе Ледера печатались и другие произведения, но с его смертью у редакции, казалось, навсегда исчезла эта драгоценная возможность. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что спустя много лет (журнал уже начнет выходить в Америке) с таким же предложением в редакцию обратится учительница из Беер-Шевы, бывшая ленинградка Наташа Вольберг, и совсем скоро в ее переводе появятся повести

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"
ISSN 0737-7061

Давида Шахара "Цезарь" и Йегошуа бар Йосефа "В инвалидной коляске". В отличие от Ледера Наталия Вольберг не была профессиональной переводчицей, и ее пример лишь говорит о том, насколько неисповедимы пути человека в литературу. И о том, что талант переводчика может быть от Бога. И еще о том, как важна при атом любовь к языку и литературе, — и к той, на которой написан оригинал, и к той, на языке которой должно появиться произведение. Читатель спросит, отчего первый отрывок появился в номерах 114—115, и только теперь его главная и заключительная часть. Как пишет Наталия Вольберг, она никак не решалась взяться за эту работу — отпугивали размеры романа, более 400 страниц, а когда отважилась, то оказалась перед задачей такой трудности, что долго не была уверена, в состоянии ли ее осилить. В ответ на просьбу изложить сюжет мы получили от Натальи Вольберг такой ответ:

"Передать содержание "Любовника" почти невозможно. Не оттого, что сюжет слишком сложен, а, скорее, напротив. И, вообще, какое у него содержание? Живет в Хайфе семья, владелец гаража Адам, его стареющая жена Ася, с которой он когда-то учился в школе. Рядом единственная дочь Дафи, школьница, превращающаяся в женщину. (Их первый ребенок Игал родился глухим и погиб под колесами автомобиля.) И вот у Аси появляется любовник, который явно не от мира сего. Прожив во Франции 10 лет, он приезжает без копейки в Израиль в расчете на наследство бабушки Ведучи, пребывающей без сознания в больнице для хроников. С первого дня Войны Судного дня любовник исчезает, и Адам ищет его по всей стране. В доме появляется арабский мальчик Наим, который работает в гараже Адама и влюбляется в Дафи. Поиски Адама, между тем, остаются тщетными, и он решает прекратить их, пока в его руки не попадет конец нити. Об этом и повествует предлагаемый отрывок."*

Каждое событие романа рассказывается от имени разных героев. "Роман писался с сознанием того, что израильскую действительность середины семидесятых годов нельзя выразить одним голосом, необходимо было описать ее с точки зрения разных людей. Действительность потеряла свой идейный центр, и только многоголосый хор мог выразить разные и противоречивые идеи общества." Это уже слова самого А.Б. Йегошуа. К ним можно добавить, что "Любовник", который сразу же при выходе превратился в бестселлер, переведен на многие языки мира.

*Публикуется с сокращениями

НАИМ

Нет, они не ненавидят нас. Тот, кто думает, что они ненавидят нас, — ошибается. Мы для них — какие-то тени, которые невозможно ненавидеть. Возьми, принеси, поймай, почисти, подними, подмети, разбери, отодвинь. Так они думают о нас, но когда их начинают убивать, они становятся какими-то усталыми, словно замедленными, рассеянными и могут вдруг распахнуться ни за что ни про что, до последних известий или после них, а мы вообще и не слушаем эти известия, слышим, что говорят о чем-то, но не знаем, о чем точно, понимаем слова, но не хотим вникать. Они не врут, но и не говорят правду, точно так же, как станции Дамаска, Омана и Каира. Наполовину правда, а наполовину вранье, просто морочат голову. Уж лучше послушать приятную музыку из Бейрута, новую стремительную арабскую музыку, заставляющую подпрыгивать сердце, кажется, что кровь начинает быстрее течь по жилам. Когда мы чиним их машины, первое, что мы делаем — это избавляемся от "Голоса Израиля" и от "Волн Цахала" и ищем в эфире какую-нибудь хорошую станцию, без болтовни, только песни, новые сладкие песни о любви. Эта тема не надоедает никогда. Самое главное — без этой бесконечной трепотни об этом проклятом конфликте, которому конца не видно. Когда я лежу на полу под машиной, подтягиваю тормоза, музыка, доносящаяся из машины, словно гуляет по моей голове. Честное слово, иногда глаза у меня бывают на мокром месте.

Не то чтобы я ненавидел эту работу, да и попал я в гараж относительно хороший и достаточно большой, так что на тебя не натываются постоянно и не морочат тебе голову. Сын моего дяди, Хамид, работает недалеко от меня, и хотя он притворяется, что не замечает меня, но все-таки следит, чтобы ко мне не очень-то приставали. Но, как бы это сказать, мне хотелось учиться дальше, а не работать в гараже. Я кончил восьмилетку с очень хорошими отметками. Учитель, молодой студент, был до-

волен мной. На уроках иврита я даже думал на иврите и знал наизусть, может быть, с десятков стихотворений Бялика. Раз в нашу школу приехала группа учителей-евреев на инспекцию, чтобы посмотреть, чем мы занимаемся, и учитель вызвал меня, а я встал перед ними и выдал им тут же на месте две строфы из "Сказания о погроме"*.

Их чуть удар не хватил от удивления. Короче, я мог бы учиться дальше, учитель даже ходил к отцу, чтобы убедить его — жаль мальчишку, есть у него голова. Но отец уперся. Достаточно мне двух сыновей в семье, которые учатся. Как будто мы связаны веревкой, и если один учится, то и другой из-за этого становится ученым. Фаиз скоро кончает медицинский в Англии, он учится там уже десять лет, а Аднан на будущий год поступит в университет. Он там тоже будет изучать медицину, а может, электронику. А я, младший, должен работать. Кто-то же должен зарабатывать деньги. Отец решил сделать из меня механика, специалиста, как Хамид, а тот зарабатывает неплохо.

Я, конечно, плакал, кричал и умолял, но мне ничего не помогло. Мама молчала, не хотела ссориться из-за меня, не могла сказать: почему Аднан и Фаиз — да, а Наим — нет, потому что они от другой, старой жены, умершей несколько лет тому назад, и отец уже обещал ей.

До чего же трудно было вначале вставать рано утром. Кругом темень, а папа берет и вытаскивает меня ласково из кровати, садится и смотрит, как я одеваюсь, пью, ем. Провожает меня по просыпающейся деревне, на улицу льется свет от электрических ламп и от огня в печках, идем к автобусу по грязным, с лужами, улицам, переулкам, между осликами и мешками. Передает меня Хамиду, словно я арестант, меня поднимают в холодный автобус вместе со всеми рабочими, в руке я держу пластиковый мешочек с мамиными лепешками. Автобус постепенно наполняется, и Мухаммед, шофер, усаживается за руль

* Поэма Х.Н. Бялика (1873-1934)

и начинает разогревать мотор, гудит опаздывающим. А я через запотевшее окно смотрю на отца, сидящего, согнувшись, под навесом. Сморщенный старик, завернутый в черную абайю, время от времени поднимает руку, чтобы благословить всякого, кто проходит мимо, завязывает с кем-то беседу, но все время смотрит на меня со стороны.

Сначала, хотя я и на самом деле спал всю дорогу, приезжал я к евреям совершенно разбитым. Все время зеваю, а инструменты валяются у меня из рук. Каждую минуту спрашиваю, который час. Но постепенно привык. Вначале я пробовал брать с собой книгу, чтобы читать в пути, но заметил, что все смеются надо мной. До того странным казалось им, что я еду работать в гараж с книгой, да еще с книгой на иврите. Думали, что я ненормальный. Тогда я бросил это дело, да и сосредоточиться невозможно. Без конца читаю одну и ту же страницу, а в голову ничего не входит.

После работы, в четыре часа, мы уже стоим у остановки, ждем, когда прибудет автобус Мухаммеда. Со всего города стекаются жители нашей деревни и соседних деревень: строительные рабочие, садовники, мусорщики, мойщики посуды, землекопы, домработницы, рабочие гаражей, все с пустыми пластиковыми мешочками в руках и удостоверением личности, лежащим наготове в левом кармане, чтобы вытащить его в нужный момент. С нами заходят и самые разные евреи с тяжелыми корзинами; большинство из них выходят, не доезжая Акко. В Акко заходят еще арабы и евреи, только другие — новые репатрианты из России в тяжелых пальто и марокканцы. Иврита почти не слышно. Хайфа скрылась за горизонтом, Кармель, поглотили горы, электрические столбы попадают все реже. Нет и помину от евреев в этом районе. Запах евреев улетучился. Мухаммед переключает радио на Багдад, передающий главы из Корана, чтобы развлечь нас. Мы глубоко врезаемся в горы, едем между фруктовыми садами по узкой дороге, петляющей между полями. Только арабы в полях, босые пастухи со стадами своих овец. Как будто и не было Декларации

Бальфура, не было Герцля, не было войн. Маленькие, тихие деревни, все, как, по рассказам, было много лет назад, и даже еще лучше, а автобус наполнен трелями этого имама из Багдада, мягкий голос трепетно произносит суры.

АДАМ

Во время споров на наших встречах в канун субботы, пустых разговоров над миской арахиса и расплывшейся тхины, когда начинались эти политические рассуждения об арабах, об арабском характере, ментальности и прочем, на меня находила какая-то тоска, я начинал ворчать, в последнее время я стал нетерпеливым во время споров:

— Что вы, в сущности, знаете об арабах? У меня работают, наверно, тридцать арабов, и, поверьте мне, с каждым днем я все меньше в них разбираюсь.

— Но это другие арабы.

— Что значит — другие, чем они отличаются? — сердито воспаляюсь я.

Как объяснить? Мысли у меня путаются. Я снова сажусь, молчу.

Вот, например, Хамид... Он, наверно, мне ровесник, но тело у него очень тонкое, как у юноши. Только лицо морщинистое. Он мой первый рабочий, работает у меня почти двадцать лет. Молчаливый, гордый, этакий одинокий волк. Старается не смотреть в *глаза*, но если тебе удастся поймать его взгляд, то видишь, какие они темные, как застывшая в стакане кофейная гуща.

О чем он думает? Что он думает обо мне, например? Трудно вытянуть из него слово, а если он говорит, то только о деле — о моторах, машинах. Когда я попытался как-то перевести беседу на другие темы, он явно уклонился от этого. Его преданность необычайна, а может быть, это вовсе и не преданность. Он работает уже много лет и не пропустил ни одного дня. Первого числа каждого месяца Эрлих выдает ему наличными четыре тысячи лир, которые Хамид тотчас же, не считая, сует в карман

рубашки, не говоря ни слова. На что он тратит эти деньги, неизвестно, он всегда ходит в потрепанной одежде и в стоптанных ботинках.

Механик высшего класса. У него золотые руки и бездна терпения. Он разбирает старые, совершенно безнадежные моторы, сверлит, обтачивает новые детали и вдыхает в них жизнь. Обеденный перерыв он кончает первым, но когда рабочий день кончается, он сейчас же прекращает работу, никогда не соглашается работать сверхурочно, моет руки, берет свой пустой пластиковый мешочек и исчезает.

Два-три года назад он стал вдруг религиозным. Принес из дома маленький грязный коврик и дважды в день прекращает работу на несколько минут, снимает ботинки, расстилает перед собой коврик, становится на колени и начинает отбивать поклоны в сторону юга, прямо напротив токарного станка и стены, на которой висят самые современные инструменты, произносит пламенные возгласы, обращаясь к самому себе, к пророку, черт знает, к кому. Потом влезает в ботинки и возвращается к работе. Какая-то непонятная религиозность. Даже другие арабы, работающие в гараже, смотрят на него с какой-то хмурой серьезностью.

Ведь, несмотря на свое обособленное положение, он у них вроде как руководитель. Одинок бродит между ними, не разговаривает. Но когда мне требуется новый рабочий, он приводит ко мне через два-три дня еще мальчика или подростка, словно у него в распоряжении целый полк. Потом я понял, что большинство арабов в гараже, в сущности, его родственники, двоюродные братья или племянники, прямые или косвенные.

Как-то я спросил его:

— Сколько у тебя двоюродных братьев?

— Много, ни разу не считал.

— А сколько работает здесь?

— Сколько? — он попытался увильнуть от прямого ответа, — есть несколько.

Потом указал мне, по крайней мере, на десяток, если

не считать двух его сыновей. Очень удивил меня, потому что я в жизни не предполагал, что это его сыновья. Не видно было, чтобы он выказывал какое-нибудь особое к ним отношение.

- Сколько у тебя детей?
- Для чего?
- Так просто... знать.
- Четырнадцать...
- Сколько жен?
- Две...

В первый день войны он, разумеется, прибыл на работу. Но с ним приехали лишь немногие, боялись покинуть деревню, не знали, что произойдет. Я сейчас же набросился на него:

— Где остальные?

Он молчит, не смотрит на меня, не понимает вообще, чего я хочу от него. Но я не отстаю:

— Ты, Хамид, скажи всем, чтобы явились на работу. Что это? Наша война — совсем не означает, что у вас отпуск. Кто не придет завтра, не получит здесь больше работы, скажи своим родственникам.

Он пожал плечами, как будто это его совсем не трогает. Назавтра пришли все арабы.

Но дальше этого я не иду ни с ним, ни с другими, я никогда не ездил в их деревни, не бывал у них в гостях, как другие хозяева гаражей с нами по соседству. Это всегда кончается плохо — в конце концов садятся тебе на голову. И вообще в последние годы я стал как можно меньше вмешиваться в дела. Я увидел, что все идет и без меня с большим успехом. Я уже даже не знаю имен многих рабочих, тем более, что они все время меняются. Гараж в последние годы все время наполняется молодыми ребятами, иногда прямо детьми. Арабы приводят с собой маленьких детей — братьев, двоюродных братьев или просто голытьбу из деревень. Они любят таких маленьких частных слуг, на которых можно прикрикнуть, которым можно приказывать. Это придает им уверенность

и вес в собственных глазах. Чем больше разрастался гараж, тем все больше мальчишек крутилось в нем.

Как-то я спросил Эрлиха:

— Скажи, это за мой счет весь этот детский сад?

Но он улыбнулся, махнул рукой:

— Не беспокойся, за них не надо платить налог, ты только зарабатываешь на этом...

Однажды стою я во дворе, задумавшись, и вдруг кто-то сует мне между ног метлу и говорит сердито:

— Может, подвинешься.

Я посмотрел и вижу — какой-то маленький араб с большущей метлой смотрит на меня нахально своими умными глазами.

Что-то заставило мое сердце сжаться. Я вдруг вспомнил Игала, не знаю почему, что-то во взгляде черных глаз...

— Кто привел тебя сюда? — спрашиваю я его. Не думаю, что он знает, что я хозяин гаража.

— Мой двоюродный брат — Хамид...

Ну, конечно, Хамид. Каждый второй человек тут — двоюродный брат Хамида. Скоро окажется, что и я его родственник.

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать и три месяца...

— Что это ты? Не хотел больше учиться в школе?

Он покраснел, испугался, боялся, что я выгоню его. Стал что-то бормотать о своем отце, который не хотел... маленький врунишка.

И продолжал подметать вокруг, и вдруг что-то дрогнуло во мне, я протянул руку и мягко коснулся его кудрявой головы, пыльной после целого дня подметания. Маленький араб, мой рабочий, о чем он думает? Чем он занят? Откуда он пришел? Что с ним происходит? Никогда я не узнаю. Даже имя его, которое он только что назвал мне, я уже забыл.

НАИМ

В первые дни мне было очень интересно в этом большом гараже. Новые лица вокруг меня, приходят и уходят, самые разные евреи приводят свои машины, смеются и кричат. Несколько слесарей-евреев, ужасные пройдохи, местные арабы, вконец испорченные, со своими сомнительными анекдотами. Шум и гам. На всех стенах развешаны изображения девушек, почти совсем голых и ужасно красивых, прямо дух захватывает, евреек и неевреек, блондинок, черных, совсем негритянок и рыжих. Прекрасные. Невозможно поверить, что такие бывают. Лежат с закрытыми глазами на новых машинах, открывают дверцы великолепных машин, кладут свои груди, зад, длинные ноги на моторы. На заднюю одну, ужасно симпатичной, изобразили целый календарь, хватило места. Я совсем ополоумел от этих картинок. Боюсь смотреть и смотрю, не отрываясь. Глаза просто тянутся туда сами, все время возбуждаюсь. И "малютка" постоянно болел у меня из-за напряжения. В первые недели бродил я между рабочими и машинами, в этом шуме и грязи, сам не свой. Несколько раз трусы мои становились немного мокрыми. Ночью в кровати страсти одолевали меня, я вспоминал и не переставал думать о них. Сколько семени изливалось из меня! Я перескакиваю с одной на другую, не хочу пропустить ни одной. Целую и горю, успокаиваюсь и снова возбуждаюсь. Утром вставал изможденный и бледный, отец и мать стали уже беспокоиться. Пока, наконец, я не стал привыкать постепенно к этим картинкам. Через месяц я смотрел на них уже так же равнодушно, как на портреты двух президентов, покойного и живого, и премьер-министра — старушки, которые тоже висели рядом с изображениями девиц. Я перестал реагировать на них.

Вначале я, в сущности, ничего не делал. Кручусь под ногами, подношу инструменты слесарям. Через неделю мне дали метлу, тряпку и ведро, и я все время подметал пол, собирал старые винты, посыпал опилками пятна масла, в общем отвечал за чистоту в гараже. Задача

совершенно невозможная, и ужас — какая тоска. Каждый мне приказывал: и арабы, и евреи, кому не лень. Даже совсем посторонние люди, зашедшие в гараж случайно. Мальчик, принеси; мальчик, подними; мальчик, поддержи; мальчик, почисти.

Настроение у меня было — хуже некуда. Вся эта работа вызывала у меня отвращение, ничего не хотелось делать. Машины тоже не интересовали меня. Когда еще я научусь чему-нибудь, когда стану слесарем, и для чего мне это вообще? Счастье еще, что этот гараж такой большой, так что можно исчезнуть иногда, и никто не заметит. Я брал метлу, глаза в пол, и подметал, подметал в направлении к заднему выходу, пока не выходил из гаража совсем. Тогда забирался я во двор какого-нибудь заброшенного дома, садился на ящик и смотрел на улицу, глядел, как дети, одетые в школьную форму, идут с портфелями, возвращаются домой. Ужас — как грустно. Я думал о стихах и рассказах, которые они читают, и о том, что я в конце концов отупею тут совершенно. С этой метлой и ржавыми винтами. Тихо-тихо шепчу я про себя, чтобы совсем не упасть духом, несколько строк из "Мертвецов пустыни" Бялика. Из этой поэмы я знал когда-то наизусть целые отрывки, но с каждым днем помнил все меньше и меньше. Потом я вставал, брал метлу и начинал подметать вокруг себя и медленно, медленно, подметая, входил в гараж, смешиваясь с находящимися там людьми, так, чтобы не заметили, ни как я исчез, ни как я вернулся.

А кто наш господин? Много времени прошло, пока я узнал, кто хозяин гаража. Сначала я думал, что это старик, который сидит все время в маленькой конторе, единственном месте, где нет фотографий голых женщин. Но мне сказали, что он лишь бухгалтер — просто служащий.

В конце концов мне показали настоящего хозяина гаража, которому принадлежит все. Его зовут Адам. Человек лет сорока пяти, а может быть, и больше, коренастый, с большой бородой. Может, из-за бороды до меня сразу не дошло, что он хозяин гаража. Я думал, что он вообще не имеет к гаражу отношения, что он какой-нибудь ху-

дожник или профессор. Для чего ему эта борода? Не понимаю.

Одет наполовину в рабочую одежду, а наполовину — нет. Белая рубашка или чистый красивый свитер и синие рабочие брюки. Большую часть времени он не находится в гараже, а разъезжает в большой американской машине. Когда он появляется, его сразу же окружают несколько механиков, ходят за ним, говорят с ним, спрашивают, советуются. А он все время как будто хочет отделаться от них, всегда усталый, занятый чем-то другим, не имеющим отношения к гаражу. Но в конце концов круг около него замыкается, и он стоит в центре, слушает и не слушает. Если говорит, то тихо, голова немного опущена, жуется кусок своей бороды, словно стесняется чего-то. Даже на женщин не обращает внимания, а в гараж иногда приходят очень красивые женщины с маленькими симпатичными машинами и чуть ли не полдня путаются у нас под ногами. У ребят, которые не отводят от них глаз, инструменты валяются из рук. Даже те, кто лежит под машинами, ухитряются смотреть на них. Эти тоже бегают за Адамом, пытаются говорить с ним, даже рассмешить его, но его не так-то просто рассмешить. Он почти не смотрит на них. Нас, простых рабочих, он вообще не замечает, как будто мы — воздух. Его не больно занимает вся эта работа в гараже. Но когда он крутится около нас, все начинает идти быстрее, и даже радио делают немного потише, хотя он ни разу ничего не сказал против арабской музыки. Иногда, если возникает какая-нибудь трудность, его просят взглянуть на мотор или послушать, как он работает, или приносят ему разобранную часть, чтобы узнать, можно ли ее починить или надо заменить. И он смотрит, слушает, руки в карманах, не дотрагивается даже до самой маленькой отвертки. Потом совершенно уверенно, без капли сомнения, дает указания.

Счетами он не занимается. В контору заходит лишь тогда, когда там начинается спор и какой-нибудь клиент входит в раж из-за высокой цены. Он снова просма-

тривает счет, но он упрям, как осел, не уступит ни копейки.

Как-то раз, перед самым концом рабочего дня, когда я снова подметал весь гараж, я дошел до места, где он стоял и говорил с кем-то.

Я стоял, опершись о метлу, а он стоял посреди кучи мусора и слушал какого-то болтливого господина, который никак не мог перестать говорить. Это был сумасшедший день, шел дождь, и я подметал гараж уже, наверно, раз пять. Все время приводили машины, которые не заводились, побитые машины, поскользнувшиеся на мокрой дороге. Этому не было конца. Наконец господин в костюме, который говорил о политике, расстался с ним, а он все продолжал стоять, задумавшись, не двигаясь с места. Я боялся сказать слово. Вдруг он заметил, как я стою в метре от него и жду со своей метлой.

— Чего ты хочешь?

Я смутился. Он испугал меня, обратившись ко мне так вот прямо.

— Чтобы вы подвинулись немного, мне нужно подмести тут, под вами.

Он улыбнулся и подвинулся, а я начал быстро подметать там, где он стоял, чтобы он мог вернуться на это место, если ему так уж хочется стоять именно там. А он посмотрел на меня пристально, изучая меня, как будто я что-то необыкновенное. Вдруг он спросил:

— Кто привел тебя сюда?

— Двоюродный брат, Хамид... — сразу ответил я, а сам дрожу и краснею, не знаю — почему. Что он вообще может мне сделать? Подумаешь, платит мне копейки, да и все деньги идут прямо отцу.

— Сколько тебе лет, мальчик? — и он туда же — "мальчик", черт его побери.

— Четырнадцать и еще почти три месяца.

— Что же ты? Не хотел больше учиться?

А я испугался. Как это он сразу сообразил о школе. Стал что-то бормотать нечленораздельное.

— Я-то хотел, но папа не хотел.

Он хотел сказать что-то, но промолчал, продолжая смотреть на меня. А я начал осторожно двигать метлой и подметать вокруг него. Быстро собираю мусор и вдруг чувствую, что он слегка касается меня, кладет свою руку на мою голову.

— Как тебя зовут?

Я говорю ему. А голос мой дрожит. Ни разу ни один еврей не положил свою руку на мою голову. Я бы мог прочитать ему наизусть стихотворение. Например, "Ветка склонилась"* . Так вот запросто. Если бы он попросил. Он прямо загипнотизировал меня. Но он не знал, что такое вообще возможно.

С тех пор он всегда улыбался мне, когда я попадался ему на глаза. А через неделю меня сняли с метлы и начали учить другой работе — натягивать тормоза, это не так уж сложно. Стал я натягивать им тормоза.

ДАФИ

Такая усталость. А что вы думаете? По ночам я не сплю. Может, удастся мне уснуть на часок под утро, но мама вытаскивает меня из кровати, и пока она не увидит, что я сижу и пью кофе, она не выходит из дома. Странно, что сначала усталость совсем не чувствуется, я даже не опаздываю в школу. На первом уроке голова у меня довольно ясная, тем более, что и все еще полусонные, даже учитель. Перелом наступает всегда на третьем уроке, так около без четверти одиннадцать. Я начинаю чувствовать внутри какую-то пустоту от невыносимой усталости, сердце мое проваливается, а на душе становится так тяжело, словно я умираю.

В первое время я выходила из класса, чтобы смочить лицо и немного подремать где-нибудь на скамейке. Возле уборной я нашла небольшую нишу и попробовала уснуть там, но это место не совсем надежное, потому что Швар-

* Стихотворение Х.Н. Бялика

ци все время патрулирует там (Черт возьми, что ему нужно около уборной для девочек?). Один раз он застучал меня там и начал свои нравоучения, а потом в два счета водворил меня обратно в класс. Я стала искать другое место, чтобы прикорнуть там, но ничего не нашла. Потому что школа не приспособлена для того, чтобы дать ученикам немного поспать. Я была просто несчастной, а надо было мне всего каких-нибудь четверть часа сна, чтобы я ожила. В конце концов меня осенила замечательная идея — спать в классе во время урока, и я даже нашла подходящее для этого место. В четвертом ряду, почти в самом конце, есть колонна, поддерживающая потолок, она создает маленькое укрытие, особенно если придвинуть стол совсем близко к стене. Там можно спрятаться от учителя — ты будто находишься в классе и в то же время отсутствуешь.

Как-то раз на переменке, когда в классе никого не было, я уселась там, а Тали и Оснат вошли в класс искать меня и сейчас же вышли, потому что не заметили меня.

Но сначала мне надо было уговорить Игала Рабиновича поменяться со мной местами, не сообщая ему настоящей причины. А он не хотел, он тоже, наверно, обнаружил преимущества своего места. Тогда я стала заигрывать с ним — улыбаться ему, говорить с ним на переменах, ходить с ним вместе домой после школы и даже как бы невзначай коснулась его. И он, этакий дикарь, стал немного смущаться, я поняла, что он вот-вот влюбится в меня. Он стал поджидать меня утром около дома, чтобы вместе идти в школу, он даже несколько раз пропустил тренировки по баскетболу, которые проводились перед началом занятий. Я не собиралась вскружить ему голову, просто хотела уговорить его поменяться со мной местами, но он все время не соглашался. Все-таки в конце концов он сдался. Бедняга, у него верные три двойки, так что у него тоже есть достаточно причин не очень-то высываться. Но он согласился. Мне просто захотелось расцеловать его, но я удержалась, чтобы он не начал думать о том, о чем ему думать не полагается. Мы пошли к

классной воспитательнице и сообщили ей об обмене, а я принесла из дому маленькую подушечку, которую сделала специально. Сажусь под таким углом, чтобы меня совершенно не было видно, прислоняю подушечку к стене, кладу на нее голову и немедленно засыпаю, честное слово, засыпаю по-настоящему.

Лучше всего у Арци, учителя по Талмуду. Во-первых, он подслеповатый, во-вторых, он почти не встает со стула. Приходит в класс, садится и не встает до самого звонка; когда-нибудь стул под ним развалится. В-третьих, он говорит таким тихим, монотонным голосом, что совсем не мешает спать, а самое последнее и самое главное — у него никогда не пропустишь много материала. Если я даже засыпаю с самого начала урока и просыпаюсь со звонком, класс за это время успеваает пройти не больше двух строк.

Ребята уже привыкли к тому, что я засыпаю на уроках, и Тали, которая сидит передо мной, должна будить меня всякий раз, когда кто-нибудь приближается. Сегодня был ясный день, солнце сияло вовсю, а я была до смерти усталой, уселась под нужным углом, положила подушечку, оперлась о стену, которая уже совсем облупилась, и сразу же уснула. И вдруг Арци встал со своего места, что-то не сиделось ему, может быть, солнце стало слишком припекать, и начал бродить между столами. Он, конечно, сразу же заметил меня, и когда Тали попыталась предупредить меня, он сказал ей: ш...ш... Весь класс затих, смотрят, как он приближается ко мне своими старческими шажками. Он постоял возле меня несколько секунд (так мне потом рассказывали) и начал вдруг говорить нараспев: "Спи, моя радость, усни", а весь класс затаил дыхание. А я все еще не просыпаюсь, мне кажется, что я даже видела сон, до того была усталой. В конце концов он дотронулся до меня, подумал, что, может быть, я потеряла сознание. Я открываю глаза и вижу его милое улыбающееся лицо. Мне просто повезло, что это был он. И тогда

он произнес нараспев: "Май ка машма лан* — что кровать твою отдали в починку". Развеселился старикашка. А класс ржет. Что могла я сказать ему? Только улыбнулась в ответ. Тогда он сказал: "Может, пойдешь спать домой, Дафна?" Я, конечно, должна была отказаться, сказать, что я хочу присутствовать на уроке по Талмуду, но мне так хотелось еще поспать, что я встала, собрала книги и тетради, взяла портфель и вышла. Крадусь по пустым коридорам, чтобы Шварци не наткнулся на меня. И быстро побежала домой.

Сначала из-за дикой усталости я подумала, что ошиблась квартирой, потому что когда я открыла дверь, то увидела незнакомого мальчишку, стоящего на кухне и пытающегося найти что-нибудь попить. Но это была наша квартира, а мальчик был рабочий из папиного гаража. Папа послал его взять забытую дома сумку. Мальчишка испугался, увидев меня, быстро схватил сумку и сразу убежал. Тогда я разделась, хотя утро было в самом разгаре, натянула пижаму, опустила жалюзи и залезла в кровать. Будь благословен Арци, настоящий воспитатель, заботящийся о своих учениках. Только вот эта проклятая кровать. Не успела я улечься в нее и закрыть глаза — сна как не бывало.

НАИМ

Однажды утром вытаскивают меня из-под одной из машин и говорят: "Иди скорей к нему, он велел тебя позвать." Я подошел к этому Адаму. Он посмотрел на меня и спросил: "Как тебя зовут?" — "Наим," — снова сказал я ему. — "Так вот, возьми этот ключ и пойди ко мне на квартиру, там на маленьком шкафчике у входа в прихожей найдешь черную сумку. Принеси ее сюда. Ты знаешь Кармель?" — "Да", — сказал я, хотя и не знал, но мне ужас как захотелось уйти и немного побродить

*Что скажешь ты нам (арам.)

по городу. Он написал адрес на клочке бумаги, объяснил, на какой автобус сесть, вытащил тяжелый кошелек, набитый деньгами, дал мне десять лир и отослал меня.

И я, никого не спрашивая, сам нашел его дом, трехэтажный дом в тихом красивом переулке с садами и деревьями. И отовсюду видно море, такой голубой лоскуток проглядывает между домами. Я все время оставался, чтобы посмотреть на него. Никогда не видел я моря с такой высоты. На улице очень мало людей, только несколько старух с колясками кормят толстых младенцев. Эти евреи страшно балуют своих детей, а потом посылают их на войну.

Я вошел в дом. На лестнице было очень чисто. Сначала позвонил — а вдруг кто-нибудь дома, чтобы не сказали, что я взломщик. Немного подождал, а потом открыл дверь. В квартире немного темно, но очень чисто. В гараже полный бардак, а тут все убрано, каждая вещь на своем месте, кроме его сумки. Я взял ее и собирался выйти, потому что он только это и велел мне сделать. Но мне не хотелось уходить, эта темная квартира понравилась мне. Я зашел в гостиную, ступая по мягким коврам, посмотрел в огромное окно — и снова передо мною море. Даже присел на минутку отдохнуть в кресле около горшков с цветами и сразу же встал. Посмотрел на картины, висящие на стенах. Возле радио стояла фотография мальчика лет пяти в черной рамке. Сразу видно, что это его сын. Мне давно пора было уходить. Нехорошо крутиться тут, касаться вещей, но мне вдруг захотелось посмотреть, а как у них на кухне, что едят евреи. Ни разу не заглядывал я в холодильник евреев. На кухне тоже было очень чисто. Стол прямо блестел. В раковине стоял только один стакан из-под кофе, невымытый. Я открыл холодильник. Еды там было не так уж много. Немного творогу, несколько яиц, несколько банок с простоквашей, бутылка сока, кусок курицы на тарелке, лекарства и, наверное, десять плиток шоколада разных сортов. Может быть, на обед они едят шоколад?

"Ну, хватит, — подумал я, — теперь надо уйти". Но тут

я заметил большой кувшин с густым красным напитком. Такого напитка я ни разу не видел. Решил попробовать его, хотя мне совсем не хотелось пить. Я взял стакан, налил немного, стал пить, а у этого питья был вкус свеклы, и вдруг слышу звук ключа, повертывающегося в замке. Я быстро вылил в раковину то, что еще оставалось в стакане, открыл кран и вымыл стакан. В дверь вошла девочка в школьной форме примерно моего возраста и сразу же бросила свой портфель, еще на пороге. Вдруг она заметила меня и испуганно остановилась, словно подумала, что зашла не в ту квартиру, я сделал несколько шагов в ее сторону, весь красный, размахивая черной сумкой и быстро, чтобы она не стала кричать или что-нибудь такое, сказал: "Твой папа послал меня за сумкой, он ее забыл, и дал мне ключ". Она ничего не ответила, только улыбнулась приятной такой улыбкой, и я сразу увидел, что она, и правда, его дочь, но очень красивая, глаза черные, большие, а волосы светлые. Немножко маленькая, но очень красивая. Немного толстая, но очень красивая. Жаль, что я увидел ее, теперь мне ее не забыть. Она из тех, в которых я влюбляюсь заранее, еще не успев увидеть их. Она сказала: "Ты хочешь пить?" — А я ответил: "Нет", — осторожно, чтобы не задеть ее, прошел мимо нее, крепко зажимая сумку под мышкой, и убежал.

Уже через полчаса я был внизу, в городе, по дороге в гараж. Но меня вдруг осенила идея. Я зашел в магазин строительных инструментов и попросил сделать мне ключ от их квартиры. Потом вернулся в гараж и сразу же отдал ему сумку и ключ, и сдачу с десяти лир. А сам в ботинке нащупываю ступней второй ключ.

АДАМ

Вот уже конец декабря. Прошло больше двух месяцев, как закончилась война. Каждый день я все еще надеюсь получить от него какой-нибудь знак, но знака нет. Может быть, мы ему просто надоели? Но где он? Ася почти не упоминает его, но мне кажется, что она ждет, чтобы я

нашел его. Я часто кружу по улицам, может, увижу хотя бы его маленький "морис". Как это может бесследно пропасть машина?

Разумеется, не проходит дня, чтобы я не спустился к дому в Нижнем городе посмотреть, не открыли ли там ставни или окно. Но квартира на втором этаже оставалась в том же виде, в каком он оставил ее в первый день войны. Иногда я не ограничиваюсь наблюдением с улицы, а вхожу, поднимаюсь по лестнице, чтобы постучать в дверь. На первом этаже находится постоянно закрытый склад одежды, принадлежащий какому-то магазину, на втором этаже, кроме бабушкиной, есть еще одна квартира. Там живет одинокая вдова, которая внимательно следит за мной. Только начинаю я подниматься по лестнице, как дверь ее квартиры приоткрывается, она подглядывает за мной. Молча смотрит, как я стучу в дверь, жду немного и спускаюсь вниз. Сначала я не обращал на нее внимания, но через некоторое время решил попробовать получить от нее какие-нибудь сведения.

Она отнеслась ко мне очень подозрительно. Видела ли она Габриэля Ардити? Нет. Не знает ли она, есть ли какие-нибудь изменения в состоянии бабушки? Не знает. Где вообще она лежит? Откуда ей знать? Я объясняю ей, что я друг Габриэля и с начала войны ничего о нем не знаю.

Она задумывается на мгновение, а потом сообщает мне название учреждения, где лежит старуха. Это больница для хроников, недалеко от Хедеры.

Это грузная женщина, глаза у нее светлые, над верхней губой растут усики. Она все еще смотрит на меня с недоверием.

— Не найдется ли у вас случайно ключа от квартиры?

Нет, у нее нет ключа, она отдала его Габриэлю.

— Наверно, придется взломать дверь, — шепчу я, рассуждаю вслух.

— Тогда я немедленно вызову полицию, — говорит она сразу, не раздумывая.

Она стояла непреклонная, как скала, у своей двери, и я ушел.

Через несколько дней я приехал туда поздно ночью. Бесшумно поднялся по лестнице и, не зажигая света, попытался тихонько открыть дверь ключами, которые подобрал в гараже. Но не прошло и нескольких минут, как соседняя дверь открылась — соседка в ночной рубашке и с чепцом на голове смотрела на меня со злостью.

— Снова вы...

Я решил не отвечать, не обращаю на нее внимания, продолжаю свои напрасные попытки открыть дверь ключами, которые держу в руке.

— Я вызову полицию...

Но я не отвечаю; она следит за моими неудачными попытками.

— Не пойти ли вам навестить старуху, может, она согласится дать вам ключ.

Я снова ничего не ответил, но эта идея сейчас же засела у меня в голове.

Не прошло и двух дней, а я уже посетил больницу для хроников. Старый, окруженный зеленью дом стоит посреди апельсиновой плантации, на окраине поселка. Я зашел в приемную и сказал, что я родственник госпожи Армозо и пришел навестить ее. Сразу же позвали заведующую. Энергичная цветущая женщина моего возраста радостно приветствовала меня.

— Наконец-то пришел кто-то, мы уже боялись, что ее совсем забыли. Вы тоже ее внук?

Странно, и меня могли принять за ее внука.

— Нет, я родственник более дальний... Габриэль Ардити навещал ее?

— Да, но вот уже несколько месяцев, как он не дает о себе знать.

— Каково ее состояние? До сих пор без сознания?

— До сих пор не пришла в сознание, но, по-моему, есть улучшение. Пойдемте со мной, посмотрите, как ее кормят...

Итак, она все-таки существует, эта бабушка. Завернута

в белое, похожа на большой шар. Сидит в своей кровати и смотрит вокруг диким взглядом. У нее длинные, еще темные волосы, они разбросаны по плечам, на шее повязана большая салфетка, и низкорослая медсестра с очень темной кожей, наверно, кочинская* еврейка из поселка репатриантов, расположенного поблизости, терпеливо кормит ее с ложки сероватой кашей, похожей на замазку.

Кормить ее было нелегко, потому что она, как видно, не понимала вообще, что ее кормят. Иногда она выплевывала пищу, и сероватая жижа размазывалась по ее лицу. Приходилось тряпочкой осторожно вытирать ее. Что-то горестное было в ее пустых глазах, непрерывно бегающих по палате и останавливающихся иногда на каком-нибудь случайном предмете.

Несколько старух, находившихся в комнате, встали со своих кроватей и подошли к нам, встали вокруг тесным кольцом, глядя на нас с любопытством.

— Сколько ей лет? — вдруг спросил я, совсем забыв, что представился как родственник.

— Я уверена, что вы не знаете... даже если вы и родственник... угадайте...

Я стал бормотать что-то.

— Вы не поверите... но мы видели ее метрику еще со времен Османской империи. Она родилась в тысяча восемьсот восемьдесят первом году. Восемьдесят первом. А теперь, сосчитайте сами, ей девяносто три года. Ну не чудесно ли это? Тысяча восемьсот восемьдесят первый...

Заведующая подошла к ней, вынула из ее волос маленький гребешок и начала расчесывать ее волосы, поглаживая ее по щекам, слегка пощипывая их.

— Я говорю вам, если бы она не потеряла память, то могла бы жить еще много лет... А, может, и наоборот, именно потому, что она потеряла память, она будет жить еще много лет. Подойдите поближе, не бойтесь, может быть, она узнает вас...

*Община евреев Индии.

— Вы еще надеетесь?

— Конечно. Ведь в ней все время происходят изменения. Вам это незаметно, но я наблюдаю за ней постоянно и вижу, как она раскрывается. Год назад, когда ее привезли сюда, она была похожа на растение. Что растение? Куда хуже... камень... большой безмолвный камень. Но постепенно она стала двигаться, как растение или примитивное животное, что ли. В последние месяцы произошел прямо переворот. Вы улыбаетесь? Вы, конечно, не можете понять, но она снова превращается в человека, у нее человеческие движения, и глаза ее приобрели выражение. Она еще не говорит, но уже мыслит, произносит первые слоги. Однажды ночью она даже попыталась убежать, мы нашли ее в близлежащей плантации. И поэтому у нас есть надежда. Это вы, родственники, потеряли надежду. Этот господин Ардити, пропавший внук...

Я нерешительно подошел поближе к кровати, и тогда старуха вдруг повернула голову и посмотрела на меня, жмуря глаза, будто вспоминая что-то. Из угла ее рта, в котором еще застряла каша, начали стекать медленно две тонкие струйки.

— Нет, она не может узнать меня... я дальний родственник... она не видела меня много лет...

Старуха просто не сводила с меня глаз, уставилась на меня и смотрела, издавая какие-то странные звуки.

— Борода... борода... — вдруг закричали старухи с воодушевлением, — борода напоминает ей о чем-то.

Руки бабушки дрожали, что-то взволновало ее, она не сводила глаз от моей бороды, как будто хотела ухватиться за нее.

Я испугался и начал пятиться назад, я боялся, что сейчас память вернется к ней, и я влипну.

Темнокожая сестра вытерла струйки каши, медленно стекавшие из ее рта.

— Вы делаете тут великое дело.

— Я рада, что вы оценили это, — лицо заведующей просияло, — может быть, вы хотите немного посмотреть

нашу больницу... другие отделения... если вы располагаете временем?

Она, во всяком случае, располагала временем. Она понимала важность того, что называется "налаживание связей", и повела меня по палатам, показала стариков и старух, лежащих, играющих в карты, поглощающих второй завтрак. Она беседовала с ними, прикасалась к ним, как к вещам, поправляла что-нибудь в их одежде, даже причесывала некоторых. Говорила о том, что плата за стирку белья возросла, а правительство отпускает все меньше денег, попытка же привлечь пожертвования не удалась. Никто не хочет вкладывать деньги в больницу для хроников.

— Я готов... — сказал я вдруг уже у самого выхода.

— В каком смысле?

— Я готов пожертвовать немного денег для вашей больницы...

И, стоя у двери, я вынул кошелек и дал ей пять тысяч лир.

Она взяла деньги, немного колеблясь, но не могла скрывать своей радости, удивляясь такой большой сумме.

— Господин... господин... — бормотала она, — но что сделать на эти деньги? Может быть, есть у вас какое-нибудь определенное желание...

— Распоряжайтесь деньгами по своему усмотрению... может, купите игры для стариков... или какое-нибудь оборудование... Главное, я прошу, чтобы хорошо ухаживали за этой старухой, чтобы она не умерла...

Она держала деньги в двух ладонях... смущенная, полная благодарности.

— Может быть, все-таки какую-нибудь квитанцию... я даже не знаю вашего имени.

Но я не хотел называть себя, не хотел, чтобы Габриэль знал, что я искал его здесь. Я пожал руку заведующей и сказал с улыбкой:

— Запишите в своих книгах — "неизвестный жертвователь".

ВЕДУЧА

Черная рука пытается накормить мои глаза, подвинуть голову что ли и подставить ей ухо. Прикосновение маленьких белых и мягких червей, текущих там. Звуки цитрусовых плантаций и запах людей. Внизу мокро, сокрытая лужица, текущий источник. А во всех окнах солнце. Сосчитать людей. Четыре, шесть, одна, три. Но почему зашел веник ходячий. Человек перепутал все. Перевернутый веник шатается по палате, бродит один, волнуется, приближается сейчас к смеющейся и цветущей, хочет подмести ее лицо, хочет подмести женщину в кровати. Ах, ах, ну, веник, подойди, борода на лице. Знакомый веник. Таких полно бродило в маленьких переулках, черные веники там, там, в старом том месте, разрушенном месте. И вдруг не плантации, а колючие маленькие кусты. Камни и палящее солнце, дома на домах и склоны. Как это называется? Как называется? Ах, ах, неизвестная женщина, женщина без имени. Ах, ах, как называется это место? Знать имя, надо поскорее узнать имя, вспомнить имя. Непроницаемая стена упала тут, серые камни, покрытые мхом. Как это говорили? Как говорили? Как говорили? — Ошлям. Только схватить — Ошлям. Это Ошлям. Нет, не "о", иначе — Рушлям. Да, Рушлям. Важное место, тяжелое место — Рушлям. Но и это неправильно, хотя и очень похоже. Это очень важно. Ох-ох — найти внутри, есть внутри маленький свет, далекий свет. Ой, ой, маленький проблеск. Ушalem? Ушalem? Но не так тяжело, не "лем", более легко — Ашалим или Ушалим. Наконец-то. Не "у", снова "у"? Рушалим? Рушалим, наверняка называли Рушалим, это место, эти камни, эти колючки. Теперь спокойно.

Веник исчез. Что? Солнце в другом окне. Что? Да, Ушлем. Снова Ушalem. Снова вернулся Ушalem. Извините, ошибка, Рушалим. Рушалим — сейчас ясно. Где родилась? В Иерусалиме. Откуда мы — из Иерусалима. На будущий год — где? В Иерусалиме.

Черные руки поворачивают меня. Вытаскивают просты-

ню, стелят простыню. В окнах темно. То же место со стеной и башнями, с переулками, то же место с пустыней в конце. Совсем рядом пустыня. Как называется? Не Ушлим — Рушлим. Но в начале было что-то: Грушлим, Шрушлим, Мрушлим. Ах, ах, ах — Ерушалим. Ерушалим — точно так, но нет. Я плачу — какая боль! Просто — Ерушалаим. Вот оно — Ерушалаим.

НАИМ

И с того времени я постоянно искал его глазами. Я чувствовал, даже не видя, когда он находится в гараже, а когда его нет. Я чувствовал его по запаху, почти как собака. Я даже различал звук его большой американской машины среди других машин. Ключ от его квартиры я все время таскал с собой, переключивал из кармана в карман, ночью клал его под подушку. Очень занимал меня этот ключ, как будто у меня находится без разрешения маленький пистолет. Когда я, лежа под машиной, смотрел издали на него, окруженного людьми, то думал о его квартире, о затемненных комнатах и синем море, которое открылось передо мной из большого окна. Чистая, убранный кухня и плитки шоколада в холодильнике, и как внезапно открывается дверь, и красивая девочка входит из света, бросает портфель и улыбается мне.

Я улыбаюсь про себя, нащупываю ключ в кармане рубашки. Могу зайти туда, когда захочу, могу прийти снова утром, тихо открыть дверь и побродить по квартире, поесть шоколаду или взять какую-нибудь маленькую вещь на память, а если она вернется из школы и снова откроет дверь, и удивленно посмотрит на меня, я скажу ей тихо: "Твой папа послал меня, чтобы привести тебя в гараж, ты ему очень нужна". А она сначала удивится: "В гараж? Что это вдруг? Может, мне позвонить ему сначала?" — "Нет, — скажу я, — телефон там испорчен. Поэтому он послал меня сюда". И тогда она сдастся и пойдет за мной, спустится со мной по лестнице. А я веду ее к остановке автобуса, плачу за билет, усаживаю рядом с

собой и, гордый и серьезный, беседую с ней, спрашиваю, что они проходят в школе, а она удивляется, что я не простой, темный рабочий, а тоже кое-что знаю. Я могу даже произнести перед ней наизусть целое стихотворение. Я начинаю нравиться ей. А потом мы выходим и направляемся, как настоящая пара, к гаражу, входим в ворота и подходим сразу же к ее отцу, который стоит там в окружении людей и удивляется, видя, как я подвожу к нему его дочь посреди рабочего дня. И прежде чем он успевает сообразить что-нибудь, я вытаскиваю свой ключ, протягиваю его ему и тихо говорю: "Видишь, я мог бы изнасиловать ее, но пожалел вас". И прежде чем он успевает схватить меня, я убегаю из гаража навсегда, исчезаю из этого города, возвращаюсь в деревню, иду в пастухи. Пусть приводят полицию, ничего у них не выйдет.

А отцу я скажу со слезами: "Надоело мне все. Или ты отдашь меня в школу или я такое натворю, что ты стыда не оберешься."

Я так был увлечен этими своими мечтами, что вместо того, чтобы закрепить ремень, я освободил его совсем, он вырвался у меня из рук и с силой полоснул меня по лицу и руке, просто взбесился. Такая жгучая боль. Потекла кровь. Я медленно выполз из-под машины, и толстый еврей, который стоял и ждал, когда я кончу, испугался, увидев кровь, текущую по моему черному от копоти лицу.

Наверно меня здорово полоснуло, кровь не переставала идти. Этот Адам прервал свой разговор с кем-то и сразу же подбежал ко мне, испугался, словно никогда в жизни не видел порезавшегося человека. Привел меня в контору, посадил на стул и крикнул старику, чтобы тот сделал мне перевязку. Я не знал, что этот старик выполняет и обязанности санитара в гараже. Он открыл маленький шкафчик с медикаментами, вытащил оттуда разные старые и грязные бутылочки со щиплющими жидкостями и стал выливать их на меня. Было ужасно больно. А Адам не тронулся с места. Лицо его побледнело. После перевязки меня оставили немного отдохнуть в конторе, но

бинты стали мокрыми, и кровь закапала на счета, лежавшие на столе. И тогда поняли, что без врача не обойтись. Машину, которая должна была пройти осмотр, послали отвезти меня. Сам Адам подвел меня к ней. Он вытащил свой знаменитый набитый деньгами кошелек и дал мне двадцать лир, чтобы я взял такси на обратном пути.

На станции скорой помощи медсестра сделала мне укол, а руку мою положила в большой платок. А потом отослали меня.

Было одиннадцать часов утра. И снова я в городе, брожу себе с двадцатью лирами в кармане. Возвращаться в гараж мне не хотелось. Прошелся немного по магазинам, купил плитку шоколада, а потом сел в автобус, идущий на Кармель, сам не знаю почему. Может быть, хотелось погулять немного и увидеть море. Ну, конечно, доехал до его дома, может, хотел убедиться, что он не сменил квартиру. Тихо вошел в подъезд и быстро поднялся, чтобы посмотреть на дверь и уйти. Потом постучал и позвонил, хотя и знал, что в такой час никого там быть не должно. Ответа не было. Я вытащил ключ и вставил его в замок, он немного скрипел, но дверь открылась легко, словно ее смазали маслом. И вот я снова в квартире, совсем как в мечтах, немного дрожу, сразу же в прихожей вижу свое отражение в зеркале — весь забинтованный, пятна крови на лице и на рубашке, как у героя войны в кинокартине.

Я не пошел в гостиную, а сразу же направился в спальни, чтобы познакомиться с теми местами, которых еще не видел. Сначала — комната его и его жены, аккуратно убранная. Снова я вижу фотографию маленького мальчика. Это их сын или нет? Нет никаких признаков его присутствия, какой-нибудь игрушки или одежды, как будто он умер или исчез. Я спешу уйти оттуда, решаю выйти из квартиры, но не удерживаюсь и захожу в другую комнату. Я сразу же определил, что это ее комната. Видно. Я прямо дрожал от любопытства. Потому что это единственная комната во всей квартире, которая не уб-

рана, как будто не имеет ко всем остальным никакого отношения. В ней полно света, жалюзи подняты. На стенах разные объявления. Яркие краски. Книги и тетради разбросаны на столе. А кровать, кровать в полном беспорядке — подушка в одной стороне и подушка — в другой, а в середине пижама из тонкого материала. У меня даже ноги подкосились, и я присел на кровать на минутку, наклоняюсь и опускаю лицо в ямку посередине, покрываю простыню легкими поцелуями. Совсем с ума сошел. Словно я на самом деле влюбился в нее...

Ялла, надо поскорее уйти, пока, и правда, не привели полицию. Но я не мог убежать оттуда, не взяв чего-нибудь на память. Может быть, какую-нибудь книгу. Открыл одну — Бялик. Снова Бялик. Тот же самый учебник, по которому и мы учились. Открыл другую книгу — математика. Третья книга какого-то Натана Альтермана. Не слышал, попробую почитать. Я положил книгу в большой платок, на котором подвешена моя рука, и быстро вышел из квартиры, почти теряя сознание. Начал спускаться по лестнице. Но на первом этаже была открыта дверь и какая-то старуха с лицом ведьмы стояла там, словно ждала меня.

— Кого ты ищешь, мальчик?

— Семью... Альтерман...

— Альтерман? Здесь нет таких... Кто послал тебя к ним?

Я молчу. Она стоит на моем пути, если оттолкнуть ее, закричит. Знаю я этих ведьм. У нас в деревне таких не меньше десятка.

— Кто послал тебя, мальчик?

Я все еще молчу. Ничего путного не приходит в голову.

— Ты из гастронома?

— Да, — отвечаю я шепотом.

— Так зайди, возьми у меня пустые бутылки.

Я зашел к ней на кухню и взял десять пустых бутылок

*Известный израильский поэт (1910-1970)

и пять банок и дал ей десять лир. Она была очень довольна. Ей совсем было не важно, что я весь в бинтах.

Я поскорее ушел. До чего же быстро они забирают свои деньги назад, эти евреи.

Через три поворота я выбросил все на помойку. Вернулся в гараж. Порезы снова стали болеть, бинты запачкались. В гараже беспокоились обо мне.

— Где ты был? Куда девался? Как твои раны?

— Все в порядке, ничего особенного...

Я стараюсь не смотреть ему в глаза. Если бы он знал, где я был, то не стал бы меня поглаживать. Я мог передать ему привет от его соседки.

За Кармелем, когда в автобусе остались одни арабы, я вытащил книгу из-под рубахи, открыл первую страницу. "Звезды за окном" и круглым почерком написано — "Дафна". Я приблизил имя к губам. Я уже говорил, что немного сошел с ума. Перевернул страницу.

"Еще песня звучит, что забросил ты зря, и дорога лежит пред тобою, облака в небесах и деревья в дождях еще ждут тебя, путник усталый".

Ничего. Можно понять. Три дня я пробыл в деревне, пока не зажили раны. Тихие солнечные дни. Я лежал в кровати, а отец с матерью все время баловали меня. Я прочитал книгу, наверно, раз десять. Хотя многого и не понял, все-таки выучил кое-что наизусть. "Но, — сказал я себе, — для чего? для кого?"

АДАМ

Ты уже уверен, что гараж может действовать без тебя, а тебе нужно только прийти после обеда, чтобы взять деньги. В течение многих лет ты создавал этот отлично работающий коллектив. Утром бродишь по гаражу, смотришь со стороны, как распорядитель принимает машины и направляет их под разные навесы в зависимости от того, что требует ремонта — система охлаждения, сцепление, тормоза, мотор, электрическая часть, корпус. И Хамид там, в своем углу, колдует над моторами. И когда

ты бродишь тут посреди всей этой суматохи, то начинаешь чувствовать себя лишним, даже несмотря на то, что к тебе все время подходят, чтобы спросить что-нибудь или попросить послушать, как работает мотор.

Пока не случится что-нибудь, и тогда происходит что-то непонятное. Вот поранился один из рабочих. Один из мальчиков. Прямо на твоих глазах из-под одной из машин выползает мальчик весь в крови. Лицо, руки в копоты и масле и много крови. Он стоит молча там, в стороне, и никто не обращает на него внимания, проходят мимо него, даже отпускают шутки, и если ты сам не подбежишь к нему, чтобы увести его, они даже пальцем не пошевелият. А Эрлих выглядит удивленным, когда ты приводишь его в контору. "Пусть подождет снаружи, — говорит он, я уже иду". А сам не торопится, хочет закончить какой-то счет.

Пока не закричишь, этот Эрлих вообще не сдвинется с места.

Это был мальчик, который всего неделю назад подметал тут. И уже дают ему залезать под машину и возиться с тормозами. Что он вообще умеет? Убьет его, а им какое дело? Назавтра Хамид приведет сюда другого мальчика.

Я смотрю, как Эрлих делает ему перевязку, вытаскивает разные старые бутылочки с йодом и льет на его раны. Мальчик весь побледнел, глаза вылезают из орбит, он стонет от боли, но не произносит ни слова. Эрлих достает узкие бинты и начинает перевязывать его каким-то странным образом.

Я тем временем проверяю этот несчастный шкафчик с медикаментами. Он висит здесь еще с тех времен, когда отец и я работали тут одни. Вынимаю из кармана пятьсот лир и велю Эрлиху купить завтра же новый шкафчик и новые медикаменты. Но он сухо отказывается взять деньги, он получит все что нужно за полцены от одного клиента, который руководит предприятием, производящим медицинские товары, да и эти деньги он вычтет из подоходного налога.

А мальчик, весь забинтованный, сидит около счетной машины и смотрит на меня своими черными глазами, не

чувствуя, как сквозь сомнительную эрлиховскую перевязку продолжает сочиться кровь, капая на бумаги. Эрлих, конечно, кричит на него.

Я посылаю его на станцию скорой помощи и даю ему деньги, чтобы он вернулся на такси.

Не ухожу из гаража. Беспокойно кружусь между навесами и начинаю вмешиваться во всякие дела.

Жду возвращения мальчика, которого все нет. Посылаю машину на станцию скорой помощи, а она все не возвращается. Я начинаю ссориться с распорядителем работ, который грубо ответил одному из клиентов.

Наконец, в самом конце рабочего дня, мальчик, весь перевязанный, вошел в гараж. Бродил себе, маленький негодяй, по городу. А я беспокоился. Я крепко обнимаю его.

— Где ты был, как дела?

— Все в порядке...

Черт возьми, и что это я так волнуюсь? Я сажусь в свою машину и даю газ.

НАИМ

Записался на медицинский факультет в Тель-Авиве, но провалился, записался на медицинский в Хайфе — и там его не приняли. Попытался в Иерусалиме — то же самое, пошел в Технион, но там не подошла его средняя оценка в аттестате, написал в Бар-Илан и получил отрицательный ответ. Он был готов уже добраться даже до Беэр-Шевы, но опоздал записаться. Все время мы только и были заняты им и его учебой. Весь дом вертелся вокруг него. Отец не спал ночами из-за волнения. Приходили люди и давали советы: запишись сюда, напиши туда. Этот знает того, а тот знаком с другим. Начали нажимать на связи. Даже написали письмо в Бюро консультаций, послали старого шейха в приемную комиссию. Отец пошел даже в органы безопасности и сказал: "Уже двадцать пять лет я доношу на кого следует, а когда мой сын хочет учиться медицине, перед ним закрывают все двери". И они,

правда, пытались помочь. Сказали, что обеспечат ему место на факультете арабского языка и литературы, но Аднан уперся — все идут в учителя. Устроили ему место по изучению Танаха, сказал: "Что я, ненормальный?" Устроили ивритскую литературу, а он сказал: "Вы что, хотите, чтобы я умер от скуки?" Ужасно упрямый и гордый. Только медицина или электроника или что-то в этом роде. Выделили ему самую хорошую комнату в доме и следили за тем, чтобы было тихо. Купили книги и тетради, не жалели ничего. Но он все время был раздражен, целыми днями сидел, закрывшись в комнате, и почти ничего не ел. Ночью перед экзаменом отец сидел около двери и молился. Утром Аднан вышел из комнаты желтый, как лимон, весь дрожит. Одет в новый, сшитый на заказ костюм, на шее маленький галстук красного цвета, сохранившийся у отца еще со времен турок, а на ногах — старые, грязные ботинки. Ничего не ест, только выпивает немного валерьянки. Едет в один из университетов, чтобы провалиться, возвращается вечером совершенно без сил, ничего нельзя понять из его рассказа, потому что даже сил говорить у него нет. Спит два-три дня, а потом начинает бродить по деревне в этом же костюме, но уже без галстука, сидит в кафе вместе с шабабой* и ждет развозящую почту машину, чтобы получить сообщение о результатах. А тем временем все больше разгорается в нем ненависть. Он ненавидит всех, а особенно евреев. Его наверняка заваливают специально. Однажды вечером, за ужином, после того, как он получил очередной отрицательный ответ, он начал свои обычные проклятия, не умолкая. Все сидят, едят и слушают, как он ругает всех и вся. А я сказал тихонько, потому что мне надоело его слушать: "Может, это ты недостаточно способный, а сионистское движение тут не виновато". Я еще не успел закончить фразу, как папа со всей силы залепил мне пощечину, чуть не разорвал меня на части старик. А Аднан

*Молодежь, мальчишки (араб.)

встал и перевернул все тарелки на столе. Целую неделю спал я у Хамида, боялся, что он убьет меня, уже тогда я чувствовал, что он опасен.

В конце концов, после того как мы, наверно, месяц не разговаривали, папа заставил меня помириться с ним. Я пошел и попросил прощения, ведь я младший. Я поцеловал его тощую руку, а он положил свою руку мне на плечо, будто я собака, и сказал только: "Эх ты, Бялик". И криво усмехнулся. Ненормальный.

Но когда в университетах начались занятия, а он никуда не попал, у меня тоже стало болеть за него сердце. Фаиз прислал бумаги из Англии, чтобы попытаться записать его там, но у Аднана не было больше сил. Наверно, он и сам стал думать, что, может быть, он действительно не способен к учению. Может быть, решил, что есть у него талант к чему-нибудь другому.

Теперь, когда я выхожу утром, чтобы поехать на работу в гараж, я иногда встречаю его в переулке около дома. Одежда помята, ужасно худой, возвращается из своих ночных путешествий в Акко или другие места. Откуда мне знать? Нашел себе новых друзей. Я не знал, что он собирается покинуть нас, что по ночам он изучает дороги, тропинки и проломы в пограничном ограждении. Говорили, что его видели в Бейруте. И, несмотря на то, что нам было очень жаль его, а папа очень беспокоился за него, мы думали, что, может быть, так лучше, что он отдохнет там от евреев, которые так раздражают его. Мы и не представляли себе, что он вдруг захочет вернуться.

АДАМ

Это искусство. Вы не оцениваете его. Жить так среди нас, словно с двойным дном, жить в этой действительности и также в действительности, ей противоположной. И когда вы в канун субботы разговариваете, сидя в своих удобных креслах, вы не можете избежать этой темы. Вы говорите об отборных группах, об одиночках-самоубийцах, об отчаявшихся фанатиках, а мне хочется кричать и

смеяться (но я ничего не говорю, только раздраженно сую в рот еще горсть арахиса). О чем вы говорите? Сегодня он рабочий в моем гараже, покорный и терпеливый, улыбающийся и преданный, а завтра — жестокий зверь. И это тот же самый человек, или его брат, или его племянник, то же воспитание, та же деревня, те же родители.

Вот, например, началось это страшное нападение террористов в Университете, и я наблюдаю внимательно за своими рабочими — есть у меня тридцать арабов-рабочих и достаточно времени, чтобы наблюдать за ними, потому что машинами я уже не занимаюсь, а только людьми. Трогает ли их это? Знают ли они вообще, что происходит? Знают. Узнают очень быстро. У меня есть бухгалтер, "еке"* , Эрлих, который ненавидит, когда во время работы включают музыку. Это кажется ему варварским обычаем, а арабская музыка раздражает его еще в сто раз больше. Он приходит на работу с заткнутыми ватой ушами, потому что иногда в гараже не меньше двадцати приемников во весь голос, надрываясь, передают арабскую музыку. И вот, когда началось это дело, он вытащил из своей сумки маленький транзистор, дрожа от нетерпения и раздражения, и начал ворчать: "Пусть бы они закрыли свою музыку, убийцы". И не прошло даже нескольких минут, а арабской музыки уже нигде не слышно. Они понимают, где граница. Снова включают "Голос Израиля" или "Волны Цахала". "Все-таки они с нами," — говоришь ты себе, но потом начинаешь замечать, что что-то в интонации дикторов и комментаторов раздражает их, они выключают приемники, остаются без новостей, работают в тишине, как-то даже придвинулись поближе друг к другу, не торопятся вывести машины для испытания на дорогах.

Но во время обеденного перерыва они усаживаются в углу, едят свои лепешки, даже смеются над чем-то, и это в то время, когда мы еще не пришли в себя от потря-

*Выходец из немецких евреев

сения, говорят между собой о будничных делах. Это не имеет к ним отношения. И в тот момент, когда по радио слышны выстрелы ворвавшихся солдат, они приходят с деловыми вопросами — сменить ли шины у "вольво" или только починить их. Они в другом мире, даже не интересуются, как там все кончилось.

А назавтра выясняется. Двоюродный брат Хамида, родной брат одного из рабочих, родственник многих из них был главарем этих террористов. И они, наверно, знали это с самого начала, чутьем почуяли. И ничем не обнаружили это, даже бровью не повели.

НАИМ

И вдруг посреди музыки и песен возбужденные голоса дикторов. Что-то случилось. Евреи начинают собираться вокруг радиоприемника. Хамид смотрит на нас, и все выключают арабскую музыку. Мы тоже слушаем новости. Что-то в Университете. Напали на Университет, схватили несколько заложников. А я, сердце у меня замерло. Это он. Это Аднан!

Тихие проклятия евреев. Советы. Каждый советует, что делать. А мы сжались. Двигаемся молча.

В десять минут первого выбросили из окна тело какого-то служащего. Что за жестокость! Кто-то из наших улыбается про себя отчужденной улыбкой. Я залез быстро под одну из машин и пытаюсь, наверно, в тысячный раз завернуть там один и тот же винт, который все время выскальзывает у меня из рук. Мысли мои далеко.

А вокруг обычные разговоры о смертной казни и мщениии. Мой брат. Что он делает? Откуда у него взялась такая смелость? Эта проклятая честь. И почему эти чертовы евреи не могут охранять себя получше?

Начинаются переговоры. Ультиматумы. По рупору. Заносчивость. Обычные описания. Единственное отклонение — один из террористов одет в костюм и при галстукке, словно собрался на бал.

Я бросаю свою лепешку бродячей собаке, которая все

время крутится около гаража. Возвращаюсь вместе со всеми к работе. Все как обычно. Евреи приходят за своими машинами, спорят о цене, а в глазах тревога, сердито прислушиваются к песням, которые передают по радио. Один из арабов потихоньку включает Дамаск. Слышим совсем другие речи. Великое сражение. Университет горит. Вранье. Фантазия.

А я все время думаю только о нем, об Аднанае.

Мы закрываем ящики с инструментами, переодеваемся. И вдруг ужасное возбуждение. Диктор начинает кричать, словно это футбольный матч. Туда врываются. Звуки стрельбы по радио похожи на удары испорченного сверла. Ничего нельзя понять. Его убивают. Сейчас, в эту минуту убивают моего брата. Его глаза видят свет в последний раз. Прощай, Сумасшедший. Ин'аль абуху* Что он делает с нами. Стыд. Проклятая честь. Несчастный мой брат.

А евреям словно полегчало, несмотря на то, что и несколько своих они убили. Вдруг перестали отвечать нам. Злятся на нас. А мы идем на остановку автобуса, сгрудились теснее, чем обычно, переходим на сторону, где есть полицейские, боимся, как бы кто-нибудь не напал на нас. Мы заходим в автобус. Я сажусь рядом с Хамидом на заднее сиденье. По радио Дамаска передают имена. Хамид тихо делает мне знак. Это он. Но я уже знал, знал с самого первого мгновения. Напасть в костюме и в галстукке и с "Калашниковым" в руке на Университет — это только у него могла возникнуть такая идея. Только у него.

А в деревне уже все знают. Люди толпятся возле дома. Женщины плачут. Я захожу в дом, а там полно стульев. Собрали стулья из всех домов и принесли для скорбящих. Папа закрылся в комнате, ни с кем не хотел разговаривать. А из других деревень беспрерывно прибывают родственники. Все женщины собрались в одной комнате. Глаза красные. И из-за чего плачут? К черту все.

*Будь проклят твой отец (араб.)

Вечером кто-то включает телевизор. Без звука. Только чтобы посмотреть, не покажут ли убитых. Но показывают только комнату, где находились заложники, брошенные на пол сумки, развал и разрушение. Все сидят в совершенном безмолвии. Ни звука. Лишь время от времени кто-нибудь вздыхает — я рабу*. А в полночь появляются представители Службы безопасности, целым эскортом. "С возвращением, милая птичка..."** Скорее собаки, чем птички. Толстые, с черными усами. И они тоже усталые и печальные. Не обвиняют, не угрожают. Здороваются со всеми. Знают нас всех по имени, черт возьми. Жмут руки. Говорят на каком-то странном иракско-арабском языке. Им освобождают место посередине комнаты, но они отказываются и садятся в сторонке. Пьют кофе. Потом приводят к ним отца, который постарел на сто лет. И они начинают рассказывать, что произошло на самом деле. В комнате полная тишина. Все затаили дыхание. И во всей деревне тихо, словно и она слушает в темноте их рассказ. Рассказывают нам подробности, которые мы вынуждены слушать вопреки желанию. Сердце бьется учащенно, глаза закрыты. Слушаем о жестокости, героизме, безумии. А наверху, в небе, уже слышен гул самолетов.

Отец все слушает и слушает. И когда они кончают, он начинает говорить. Тихо, издалека. Сначала о полях, о дожде, о семье и что сказано в Коране о братстве и мире. А потом начинает проклинать, плачет и прокликает. Лучше бы этот ребенок не родился. Ни он сам и ни Аднан. И они слушают проклятия, уверения в преданности, осуждение. Качают головами, но не верят, что мы верим в то, что говорим, и в то же время не хотят слышать от нас другие речи.

И никто не идет спать. Утром появляются газетчики с фотоаппаратами и микрофонами. Где он учился? Кто были

* О Господи (араб.)

** Из стихотворения Х.Н.Бялика.

его учителя? Как он вел себя? Кто были его товарищи? А отец отвечает на полном ошибок иврите, сидит, как ребенок, на стуле, микрофон привязан к шее, на него направляют свет, он пытается улыбаться. Снова и снова задают ему те же вопросы. А он говорит: "Он был просто сумасшедший. Вот, посмотрите, его младший брат, какой хороший ребенок". И он гладит меня по голове тяжелой рукой, причиняя мне боль.

АДАМ

В последнее время я ложусь спать раньше всех и утром я обнаруживаю совершенно изменившуюся квартиру. В гостиной остатки ночной трапезы, на креслах — подушки и одеяла. Следы борьбы Дафи с бессонницей. Ася лежит в кровати рядом со мной, свернувшись наподобие зародыша. На подушке ее серые волосы. Морщины у ее глаз углубились. Глаза двигаются под веками. Снова ей снится что-то. Она постоянно видит сны.

"Ася," — шепчу я, словно хочу проникнуть в ее сон. Она вздыхает, быстро поворачивается на другой бок.

Я пью кофе, съедаю кусок хлеба, а потом еду по пустым улицам, иногда спускаюсь к морю, ставлю машину на стоянке и иду вдоль мокрого берега. Очень холодно. Небо покрыто облаками. С моря дует сильный ветер. Но всегда есть там кто-нибудь. Пара чудаков-стариков в купальниках медленно бежит у линии вдоль берега, держатся за руки, весело болтают, а прямо напротив меня появляется из бушующих волн немолодая женщина, медленно выходит из воды, подходит к месту рядом со мной, берет полотенце. Она улыбается мне, может быть, хочет заговорить. Но я равнодушен. Погружен в свои мысли. Кто-то касается моего плеча.

Сердце мое забило — Габриэль?

Но это Эрлих, старый "еке", в плавках, смеется, тощий и сильный, серебристые волосы на его теле пахнут солью и песком.

По дороге к гаражу я снова останавливаюсь у старого

дома. Я знаю, что ничего не обнаружу, и, несмотря на это, не могу не остановиться там, не вылезти из машины, не посмотреть вверх на закрытые ставни. Прошло уже четыре месяца, как он пропал.

Я смотрю на наружные трубы — длинная канализационная труба идет до второго этажа, ищу выступы в стене, вижу, что ставни чуть-чуть приоткрыты.

Сзади гудят. Полицейская, регулирующая движение, подходит ко мне посмотреть, в чем дело. Я трогаюсь, приезжаю в гараж. Эрлих, свежий и бодрый, уже сидит над счетами. Если бы он был на моем месте, давно бы забрался туда без всякого труда.

Ночью в этом переулке никого нет. Может быть, попросить Хамида, чтобы он нашел кого-нибудь, кто сможет залезть туда. Если был у него террорист среди родственников, то наверняка сможет найти там профессионального взломщика, только бы мне потом не влипнуть в историю.

Нет, надо найти какого-нибудь мальчишку, какого-нибудь подростка, который сможет быстро забраться туда. Кого-нибудь, кто не поймет в точности, что именно он делает, кого-нибудь постороннего, но не совсем, кого-то, кто хоть немного доверяет мне. Может быть, кого-нибудь из временных рабочих в гараже.

Я приглядываюсь к рабочим, кручусь между ними. Они делают вид, что не замечают меня, но я чувствую, что разговоры прекращаются, когда я приближаюсь к ним, музыка звучит тише. Немногих я знаю тут по имени. Но кто-то поднимает на меня глаза, тоже рассматривает меня. Снова этот мальчик, который поранился тогда, но теперь он уже совсем поправился. Улыбается мне смущенной, но открытой улыбкой. Берет большую отвертку и с видом опытного механика подходит к высокой и толстой женщине, стоящей у маленького "фиата" с поднятым капотом.

— Зайдите в машину, госпожа, и заведите ее, а ногу все время держите на газе и делайте то, что я скажу.

Она смущенно улыбается, влезает в машину и заводит

ее, а мальчишка встает на крыло и начинает возиться с мотором. Ну и дела! Всего лишь два месяца назад он подметал тут, а сейчас уже набрался смелости наладить мотор. Но я ничего не говорю. Только стою и смотрю на него, а он знает, что я смотрю на него.

"Этот, — загорелся я, — сможет быстро залезть на стену и, может быть, будет молчать".

НАИМ

Только вошел я утром в гараж, он схватил меня, как будто ждал, отвел меня в сторону и спросил, могу ли я не возвращаться сегодня ночью в деревню. Я ответил, что с этим все в порядке и что я могу остаться ночевать в гараже. А он сказал: "Зачем же в гараже, будешь ночевать у меня дома. Я позабочусь о тебе." Я думал, что свалюсь на пол от радости. В голове у меня помутилось. Но я лишь слегка улыбнулся. А он добавил: "Только ты не болтай лишнего, ты умеешь держать язык за зубами?" — "Ясно, не буду болтать, — сказал я ему, — сколько захотите, столько и буду молчать". Он посмотрел на меня, словно какой-то прибор испытывает. "Ты умеешь лазить?" — "Куда?" — спрашиваю я. — "Неважно, — он смущен, — потом увидишь. Что это у тебя в мешочке?" Он даже не дал мне ответить, взял у меня из рук мешочек — посмотреть, что там внутри, видит — лепешка и книга стихов Альтермана. Я думал — умру. Он вытащил книгу и спросил: "Что это??" — "Это книга", — ответил я ему. — "Для кого она?" — "Это моя книга. Я иногда читаю ее". — "Ты читаешь ее?" — он поражен, смеется и снова кладет руку на мою голову, как в тот раз. Я вижу, как рабочие издали с любопытством смотрят на нас. Он полистал немного книгу, на первую страницу не посмотрел. "Ты понимаешь, что там написано?" — "Иногда," — и я быстро выхватил у него книгу. Он совсем загорелся, просто в восторг пришел от меня, снова коснулся меня, позволяя себе по отношению ко мне то, что не позволял с другими — всегда остерегался, чтобы не дотронуться

до кого-нибудь и чтобы кто-нибудь не дотронулся до него. Потом снова вытащил бумажник, набитый деньгами, как будто он все время мешает ему и он хочет от него избавиться. Вытащил бумажку в сто лир и сказал: "Пойди купи пижаму и зубную щетку и вернись сюда в четыре часа, после того, как все уйдут. Я возьму тебя к себе. Я скажу Хамиду, что сегодня ты не поедешь назад в деревню". — "Но я ведь могу и сам добраться до вашего дома", — сказал я. А он удивился — откуда я знаю, где он живет. Забыл уже все. Я напомнил ему, что он однажды посылал меня туда за сумкой. Он не вспомнил, но сказал: "Ладно, приди туда к четверем". — "Хорошо, — сказал я, — но какую пижаму мне купить?" Он рассмеялся: "Это пижама не для меня, а для тебя". Я знал это, просто так спросил, потому что я совсем обалдел от радости. До чего счастливым почувствовал я себя вдруг.

Из гаража с сотней лир в кармане я пошел прямо в город. Сначала пошатался по улицам. Иду себе посреди дороги, чуть не задавили меня. Все время нащупываю в кармане сто лир, стою посреди дороги и трогаю их, никогда не было у меня сразу так много денег. И хотя небо было черным, я уже чувствовал запах весны. Просто кричать хотелось от охватившей меня огромной радости. Потому что я все время думал, что еще немного, и я снова увижу эту девчонку и смогу влюбиться в нее в действительности, а не только в мечтах. И я все шел, и почти что вышел с другой стороны, и вернулся, и на этот раз стал заходить в магазины, смотрю, что там продают, потому что кроме пижамы я хотел купить себе еще много чего. На этот раз я не отдам ему сдачу. Когда я входил, сразу догадывались, что я араб, и просили открыть мой мешочек, чтобы посмотреть, что там внутри, даже лепешки ощупывали, нет ли там бомбы.

Насмотревшись на все витрины с игрушками, книгами, радиоприемниками и телевизорами, я начал искать магазины, где продают пижамы, но пижам в витринах не было, и я не знал, в какой магазин зайти. Не понимаю, почему это ему вздумалось, чтобы я купил именно пижаму, я

спокойно мог поспать и в трусах, а на эти деньги купить что-нибудь более стоящее. Вдруг я увидел великолепный магазин одежды, в витрине которого были выставлены и пижамы, но цены не были указаны. Я зашел туда и сразу же хотел выйти, потому что там было темно и не было ни души, но не успел я повернуться, как из темного угла появился какой-то худой старик. "Что тебе надо, мальчик?" Я сказал ему: "Пижаму". А он спросил: "А деньги у тебя есть?" Тогда я вынул синюю бумажку и показал ему.

И тут он взял меня за руку, не обращая внимания на мою грязную рабочую одежду; он даже не сообразил, что я араб. Он начал вытаскивать из коробок самые разные пижамы из тонкого материала с вышивкой и отделкой, раскладывает передо мной пижаму за пижамой. А я стоял и молчал, ничего не мог сказать, потому что они действительно были красивые. Я снял рубашку и свитер, и он надел на меня пижамную кофту и подвел меня к зеркалу, чтобы я посмотрел, идет ли она мне. Потом снял ее с меня и надел на меня другую. А пижамы одна лучше другой, с золотыми пуговицами, с бахромой разных цветов. Когда он увидел, что я совсем обалдел, он выбрал красную пижаму и сказал: "Вот эта подойдет тебе лучше всего", сложил ее, положил в коробку, завернул в бумагу и засунул в новую пластиковую сумочку, а потом осторожно, но настойчиво вытянул голубую бумажку, которую я крепко зажимал в руке и сказал с нежностью: "Вот и все". И положил деньги в свой карман. Тут я понял, что он не собирается дать мне хоть какую-нибудь сдачу, и спросил его еле слышным голосом: "Это стоит сто лир?" А он сказал: "Больше, но я сделал тебе скидку". Я был расстроен и не двигался с места. А он улыбнулся и спросил: "Ты откуда, мальчик?"

Я вдруг испугался, что он обозлится из-за того, что так ухаживал за арабом.

— Я отсюда... недалеко...

— А твои родители? Откуда они?

— Из Польши... — ответил я, не раздумывая, потому что мы учили, что все сионисты прибыли из Польши.

Я все еще не уходил, оплакивая про себя сто лир, которые ушли у меня просто так, на одну пижаму. Я даже не дотронулся до своей пижамы, которая лежала передо мной в сумке. Потом я сказал: "Но мне нужно еще купить зубную щетку, мне нужна зубная щетка, я не могу купить такую дорогую пижаму".

И тогда он зашел за дверь, ведущую во внутреннее помещение магазина, и вышел оттуда через несколько секунд с зубной щеткой, тоже красной, но не совсем новой, сунул ее в сумку и сказал: "Вот, мальчик, я даю тебе и щетку, иду на уступки". Увидев, что я все еще стою на месте, потому что ужасно было мне жаль денег, он сунул мне в руку сумку с пижамой, вывел меня наружу, на панель и закрыл за мной дверь.

И так остался я без гроша, но зато с великолепной пижамой в новом пластиковом мешочке. И тут начался проливной дождь. А у меня еще целых пять часов в запасе до четырех. Денег на автобус у меня не было, и я пешком поднялся на Кармель и дошел до его дома. До четырех оставалось еще три часа. Мне неудобно было стоять на лестнице, и я нашел себе маленькое укрытие напротив его дома, сел там и стал ждать. Вдруг кто-то, кто даже и не жил там, подошел ко мне и сухо сказал: "Ну-ка уходи отсюда".

Я встал и ушел. Обошел весь квартал. Очень красиво здесь, даже во время дождя. Потом вернулся и снова занял свое место, напротив его дома, сижу, жду, чтобы время скорей прошло. И снова подошли ко мне какие-то двое и сказали: "Что ты тут делаешь? Кого ждешь?" Я не ответил им, встал и начал бродить по улицам. Потом снова вернулся в свое убежище, а было уже полтретьего, и дети стали возвращаться из школы, сначала маленькие, а потом постарше. И я увидел ее, как она появляется, наверно, самая последняя, бежит без плаща, без галosh, только в короткой курточке, вся промокла. Я посмотрел

ей вслед, когда она скрылась внутри дома. И снова вышло солнце.

Я бросил в мусорный ящик книгу стихов Альтермана "Звезды за окном", которая от воды совсем разлезлась. Потом приехала его жена. Я сразу узнал, что это она, по зеленому "Фиату-600", в котором я когда-то натягивал тормоза и менял масло. Она вытащила из машины кучу хозяйственных сумок, а потом стояла и долго рылась в почтовом ящике, хотя я уже заглянул туда и знал, что там ничего нет. Через десять минут она снова спустилась, поехала и вернулась с молоком, потом через полчаса еще раз торопливо спустилась, поехала и привезла хлеб.

Улица постепенно опустела, и наступила какая-то странная тишина. Люди приезжали в своих машинах, вытаскивали сумки и исчезали внутри домов, опускали жалюзи. А я все сижу напротив дома и жду его. Ужасно надоело мне все это. Открылась дверь на балкон, и она вышла посмотреть на небо, а я постарался сжаться так, чтобы она не заметила меня, но она посмотрела на меня, словно пытаясь что-то вспомнить. Снова пошел дождь, мама что-то крикнула ей, и она вернулась в комнату. А дождь стал таким сильным, что я подумал — еще немного и он смоеет меня и понесет по склону к морю, которого не было видно из-за сплошной завесы дождя.

Ужасно я был несчастный, просто с ума сходил от этого непрекращающегося ливня, мне уже ни до чего, даже о любви думать не могу. Сижу один на улице напротив опущенных жалюзи, уже больше четырех, а он все не появляется, я уже стал бояться, что так и останусь на улице на всю ночь вместе с пижамой. Может, он забыл о ночной работе и обо мне. Но вот наконец я услышал, как его американская машина поднимается вверх по улице. Он еще не успел выключить мотор, а я уже открыл ему дверцу. Он улыбнулся мне, словно мы только что расстались, и спросил: "Что, только сейчас приехал?" — "Только сейчас", — соврал я. А он сказал: "Ну, хорошо, помоги-ка мне", — и начал вытаскивать из машины цветы,

пироги, хлеб и арахис. Может быть, каждый варит там для себя и ест отдельно?

Мы поднялись в дом, он позвонил, нам открыла девочка, а он сказал:

— Это...

— Наим... — сказал я почти неслышно.

Она посмотрела на меня удивленно. И я снова был потрясен ее красотой. Его жена сразу же вышла к нам, а когда увидела меня, взяла у меня цветы и хлеб и сказала: "Что же ты не зашел раньше, почему ждал все время на улице?" А Адам удивился: "Ждал на улице? С ума сошел, в такой дождь..." Я ничего не ответил, только вытирал все время ноги о коричневый коврик у порога. Они сказали: "Ничего... ничего, заходи", но я все вытирал и вытирал, уставившись в пол глазами, пока он не взял меня за руку и не втолкнул в комнату, как будто лишь сейчас понял, до чего я мокрый. Они, наверно, сразу же пожалели, что сказали мне "ничего, ничего", потому что я испачкал им весь пол. Тогда я снял ботинки, и это было ужасно, потому что носки были мокрые и рваные, а ноги — черные, и подо мной образовалась черная лужа, и куда бы я ни шел, эта лужа следовала за мной.

У них не оставалось другого выхода, как затолкнуть меня в ванну. Это жена его первая поняла, в каком я состоянии. Они все втроем стали заниматься мною, принесли полотенца, стали снимать висящее в ванной выстиранное белье. И больше всех хлопотала его жена, а он испугался, наверно, из-за грязи, которую я притащил туда, и пожалел, что пригласил меня для ночной работы.

И вот я уже лежу в горячей воде с душистой пеной. Постепенно согреваюсь. Приятно было лежать в ванне у евреев в маленькой ванной комнате, в которой висело множество цветных полотенец и стояли разной величины баночки. Не думаю, что кто-нибудь из нашей деревни лежал так в благоухающей пене у евреев. А они тем временем искали, что дать мне надеть вместо моей промокшей одежды. В конце концов женщина, которая говорила со мной через дверь, предложила мне надеть пижа-

му, пока моя одежда не высохнет на батарее. Я ответил: "Хорошо", а что еще я мог сказать? Но мне хотелось утопиться в этой ванне от стыда и покончить таким образом с ночной работой. Я лежал и лежал в воде, мыл и тер себя без конца, потом вынул затычку и начал мыть ванну, которая стала от меня ужасно грязной, вытер ее полотенцем, вытер пол, почистил раковину и еще всякие места, которые вовсе и не я испачкал, но я не был уверен, что они помнят, что это не я их испачкал. Уже стемнело, а я не нашел выключателя, и в темноте натянул на себя пижаму, которая действительно была невероятно красивой. Мне пришло в голову убежать через окно, но беда в том, что там не было окна. Я боялся выйти и сидел тихо там, в темноте. Но они уже стали беспокоиться, и Адам открыл дверь, увидел меня в пижаме и разразился таким смехом, что девчонка сразу прибежала, посмотрела на меня и начала дико смеяться, и жена тоже рассмеялась, но подошла ко мне, взяла меня за руку, чтобы вывести меня оттуда. Я тоже попробовал смеяться вместе со всеми, чтобы им не стало неловко из-за своего смеха, но не знаю как — этот смех превратился в плач. И это конец. Я разразился ужасными рыданиями. Из-за усталости, из-за волнения. Уже много лет не плакал я так горько, даже когда хоронили Аднана. Я никак не мог остановиться, совсем как младенец, как идиот, лью слезы, как будто дождь накопился у меня внутри, плачу и плачу перед тремя чужими евреями, перед моей любимой, которая никогда не будет моей любимой.

ДАФИ

Мама с папой говорят в один голос: "Ничего, ничего, заходи", но он был испуганный, и смущенный, и ужасно серьезный, без конца вытирал ноги о коврик у двери. Маленький араб, папин рабочий, только подумать, что есть у него тридцать человек таких, которые боятся его. Вот бедняга, стоял под дождем на улице и ждал. Но, честное слово, я уже видела его однажды, я сразу узнала

его. Это тот самый мальчишка, который приходил сюда как-то за папиной сумкой. Довольно симпатичный мальчишка. Папа привел его поужинать, потому что он нужен ему ночью, чтобы он залез в дом "этого", который пропал.

Мама сразу же стала заботиться о нем, взяла его под свою опеку, потому что папа вообще не знал, что с ним делать. Всякие несчастные — это для нее, она сразу же поднимает флаг бедствия и начинает действовать. Взяла его за руку и повела в ванную. Сняли с него мокрую одежду и положили ее сушиться на батарею, а его самого отправили прямо в ванну.

Как-то странно, что в этот зимний предсубботный вечер, когда у нас обычно стоит полная тишина, в доме вдруг появился кто-то. К нам очень редко приходят гости. Иногда летом останется ночевать какой-нибудь родственник из Иерусалима, но в последние годы и этого нет.

Мама начала искать для него одежду. Но откуда возьмется у нас одежда для мальчика его возраста? В папину одежду могут влезть трое таких. Но мама все-таки ищет. Даже зашла ко мне в комнату и стала рыться в шкафу. Я сказала ей: "Может быть, дашь ему какую-нибудь юбку, что тут такого, шотландцы ведь носят юбочки". Но она страшно разозлилась: "А ты замолчи, как тебе не стыдно смеяться над этим бедным маленьким арабом. Храни свои шутки про себя".

Ну и что такого, что он араб, и почему это он вдруг такой бедненький? И вообще, я не потому, что он араб. Просто так... А если бы он был еврей, какое это вообще имеет значение? Черт возьми... Я даже обиделась на нее. А тем временем папа нашел выход — пусть наденет пижаму, которую он принес, потому что папа дал ему утром деньги, чтобы он купил себе пижаму (странная идея!), и его не спросили даже, хочет ли он разгуливать в пижаме среди бела дня, просто сунули ему ее в ванную и стали ждать, чтобы он вышел. Но он не выходил, прошло пять минут, десять минут, четверть часа, а он все не выходит. Прихорашивается что ли, как какая-нибудь кокетка. Наверно, не доходит до него, что у нас только одна

ванная и папе тоже надо помыться перед едой. В конце концов папа открыл дверь, и мы увидели, что он сидит на краю ванны, как испуганный зверек, одет в такую пижаму, какой я в жизни не видела. Ну и мамзер!*

Мы были потрясены. Удивленно смотрим друг на друга. Я не удержалась и улыбнулась, на папином лице тоже появилась глупая улыбка, испуганная какая-то, и тут я почувствовала, что вся начинаю сотрясаться от смеха, что мне ужасно смешно. И я разразилась диким смехом, своим знаменитым хохотом, который взрывается, как гром, и за первым его раскатом следует такое тоненькое хи... хи... хи, которое всегда заражает других, и все, кто находится вблизи, начинают смеяться против своей воли и не могут остановиться. И папа тоже начал смеяться — хо... хо... хо, и мама с хмурым лицом тоже начинает захлебываться — ха... ха... ха, и снова я разражаюсь великим громом, но уже не из-за пижамы, а из-за их дурацкого смеха. А араб, весь красный, тоже попытался улыбнуться, но вдруг как-то сразу, без всякого предупреждения, заплакал.

НАИМ

Но потом, увидев, что они перепугались, я перестал плакать и позволил им отвести меня в гостиную и посадить в кресло, и вот я обнаружил, что сижу и веду с ними беседу, правда, это его жена стала сейчас же говорить со мной и задавать мне вопросы, чтобы отвлечь меня. Никогда не приходилось мне разговаривать с такой женщиной. Совсем не молодая, с острым лицом, курит сигарету за сигаретой, но очень сердечная и умная, умеет обращаться с людьми. Сидит против меня, закинув ногу за ногу, а за ней в окне — закат, море и на горизонте, словно розовый веер, идет легкий дождь. В комнате тепло и приятно, все вокруг чисто и прибрано. Она задает так

*Незаконнорожденный (иврит). В данном контексте — пройдоха, хитрец.

много вопросов, словно работает в Службе безопасности. Что делает папа и что делает мама, сколько братьев и сколько сестер, и чем именно занимается Фаиз в Лондоне, и что мы думаем, и что учили в школе, и какую историю мы проходили, и с какого времени наша семья живет в стране, то есть сколько поколений, и сколько всего людей в деревне, и сколько работает в городе, и сколько дома. И что я знаю об евреях, и слышал ли я о сионизме, и как я понимаю это слово. Мне кажется, что она первый раз разговаривает с арабом о таких вещах, до сих пор она говорила только с теми арабами, которые приносят ей продукты из супермаркета или моют лестницу.

А я тихо отвечаю ей, слезы уже высохли. Очень стараюсь. Сижу, не двигаясь, боюсь, как бы не разбить случайно что-нибудь, я и так натворил тут достаточно. И я рассказываю ей все, что знаю, что я еще не забыл, осторожно, чтобы не рассердить ее. Смотрю только на нее, не поворачиваю головы в сторону девчонки, которую, как я уже знал теперь, зовут Дафи вместо Дафна. А она сидит все это время рядом со мной и пристально смотрит на меня. Ее взгляд касается меня, как горячий ветер, она сидит и слушает и слегка улыбается. А беседа все течет и течет, и я вижу, что они, и правда, ничего о нас не знают, не знают, что мы много чего учим о них. Они даже не представляют, что мы действительно проходим Бялика и Черниховского и всяких других хасидов, и что мы знаем о том, что такое бейт-мидраш*, и о еврейской судьбе, и даже о сгоревшем местечке.

— Бедные... — говорит вдруг девочка, — чем они-то виноваты...

Но женщина, смеясь, заставила ее замолчать, а я не совсем понял, можно ли и мне посмеяться, и тогда я улыбнулся, криво так, а глазами уперся в ковер. И вдруг я испугался, что у них нет больше тем для беседы, и

*Религиозная высшая школа в восточно-европейском рассеянии.

продолжал говорить тихим голосом, даже не дожидаясь вопросов.

— Мы учили стихи наизусть, и я даже помню... может, хотите послушать?

И стал декламировать:

**То не косматые львы собрались на вече пустыни,
То не останки дубов, погивших в расцвете гордыни, —
В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,
В гордом покое, давно, спят у темных шатров великаны.***

А они, и правда, ужасно удивились, чуть со стульев не упали. Я был уверен, что они удивятся, а то зачем же надо было мне вдруг произносить все это наизусть, не знаю. Просто захотелось мне. Пусть знают, что я не такой уж дурак.

А Дафи вскочила с места и побежала звать своего отца, чтобы он послушал. Он вышел прямо из ванной, в купальном халате, борода мокрая, стоит, раскрыв рот, будто у меня вторая голова выросла.

А я продолжал, все больше распаляясь:

**Мы соперники Рока!
Род последний для рабства и первый для радостной воли!
Мы разбили ярем и судьбу мятежом побороли;
Мы о небе мечтали — но небо ничтожно и мало...
И с тех пор нет над нами владыки!**

А девчонка, Дафи, покатывается со смеху, бежит за книгой, чтобы проверить, не сделал ли я какой-нибудь ошибки. Я же продолжаю дрожащим голосом:

**Против воли небес, напролом,
Мы взойдем на вершину!
Сквозь преграды и грохот и гром
Урагана!**

Уже почти совсем стемнело, в доме было тепло, и полное безмолвие стояло вокруг. Теперь я заметил, в какой тишине они живут. А они занимались мною, будто я игрушка. Я чувствую, что произвожу на них впечатление, вижу их глаза, которые они не сводят с меня. Ведь я не

*"Мертвецы пустыни" — поэма Х.Н. Бялика. Здесь и далее — перевод В. (Б.З.) Жаботинского.

такой уж некрасивый, девчонки в нашей деревне часто поглядывают на меня, просто так, без причины, думают, что я не замечаю. Но сейчас я не знал — я просто странно выгляжу в этой красной пижаме с бахромой и с этими золотыми пуговицами, или все-таки немного симпатичный.

Девчонка притащила свои домашние туфли и поставила возле моих босых ног. И они все радостно улыбнулись мне.

— Как ты сказал тебя зовут? — вдруг спросила девочка, не расслышала, наверно, сначала.

— Наим, — ответил я.

ДАФИ

Я сидела немного позади него, не сводила с него взгляда. Честное слово, он мне понравился, этот араб, развлек нас папа в канун субботы, ведь у нас эти предсубботние вечера стали ужасно скучными — ничего, кроме кучи газет. Сидит себе в пижаме, причесанный, чистый и благоухающий, с раскрасневшимися щеками. Показался вдруг маленьким, кого-то напоминает, нельзя сказать, что он некрасив, есть, наверно, похуже него.

А мама делает мне намеки, хмурит брови, потому что заметила, что я впилась в него взглядом, просто глаз не свожу с его лица, наверно, подумала, что я собираюсь поиздеваться над ним или посмеяться, как случается, когда я сижу, вперив взгляд в одну из старух, проходящих навестить ее. Но я ничего не замышляла, он просто заинтересовал меня, этот араб, который быстро пришел в себя и начал толково отвечать на ее вопросы, рассказывать о своей деревне, о семье, о школе, которую он кончил и где изучал Бялика и Черниховского и всю эту нашу тяготину. Чудесно! Это просто свинство заставлять их учить это. Пусть учат свою собственную.

У меня вырвалось шепотом:

— Бедные... они-то чем виноваты...

Мама сердито посмотрела на меня, а этот араб тоже

немного испугался, потому что он, как оказалось, очень даже любит Бялика, так как он сразу, без всякой просьбы, стал произносить отрывки из "Мертвецов пустыни", я чуть со стула не свалилась.

Мы, все трое, пожирали его глазами. А он решил произвести впечатление и начал тихо, без единой ошибки, произносить отрывок, который ужасно любит Шварци и который он сует в программу всех вечеров, неважно, подходит ли он к случаю или нет: "Мы соперники Рока! Род последний для рабства и первый для радостной воли! Мы разбили ярем и судьбу мятежом побороли; Мы о небе мечтали — но небо ничтожно и мало... И с тех пор нет над нами владыки..." Сидит на кончике кресла, голова опущена, все еще не поднимает глаз, произносит слова почти шепотом. А я смотрю на папу и на маму, вижу, как они сидят, вперив в него взгляд, разинув рот, и вдруг, будто молнией меня ударило. Ведь этот мальчишка похож чем-то на Игала. Что-то в нем напоминает его, а они не понимают и не чувствуют, и никогда не поймут. Они не понимают, что именно в нем притягивает их. Папа не знает, почему именно его он послал сюда за сумкой и почему сейчас взял его на ночную работу. А если я скажу им это, они ответят: "Глупости, что ты вообще знаешь об Игале, ведь ты никогда его не видела".

НАИМ

Я сидел около девочки и очень старался, чтобы не коснуться ее, а женщина принесла еду. Сначала были какие-то серые котлеты, сладковатые и вызывающие тошноту. Эта женщина, наверно, не умеет готовить и вместо соли кладет сахар, но никто не обратил на это внимания, а может быть, им просто было неудобно сказать ей. И я тоже заставил себя есть, чтобы они не обиделись, как моя мама, которая всегда обижается, если не съедают все, что она ставит на стол. Я только взял побольше хлеба, чтобы не чувствовать этот сладковатый вкус. А этот Адам ест со страшной скоростью, я даже не заметил,

как он все прикончил и ему принесли добавку, которую он тут же и проглотил. А я ел медленно, потому что мне надо было стараться есть с закрытым ртом, по всем правилам. Наконец-то я покончил с этими тошнотворными котлетами, которых я никогда до сих пор не ел и никогда больше есть не буду. Я спросил, как это называется, чтобы знать, чего остерегаться, если мне еще когда-нибудь придется побывать в еврейском доме. Они заулыбались и сказали, что это называется "гефилте фиш"*.

"Хочешь еще?" Я быстро ответил: "Нет, спасибо". А женщина сказала: "Не стесняйся, есть еще много", я снова сказал: "Нет, спасибо, я не хочу больше".

Я решил, что на этом ужин закончился, и так как я был еще голоден, я тихонечко взял кусок белого хлеба и съел его, хотя и он, черт возьми, был сладковатым. Женщина была все время на кухне, возилась там с посудой, а девчонка уткнулась в телевизор, который был включен, и смотрела египетский фильм с танцем живота, наверно, интересно ей, хоть и не понимает ни слова, Адам читал газету, а я ем тихонько кусок за куском и вдруг вижу, что съел им весь этот хлеб.

И тут вошла женщина с другими тарелками и поставила блюдо с мясом и картошкой. Как видно, ужин еще не закончился, но нет никакого порядка, каждый сам по себе, занят своим делом. И я заметил, что Адам и его жена, я уже знал, что ее зовут Ася, не смотрят друг на друга, когда разговаривают.

И снова начали есть. Эта еда была повкуснее, только не хватало пряностей, но, по крайней мере, не было сладко, и принесли черный хлеб. Девчонка поела чуть-чуть, и мама сказала ей что-то. Адам наложил себе полную тарелку и начал есть с такой скоростью, будто не ел целую неделю, заглядывал все время в газету, лежащую на столе. И такая тишина во время еды. Такое

*Фаршированная рыба (идиш).

одиночество. Вдруг он вспомнил что-то и обратился ко мне:

— Кто-то говорил в гараже, что один из террористов, напавших на Университет, твой брат или что-то вроде... Это правда?

А женщина и Дафи, как по команде, сразу положили вилки и ножи, словно очень испугались чего-то. Я ужасно покраснел, задрожал — сейчас все пойдет насмарку.

— Какой террорист, — притворился я, что не совсем понял, — тот, что покончил с собой в Университете? Это сын моего дальнего родственника... — соврал я, — я его почти не знал. Он был больной, то есть не совсем нормальный... — улыбнулся я им, но на их лицах не было улыбки.

Но вот ужин закончен, Дафи уселась против телевизора, меня тоже усадили там на одно из кресел в моей пижаме и ее домашних туфлях. Я уже и забыл стесняться. Слово я член семьи. Даже в уборную пошел и вернулся. Но я еще ничего не знал о предстоящей ночной работе. Можно сказать, забыл о ней, а может, и он забыл. Во всяком случае, так казалось. Адам тоже смотрел телевизор и одновременно читал газету, а вернее, не делал ни того ни другого, а просто немножко дремал. Девчонка уже полчаса, наверно, говорила по телефону, женщина мыла посуду на кухне, и только я в своей пижаме продолжал смотреть телевизор, слушал песни Второй алии*.

Я с трудом удерживал голову, чтобы она не падала, но все-таки уснул под звуки этих песен, потому что очень устал от этого необычного и чудесного дня. А в одиннадцать увидел склонившиеся надо мной их смеющиеся лица, телевизор уже был выключен, часть ламп погашена, они подняли меня и отвели, сонного, в комнату, заставленную книгами, уложили в мягкую белую кровать, а Адам сказал:

— Я тебя скоро разбужу, и мы отправимся, — и укрыл меня одеялом.

*Алия, начавшаяся в 1904 году, после Кишиневского погрома.

"Так все-таки будет ночная работа", — подумал я и продолжал спать.

Около двух он разбудил меня, в доме было совсем темно. Сначала я ничего не соображал и заговорил с ним по-арабски. Он засмеялся и сказал: "Проснись, проснись", — и дал мне мою одежду, которая была сухой и твердой. Я оделся в темноте, а он смотрел на меня. На нем была не рабочая, а чистая одежда, меховая шапка и черная меховая куртка, он был похож на настоящего медведя.

На улице не было ни души, ночь была холодная и шел мелкий дождик. Я не знал, куда он едет, но понял, что мы спускаемся в направлении Нижнего города. Он остановился в маленьком переулке, выключил мотор, вышел из машины и велел мне подождать внутри, потом исчез на некоторое время, вернулся и сказал, чтобы я вышел. Я шел за ним, он казался очень напряженным, словно какой-то преступник. Я не знал, что он по ночам занимается взломом квартир, я думал, что ему достаточно доходов от гаража. Мы вошли в маленький тупик, и он остановился около большого старого арабского дома, все окна которого были темны, обнял меня за плечи, показал на окно на втором этаже и сказал шепотом: "Поднимись туда, открой ставни и залезь в квартиру, света не зажигай, подойди к входной двери и открой мне ее."

Так вот для чего был весь этот ужин, и пижама, и все эти прекрасные разговоры. Мне хотелось плакать от тоски. Если бы папа знал! Один сын уехал за границу, другой террорист, а младший взламывает квартиры по ночам. Очень удачная семья. Но я молчал, что я мог сказать ему? Уже поздно. Он дал мне большую отвертку, чтобы отогнуть задвижки ставен, и сказал: "Если кто-нибудь появится, я тебе свистну, а ты постарайся убежать".

— Что свистнешь?

— Какую-нибудь песню... какую ты знаешь?

— "Золотой Иерусалим".

Он рассмеялся. Но я совершенно серьезен, молчу, не двигаюсь с места, грустно смотрю на него. Тогда он

сказал: "Не бойся, там никого нет, это квартира моего друга, который ушел на войну, и мне надо найти там его бумаги..."

Я продолжал молчать, потому что вранье было глупым и мне было стыдно за него. Тогда он настойчиво сказал: "Ялла..."*

И я пошел. Поднявшись приблизительно на полтора метра, я ухватился за старую и ржавую канализационную трубу и начал взбираться по ней, иногда соскальзывал, но продвигался вперед. Это было совсем не просто, я мог сорваться и сломать себе что-нибудь. И так постепенно я добрался до окна и встал на узкий карниз. Сверху я посмотрел на него — он следил за мной. Я попробовал открыть ставни, которые были похожи на те, что в нашем доме, подsunул отвертку и поднял задвижку. Но когда я стал открывать ставни, раздался ужасный скрип, словно сработала сигнализация. Наверно, тысячу лет не смазывали петли. Ставни медленно открылись, окно было закрыто, но не до конца, как будто его закрывали второпях. Я слегка толкнул его, и оно открылось. Еще секунда — и я внутри темной комнаты. Я снова посмотрел на улицу, но его там уже не было.

Затхлый запах давно не проветриваемого помещения, паутина щекочет мое лицо. Я постепенно привыкаю к темноте. Мужская одежда валяется на кровати, груды старых носков в углу. Дверь комнаты была закрыта, я открыл ее, и вышел в маленькую прихожую, открыл другую дверь и оказался в большой и грязной кухне. Там было полно посуды и пакетов и что-то варилось на маленькой керосинке. Вот когда я действительно испугался. Здесь кто-то есть. Я быстро вышел из кухни и открыл еще одну дверь — уборная, еще дверь — ванная, еще дверь — это был балкон, который снова вывел меня в ночь, к близкому морю, передо мной открылся совсем другой вид.

*Возглас, означающий "Ну, давай!" (араб.)

Я запутался окончательно. Все было старым и запущенным. Большой добычи здесь не будет. Я открыл еще одну дверь и оказался в большой комнате, там стояла кровать, а на ней лежало что-то завернутое в одеяло, старуха какая-то что ли. Я вышел оттуда и наконец нашел входную дверь. Замок был взломан, кто-то взломал его до нас. Дверь была закрыта на задвижку. Я открыл ее, за порогом стоял Адам и улыбался. Он быстро вошел, закрыл за собой дверь, зажег свет.

В этот момент открылась одна из дверей и появилась толстая маленькая старушка в ночной рубашке, еще более потрясающей, чем моя пижама, оглядела нас. Она стояла молча, не испугалась, волосы распущены по плечам. Я сразу почувствовал, что она догадалась, что я араб.

Мне очень хотелось удрать отсюда, надоела мне эта ночная работа, которая еще может кончиться убийством. "Я ведь всего только мальчик!" — хотел я крикнуть ему. Он ведь не понимает этого.

Но самое странное, что они оба совсем не были испуганы. Наоборот, приветливо улыбались друг другу.

Он подошел к ней, слегка поклонился.

— Госпожа Армозо... бабушка Габриэля Ардити... не так ли?

— А это ты, тот бородач?

— Бородач? — удивился он, будто у него никогда не было бороды.

— Где Габриэль?

— Я ищу его все время...

— Так значит, он действительно вернулся.

— Конечно.

— Где он?

— Это вопрос, который я не перестаю себе задавать. Говорит тихо, спокойно. Помолчали. Они оба были очень взволнованы. Вдруг заговорили разом.

Она: Что это ты вдруг ищешь его?

Он: Когда вы вернулись из больницы?

— Вчера.

— Но ведь вы потеряли память...

— Снова нашла ее...

ВЕДУЧА

Как все это началось? С запаха рынка. Да, с запаха рынка. Вот уже сколько времени я говорю себе: "Что это за запах, который ты чувствуешь? Что это?" И тут до меня доходит. Это запах рынка в Старом городе. Запах арабов, запах помидор, зеленого лука и маленьких баклажан, запах паленого мяса, жарящегося на огне, и запах корзин, свежей соломы и дождя. А после запаха — голоса, слабые, неясные, и я вылезаю из этой ямы, держась за зимнее платье бабушки, бабушки Ведучи, которая бродит по темным переулкам, прямая и высокая, завернувшись в черный платок, стучит длинной палкой, лицо у нее белое, а там, под сводами, застыл туман. Я прыгаю по лужам, смотрю снизу в глаза арабов, закутанных в свои коричневые абайи. А на церквях, мечетях и синагогах лежит белая вата, слой снега. Я хочу показать его бабушке, но она не обращает внимания, лицо у нее очень бледное, она ищет что-то, ее корзина все еще пуста, но она не останавливается. Я тяну ее за палку, хочу, чтобы она остановилась у прилавка со сладостями, но она отталкивает меня и продолжает свой путь, идет по переулкам, проходит мимо Стены плача, старой и низкой, как в прежние времена, дома мешают видеть ее, поднимается в Еврейский квартал по выщербленным высоким ступеням. Значит, еще не было Войны за независимость, и я очень удивлена, потому что, хотя я и маленькая, но разум у меня старушечий. Все еще цело, не разрушено. А бабушка не обращает на меня никакого внимания, будто я случайно прилипла к ее платью. Время от времени она подходит к какому-нибудь прилавку, чтобы пощупать помидор, понюхать баклажан, ворчит по-арабски на смеющихся торговцев. Спрашивает, но ничего не покупает. И вдруг я понимаю — не овощи она ищет, а человека. Араба? Еврея? Армянина? И тогда я заплакала. От усталости, от голода, от тумана, ужасно хочу пить, но бабушка

не слышит, а если и слышит, то это ее не трогает, словно она мертвая. Надоела я ей со своим плачем. Начинают звонить колокола, и идет легкий снежок. И звуки выстрелов. Люди бегут, бабушка тоже торопится, размахивает палкой, расчищает себе дорогу, бьет по головам арабов, которые толкуются перед нею, что-то кричат, и в этой суматохе она бросает меня, ее платье вырывается из моей руки, а я все еще ною, но не в переулке, а в коридоре какого-то дома. Неслышно плачу, но это не детский плач, а сдавленный плач старухи, разомлевшей от слез. Но я не чувствовала себя несчастной, наоборот, какая-то истома охватывает меня, плача я избавляюсь от чего-то, с чем давно надо было мне расстаться, все вокруг становится более легким. Я открываю глаза и вижу приоткрытое окно над кроватью, а за окном ночь и идет дождь, сильный дождь, но совершенно неслышный, словно он не падает на землю, а парит в воздухе. И было холодно, но туман рассеялся, это я сразу заметила, туман, который окутывал все, — исчез.

Я встала с кровати и выпила стакан воды. Все еще плачу...

Потом мне рассказали, что я проплакала без перерыва полтора дня, и все вокруг меня очень взволновались, держали меня за руки, гладили меня, не понимали, что случилось. Так все это началось, так вернулось ко мне сознание. Только сознание? Нет, что-то большее, чем свет. Такой свет, что то, что казалось мне светом раньше, не сравнится с ним. Но это еще было сознание без знания. Ясное сознание пробивается медленно, раскрывается постепенно. В полдень на другой день я перестала плакать, словно сломался внутри какой-то аппарат. И когда сестра принесла обед, я уже знала то, о чем они еще и не догадывались. Я вернулась. Я здесь. Я уже могу вспомнить все. Все готово к этому. Недостаёт лишь имени. Только имя мое должен мне кто-нибудь напомнить, а остальное я сразу же сама найду. Я улыбнулась чернявенькой сестричке, а она улыбнулась мне в ответ, испуганно и удивленно, увидев, что я уже улыбаюсь, а не

плачу. Я спросила ее: "Как тебя зовут, девочка?" — и она сказала мне свое имя. "А как меня зовут?" — спросила я. "Вас?" — она совсем растерялась. Подумала, что я смеюсь над ней. "Ваше имя?" И она приблизилась к кровати, нагибается, ищет какую-то бумажку на решетке кровати, заглядывает в нее и говорит мне шепотом, как бы стесняясь: "Тут написано — Ведуча Армозо".

А мне только это и надо было услышать — свое имя, и сразу голова моя прояснилась. Бумажка с моим именем все время висит на моей кровати, а я, дура старая, не видела. Теперь я знала, кто я, и вспомнила всех остальных. Сразу поняла все. Голова закружилась у меня от всех этих сведений, которые вернулись ко мне. Мать, отец, Хемда и Габриэль. Государство Израиль, Голда, дом, залив, Галилея и Никсон. Госпожа Гольдман — соседка и самое последнее — маленький мой "морис" и еврейский народ... Все затопило меня со страшной стремительностью. Лишь одно было мне не ясно, что это за приятное место, где я лежу, эти белые комнаты с кроватями, цитрусовые плантации за окном, и кто эти милые девушки, которые суетятся вокруг меня. Ведь я не умерла, и это не загробный мир.

Я быстро сошла с кровати и попросила свою одежду, и маленькая сестричка принесла мне ее. Две старухи в халатах вошли в комнату и, увидев, что я одеваюсь, чуть не закричали. Я их напугала. Они поняли, что со мной что-то произошло. Потом они рассказали мне, что в глазах моих появился свет. Изменилось выражение лица.

И до чего же я была счастлива. Вот — свобода и радость, я одевалась и пела. И все вокруг интересовало меня. Имена старух, которые представились мне. Старая газета "Маарив", лежащая на стуле. Я сразу же набросилась на нее, стала читать. Ведь я известная любительница газет. И сразу же обнаружила много нового и интересного. Нет, мир не спал все это время. Голова моя кружилась...

А слух о том, что ко мне вернулось сознание, распространился с большой скоростью. В комнату торопливо

вошли заведующая и секретарша, очень взволнованные, обняли меня, привели в канцелярию, позвали врача, чтобы он осмотрел меня, а сами смеялись. Я тоже смеялась: "Ну вот, я и проснулась, — сказала я им, — а теперь расскажите мне обо всем".

И они рассказали мне, страшная история, как привезли меня почти год назад совсем без сознания; они уже и не надеялись вовсе. Наверно уже десять месяцев я лежу, как камень, как растение, как глупое животное, никого не узнаю, даже себя. Говорю, как младенец, что-то невразумительное, какой-то бессвязный бред.

На столе лежала пачка сигарет, и я вспомнила, что я курила когда-то и даже получала от этого удовольствие, и попросила разрешение взять одну сигарету. И так сижу я перед ними, курю сигарету за сигаретой, восстала из мертвых, слушаю все их беспорядочные рассказы о себе и о том, что происходит вокруг.

...Так прошли дни радости и возвращения к жизни. Я заражаю весь мир своей веселостью, рада своему второму рождению. Брожу по разным отделениям, завязываю знакомство со стариками и старухами, врачами и сестрами. Задаю вопросы и получаю ответы. Все время болтаю, словно мне надо заполнить опустевший мешок. По ночам я тоже бродила, беседовала со сторожами и сестрами ночной смены, почти совсем не спала, вздремну немного и сразу же просыпаюсь, потому что боялась снова лишиться памяти. Врачи выговаривали мне, но улыбались. И уже стали намекать мне о возвращении домой. Они достали папку с данными обо мне и, колеблясь, осторожно, стали рассказывать мне о нем. Внук — Габриэль. Я не знала, что он вернулся в страну. Через месяц после того, как меня привезли сюда, он уже появился. О Господи, для чего? В голове у меня помутилось. Я, наверно, сильно побледнела. Мне сразу же принесли валерьянку для успокоения, хотели даже уложить меня в постель.

Габриэль вернулся! Вот уже десять лет он бродил по свету и даже не собирался возвращаться, и вдруг он вернулся. Стоило мне лишиться памяти, и он тут как тут.

Привел специалиста по потере памяти, чтобы осмотрел меня, привел адвоката посмотреть на меня. Устроил совет около моей кровати. Консилиум. Наверно, интересуется наследством мой взбалмошный внук.

Теперь я схожу с ума. Подробности не ясны, похоже, что все потеряли память. Полная путаница. Сначала он приходил сюда каждую неделю, садился возле кровати, силой пытался заставить меня говорить, ждал посещения врача, заглядывал во врачебные записи и уходил. Потом стал приходить изредка, ненадолго, даже к кровати не подходил, шел сразу же в регистратуру, сам вынимал мою карточку, хмуро просматривал ее и исчезал. Но с тех пор, как началась война, он совсем не появлялся, исчез. Испугался и сбежал. Правда, однажды позвонили и спросили, не наступило ли изменение в моем состоянии, но не известно, был ли это он или кто-то другой. И только несколько недель назад пришел какой-то человек, пожилой, с большой бородой — все запомнили его бороду (но кто он? кто это?) — и сказал, что он мой родственник, но говорил как-то неуверенно, стоял у моей кровати и долго смотрел на меня, интересовался, был ли тут Габриэль. Больше, чем мною, интересовался он Габриэлем, искал его. Прямо детектив. Еще фильм из этого сделают.

И вдруг мне стало грустно. Уже не было счастья первых дней пробуждения, а наоборот — тоска и подавленность. В газетах — ничего хорошего. Лишь теперь я поняла, насколько тяжелой была война. Габриэль вернулся из Парижа, а я не узнала его, и он, наверно, отчаялся и уехал. И надо думать теперь о возвращении домой, оплатить счета, вернуться в мир, надо освободить койку, все время другие старики лишаются памяти, да и не только старики.

Звоню домой, но телефон отключен. Звоню своему адвокату, но он на военных сборах. Я вызываю такси и еду домой. На улице страшный туман, дождь, грязь и мрак. Приезжаю домой, а тяжелая моя дверь закрыта. Соседка, мадам Гольдберг, вредная ашкеназия, выходит

посмотреть, кто это, и чуть не падает в обморок, увидев меня.

Я захожу к ней и слушаю ее рассказ. Это она обнаружила меня, когда я потеряла сознание, сидящей у стола над тарелкой без движения, словно камень. Она вызвала врача, и тот отвез меня в больницу. Порылась в бумагах, нашла адрес Габриэля в Париже и написала ему о моей болезни. Написала ему, что я при смерти. Через несколько недель он объявился и жил в доме, пока не началась война. Но в первый же день войны — исчез и больше не вернулся. Через некоторое время появился человек с бородой (снова эта борода, которая преследует меня), пришел искать Габриэля, хотел зайти в квартиру, взломать дверь, но она предупредила его, что вызовет полицию, все время стояла на страже, даже кровать свою придвинула к двери, чтобы услышать, если он придет.

Пришлось позвать слесаря, чтобы взломать дверь моей квартиры, потому что ключа не было ни у меня, ни у госпожи Гольдберг, все забрал Габриэль. Он проработал четверть часа и взял сто лир, Содом и Гоморра! Но главное, что можно зайти в квартиру. Помещение запущено, полно пауков, на кухне грязная посуда с остатками заплесневевшей еды.

Везде следы присутствия внука. С детства невозможно было приучить его к порядку, но теперь он совсем распустился. Его рубашки висят на моих платьях, на стульях — грязное белье, в ванной — носки. Газеты и журналы на французском, вышедшие еще до войны. Так где же он?

Госпожа Гольдберг принесла мне поесть гефилте фиш, которую она приготовила на субботу. А я и не знала, что уже канун субботы. Целый год жила вне времени. Она молча посмотрела на беспорядок в моей квартире, умирая от любопытства. Хотела задержаться, но я вежливо проводила ее.

И вдруг снова это одиночество последних лет. Теперь я понимаю, как я лишилась памяти. И снова мне захотелось лишиться ее. Нельзя было мне покидать Иерусалим,

даже если и не осталось там никого из семьи. Нельзя обрывать связи. Преступление и грех. Я начинаю есть эту фаршированную рыбу, но меня тошнит от ее сладкого вкуса. Когда, наконец, эти ашкенази научатся готовить.

Так значит, он был здесь. Как он выглядит? Господи, Боже мой, куда же он пропал? Может быть, умер, может, и он упал, потеряв сознание. Как найти этого бородача? Надо осмотреть как следует весь дом, может быть, нападу на его след. Я кладу грязную тарелку в раковину, у меня нет сил вымыть ее. До чего же запачкал весь дом, научился там у французов. Беру свечу и снова обхожу полутемную квартиру, осматриваю шкафы, кровати (он спал на всех), ищу под простынями.

Первая ночь в доме после годичного отсутствия. Кто мог поверить, что со мной случится такое, лучше бы мне было умереть. Дождь хлещет по окну. Тяжелая зима. Двери в доме скрипят, и ветер проникает неизвестно откуда. Я лежу с открытыми глазами. Никогда я не боялась одиночества, всем известно, что я одинока, но никогда не лежала я среди такого беспорядка. И вдруг слышу скрип ставен в соседней комнате, словно кто-то влезает в окно. Я думала, что это ветер, но слышатся легкие шаги. "Он вернулся", — проносится в моем мозгу. И правда, дверь в комнату открывается, на пороге стоит мальчик, смотрит на меня. Что это? Словно Габриэль снова превратился в ребенка и бродит по дому, как двадцать лет тому назад, когда ему снился какой-нибудь страшный сон, и он вставал и старался шуметь, чтобы разбудить меня.

Боже мой, неужели я снова теряю сознание? Прощай, старуха. На этот раз ты уже не очнешься. Но мальчик был настоящим, стоял на пороге, освещаемый светом свечи, которую я оставила в прихожей, это не видение. Он закрывает дверь, бродит по квартире, открывает другие двери и снова закрывает их, открывает и закрывает. И в конце концов открывает задвижку входной двери.

Я быстро встала и, как была, в ночной рубашке, вышла в прихожую; там увидела я немолодого, совершенно чу-

жого человека в меховой куртке с большой светлой бородой. Вот он, этот бородач, снова свалился с неба, стоит, разговаривает с мальчиком, который открыл дверь моей комнаты, я сразу увидела, что он араб, я чувствую их по запаху. Запах баклажан, зеленого чеснока и свежей соломы, тот самый запах, который вернул мне память.

АСЯ

Меня охватила дрожь. Много лет не видела я его. Вот он катается на велосипеде возле моего дома. Только бы не потерять его снова. Я старалась не отпускать сон от себя. Игал. Он ездит взад и вперед по широкому тротуару на большом велосипеде, и сам он большой, высокий и худой. Я думаю: "Он жив, какое счастье". И боюсь произнести слово. А он катается и катается, кружится по кругу, очень серьезный, весь сосредоточился на езде, просто увлечен, мне не удастся даже заглянуть ему в глаза, а велосипед выглядит сверхусовершенствованным, весь блестит, много переключений, шестерни и передачи. Но больше всего меня поразили тормоза, от которых прямо к его ушам идут два тонких шнура, словно ему надо слышать тормоза. Что-то наподобие защитного приспособления.

"Ты видишь?" — говорит Адам, улыбаясь. Он стоит за мной на лестнице дома, я не заметила его раньше в темноте. Это, наверно, он устроил. Но я не отвечаю, только с какой-то страстью смотрю на велосипедиста и постепенно начинаю понимать, что это не Игал, а что-то вроде замены, которую Адам нашел для меня. Но меня это не трогало, наоборот, мне казалось чудесным и правильным, что он привел такую замену. Я ждала только того, чтобы он устал от своего кругового движения, и я смогла бы увидеть его вблизи, коснуться его, обнять его. "Игал, — прошептала я, — приблизься на минутку". Но он не смотрит, не слышит, продолжает с невероятной серьезностью свое бесконечное катание. А я думала — может, он не слышит, и этот тоже не слышит, но он

слышал, просто притворился глухим, чтобы иметь возможность не замечать меня.

Потом мы оказались, Адам и я, в большом зале, залитом солнцем; там было какое-то празднество — бармицва* или свадьба, столы накрыты, на них маленькие бутерброды с красной колбасой, и Адам, по своему обыкновению, набросился на них и начал поглощать их с огромной скоростью, голод напал на него, а я беспокоилась за Игала, которого мы оставили там, на тротуаре. Ухожу посреди празднества, не прикасаясь к еде, возвращаюсь в час дня домой, суббота, на улице пусто, на панели около дома никого нет. Мальчик исчез. Я стала бродить по улицам, ищу эту "замену", чувствую себя все более несчастной, рыдания душат меня.

АДАМ

Я ужасно обрадовался, рассмеялся. Я тут изощряюсь, чтобы проникнуть в квартиру посреди ночи, а она здесь — прямая, маленькая и вполне здоровая. Живая бабушка, восставшая из мертвых.

Мне захотелось обнять ее.

— Я слышала, что господин — мой родственник и хотела бы узнать его имя.

И быстро так подмигивает мне.

Я удивился. Значит, ей рассказали о моем посещении больницы. Я все еще держу ее руку в своей. Что я мог сказать ей — что вот уже несколько месяцев ищу любовника своей жены?

Первым делом я отослал Наима, у которого еще не прошел страх и который ничего не понимал, на кухню. Старуха пошла с нами и дала ему несколько конфет. Потом я пошел за ней в ее спальню, она сняла вещи с одного из стульев и усадила меня на него, а сама взобралась на свою кровать. В спальне было темно, лампочка

*Празднество по поводу дня религиозного совершеннолетия - 13 лет.

перегорела, и только в прихожей мерцал слабый свет. И вот сию я против нее в темноте, смотрю на ее силуэт, напоминающий гигантский шарик пинг-понга, и слышу ее голос:

— Я слушаю...

И я начал рассказывать ей все, что знал. С того момента, как маленький "морис" заехал в мой гараж, и до утра второго дня войны. О том, как я искал его, и об армейских учреждениях, которые ничего о нем не знают. И о нем — как он выглядел, как одевался, что говорил, чем интересовался. А она слушала молча, я даже подумал, не уснула ли она, встал и приблизился к ней. Она беззвучно плакала, в отчаянии схватилась за свои волосы в тоске по нем, боится, что он убит.

Мои глаза стали постепенно привыкать к темноте, и я увидел, что вокруг лежат его вещи, его одежда — брюки и рубашка, открытый чемодан, иллюстрированные журналы, сигареты, которые он обычно курил; все осталось в таком виде, в каком он оставил дом, уходя отсюда. И снова вспомнил я его с необычайной ясностью.

Я сказал ей:

— Не может быть, чтобы его убили.

— Так он чего-то боится и прячется. Надо искать его. Лучше всего по ночам.

— По ночам?

И тогда она стала рассказывать мне о нем. Как она растила его, после того как мать погибла, а отец оставил его. Он был странным и одиноким ребенком, плохо спал по ночам. Какое-то ночное создание. Вспоминала имена его родственников со стороны отца, дядю, живущего в Димоне, другого дядю — из Иерусалима, одного или двух друзей, с которыми он дружил много лет тому назад. Было уже почти пять утра, голова моя кружилась от всех этих рассказов, но все-таки брешь была пробита.

Телефон ее отключили, и я обещал уладить это дело. Дал ей номер своего телефона, и мы договорились о следующей встрече.

Дождь уже перестал, небо прояснилось. Надо уходить.

Наим дремал на кухне. Я разбудил его, мы попрощались со старухой и поднялись на Кармель. Улицы были мокрые и безлюдные. Первые признаки рассвета.

Дома тишина. Ася и Дафи крепко спят. Я отвел Наима в рабочую комнату и зашел в спальню. Света не зажигаю, совсем не чувствую усталости, смотрю на спящую Асю, утренний свет падает на ее лицо. Я слегка прикасаюсь к ней. Ей снова снится что-то. Заметно, как двигаются ее глаза под закрытыми веками. До чего же странно знать, что именно в этот момент она видит сон. Сон, наверно, заставлял ее страдать, потому что лицо ее исказилось. Моя стареющая жена, погруженная в сновидения. Я осторожно нагнулся над ней, почти встал на колени, нежно трясую ее. Но она не хотела просыпаться, как-то странно, трогательно так, почти с отчаянием, ухватила за подушку, стала плакать. Я, улыбаясь, погладил ее:

— Ася, вставай, есть новости. Невероятно, но бабушка, эта старуха, восстала из мертвых...

НАИМ

И они вошли в одну из комнат, очень обрадованные встречей, а меня засунули на кухню, между помидорами и баклажанами, ждать их. Бабка дала мне несколько старых, слипшихся конфет. Сию на стуле, сосу сладкие конфеты и почти сплю. Часа через два, наверно, Адам пришел за мной, и мы поехали по пустынным улицам обратно к его дому.

В доме было темно, и он уложил меня обратно в кровать, а сам пошел в свою спальню, начал разговаривать там с проснувшейся женой. Они говорили о чем-то очень взволнованно, но у меня не было сил прислушиваться, я сразу же заснул. Спал я очень долго. Я, и правда, очень устал и мог спать и спать без конца. До чего приятно было находиться в этой красивой комнате, где вокруг мягкой кровати стояло множество книг, прямо в самой гуще евреев.

Наверно уже кончалось утро, когда я начал просыпаться, нежусь себе тихо в кровати. Раз или два приоткрылась дверь, и милая головка девочки просунулась внутрь, она поглядела на меня. Но я все продолжал спать. Зазвонил телефон, и громко заговорило радио. Девчонка крутилась по дому все время. Только ее шаги и были слышны, и снова она заглянула в комнату, наверно, хотела, чтобы я встал, но мне не хотелось. Из окна видно голубое небо, слышатся голоса детей. По радио продолжают болтать, даже в субботу им не надоедает. Девчонка остановилась у двери и тихонечко постучала. Я быстро закрыл глаза, а она неслышно вошла, подошла к книжному шкафу, притворилась, что ищет какую-то книгу, нарочно зашумела, чтобы разбудить меня. На ней были брюки и свитер в обтяжку, и я заметил под ним маленькие бугорки. Вчера я был уверен, что у нее еще нет там ничего, и вот как будто выросли за ночь.

Увидев, что я не двигаюсь, она подошла и дотронулась своей горячей рукой до моего лица. И мне очень понравилось, что она дотронулась до меня, а не только говорила со мной.

— Тебе пора вставать. Папа с мамой уехали утром. Уже одиннадцать. Я сделаю тебе завтрак. Какие яйца ты любишь?

Вся красная и очень серьезная.

— Все равно...

— И мне все равно.

— Сделай то же, что и себе, — улыбнулся я.

— Я уже поела... хочешь яичницу-болтуню?

Я не знал, что это такое яичница-болтуня, но почему бы не попробовать? И тут я сказал с каким-то нахальством, сам не знаю, откуда оно взялось у меня:

— Ладно, только, если можно, без сахара.

— Без сахара???

— Вчера, — пробурчал я невнятно, — было немного сахара в котлетах.

А она поняла вдруг и разразилась диким смехом.

Пошел на кухню, там на столе было полно еды. Она

надела фартук и начала очень энергично жарить там что-то на огне, а потом принесла мне какое-то совершенно разболтанное яйцо, немного подгоревшее, дала подгоревший хлеб и кашу. Села напротив меня, смотрит напряженно, как я ем, все время предлагает мне еще что-нибудь. Сыр, селедку, шоколад. Она решила, что я должен уничтожить всю еду, которая есть в доме.

А я ем с закрытым ртом, жую медленно. Иногда отказываюсь, а иногда соглашаюсь. Она следит за мной, словно я ребенок или щенок, которого надо накормить. Лишь иногда я осмеливаюсь посмотреть на нее прямо и вижу, какая она свежая, не такая, как вчера, более решительная, совсем не сонная. Волосы собраны в пучок, черные глаза блестят. Она не дотрагивается до еды.

— Ты не ешь? — спрашиваю я.

— Нет, я и так достаточно толстая.

— Ты толстая?

— Немножко...

— Мне не кажется...

И снова она раздражается смехом. Просто страшно, какое дикое ржание вырывается из ее рта. Что-то во мне смешит ее.

А я ем и ем, и так, не переставая есть, я все больше и больше влюбляюсь в нее, влюбляюсь окончательно и бесповоротно, всем сердцем, готов целовать ее белую ступню, которая все время раскачивается передо мной.

— Ну как, не слишком сладко было?

— Нет... все нормально... Я весь покрылся краской.

— Но кофе ты пьешь с сахаром?

— Кофе — да.

И она идет приготовить мне кофе. По радио передают музыку, пока новые болтуны не займут место тех, что пошли отдохнуть. А я уже влюблен по уши. Мне даже не надо смотреть на нее, она у меня в сердце. Пьет кофе. Какая-то безумная жизнь.

— Вы нас очень ненавидите? — вдруг слышу я ее голос, у меня чуть стакан из рук не выпал — так она меня напугала.

— Кого?

Хотя я и знал, о чем она думает, но мне было странно, что именно она начнет говорить о политике.

— Нас... израильтян...

— Мы тоже израильтяне.

— Нет... евреев.

Я смотрю ей прямо в глаза.

— Теперь уже не очень, — я пытаюсь отвечать правдиво, вижу перед собой ее красивое лицо, светлые волосы, — после войны, после того, как вас немножко победили, вас ненавидят меньше.

Она рассмеялась, очень ей понравилось то, что я сказал.

— Но твой двоюродный брат... этот террорист...

— Но он был не совсем нормальный... — сейчас же прерываю я ее, не хочу, чтобы она говорила об Аднане.

— А ты ненавидишь нас?

— Я... нет... что ты? — соврал я, хотя иногда очень даже злюсь на евреев, потому что они никогда не сажают нас в свою машину, даже если идет проливной дождь и кто-нибудь из нас один стоит на дороге.

Вдруг зазвонил телефон. Она побежала снять трубку. Звонила, как видно, ее подруга, и она, может быть, полчаса стояла там и говорила. Смеется и шепчет что-то, потом заговорила даже по-английски, чтобы я не понял, наверно — что-нибудь неприличное. Я расслышал, как она сказала шепотом: "Симпатичный араб" — и еще говорила обо мне что-то, но я не разобрал.

Наконец она пришла и удивилась, увидев, что я сижу на том же месте.

— Уже поел?

— Давно...

— Так ты можешь идти. Папа сказал, что ты ему больше не нужен. Он сказал, чтобы ты поел и вернулся к себе домой. Встретитесь с ним в гараже.

Ну что ж. Вот все и кончилось. Дали рабочему поесть, и теперь он может отправляться домой.

— У тебя есть деньги на автобус?

— Да.

Хотя денег у меня не было.

— Ты знаешь, где автобусная остановка?

— Да. Но я пойду пешком.

— Хочешь, я провожу тебя...

Словно поняла, как будто и ей жаль...

— Как хочешь, — отвечаю я равнодушно, хотя мне хотелось упасть к ее ногам и обнять их.

— Так подожди минутку.

И она пошла надеть туфли.

И мы пошли вместе, странная такая пара. На нас даже оборачивались, потому что она очень красивая и хорошо одета, а я — в своей грязной рабочей одежде, помятой из-за дождя. Идем быстро, почти не разговариваем. Начали спускаться с горы. Только один раз она остановилась и спросила меня, когда у нас женятся, то есть в каком возрасте. И я сказал ей: "Как и у вас", — и мы продолжили спускаться. Примерно на полпути она встретила двух ребят, своих знакомых, которые очень обрадовались, увидев ее. Она сказала им: "Это Наим". Они не поняли, кто я такой, но назвали свои имена, которые я не расслышал. А она вроде лишь сейчас сообразила, что я не подхожу, грязный такой, и сказала мне: "Отсюда ты найдешь дорогу сам".

— Конечно, — сказал я.

Автобуса на остановке не было, и тендер из соседней деревни взял меня и ссадил в нескольких километрах от нашей деревни. Оттуда я пошел пешком, иду, здороваюсь с людьми, работающими в поле. У нас работают все время, без отдыха. И вдруг у меня сжалось сердце. Не знаю — от счастья или наоборот, и я заплакал в голос, словно внутри меня завели мотор. Столько пережил я за последние два дня. Иду по безлюдной дороге и плачу, упал на мокрую землю, будто жалею, что я араб, хотя даже если бы я был евреем, ничего бы из этого не вышло.

ДАФИ

Он себе спит, а я тут сижу дома из-за него. Погода чудесная. Утром я позвонила Тали и Оснат, чтобы они не приходили ко мне, хотя он бы, конечно, доставил им развлечение. Мне не хотелось, чтобы он пришел в замешательство при виде такого количества девочек. Мама с папой встали рано утром и уехали, а я должна накормить его завтраком и отправить домой. Все приготовлено. Я поставила на стол все, что было в холодильнике, открыла коробку сардин и коробку фасоли, пусть выберет, что хочет, а не кривит снова свой нос, как вчера, когда ему дали фаршированную рыбу. Я не собираюсь тут с ним возиться, и пусть не думает, что нам жаль для него еды, потому что он араб.

А он все спит и спит. Он что, решил, что здесь гостиница? Я ужасно какая-то беспокойная. Два раза переодевалась. Сначала надела платье, но я всегда сомневаюсь, не толстит ли оно меня сзади. Тогда я взяла длинный сарафан, но потом сняла его, это показалось мне уж слишком, и надела вчерашние брюки, но только со свитером в обтяжку, нет смысла скрывать то, что уже невозможно скрыть. Включила радио на полную мощность, может быть, музыкальная викторина заставит его немного поторопиться. А он — точно мертвый. Я не собираюсь сидеть дома до вечера. В одиннадцать я постучала тихонько в дверь рабочей комнаты, а потом решила войти, делаю вид, что мне нужна какая-то книга. А он спит себе невозмутимо, лежит на спине в своей необыкновенной пижаме, спит непробудным сном. Нет, хватит с него. Пусть остаток своего сна досыпает у своей мамы. Я подошла к нему и дотронулась прямо до его лица. Что тут такого? Он всего-навсего рабочий у папы, и я тоже немножко тут хозяйка. Наконец-то он соизволил открыть глаза.

— Мама с папой уехали и велели мне накормить тебя завтраком. Какую яичницу ты любишь?

В конце концов я убедила его съесть яичницу-болтунью,

потому что она получается у меня лучше всего. А этот мамзер все еще лежит в кровати и просит, чтобы я не клала в нее сахар, потому что, как выяснилось, вчерашняя сладкая рыба не понравилась ему. Устала я от него!

Что и говорить, человек быстро привыкает ко всему. Он совсем не был поражен, когда вышел из своей комнаты и увидел стол, ломящийся от разнообразной еды, предназначавшейся ему. А я хлопочу вокруг него, намазываю хлеб, меняю тарелки. Сама себя не узнаю. Я не припомню человека, за которым бы я так ухаживала, да и не будет такого. Я была вся в напряжении, черт возьми. О его сходстве с Игалом я уже совсем забыла. Это мне, наверно, показалось. Теперь в своей грязной одежде он выглядел более взрослым, можно было даже заметить слегка пробивающиеся усики и признаки бороды на его лице. Ест он очень энергично; он может себе это позволить, такой тощий. И чувствуется в нем какое-то спокойствие, несмотря на то, что через каждые две минуты он краснеет, просто так, без всякой причины. Вежливо сказал спасибо, но на самом-то деле он, конечно, ненавидит нас, так же, как и они все. Но почему? Черт возьми, что мы им сделали? Чем ему так уж плохо? И вдруг я спросила его, так прямо и спросила, сильно ли они ненавидят нас. Он растерялся, стал бормотать что-то невнятное, говорит мне, что после войны, когда они немного победили нас — уже не так сильно. Победили нас? Немного? Совсем обалдели.

Зазвонил телефон. Это была Оснат. Она умирала от любопытства из-за того, что я сказала, что ко мне нельзя сейчас прийти. Начала расспрашивать, пока не выяснила все подробности, и очень удивилась, когда узнала, что это всего-навсего мальчишка араб, папин рабочий, хотя я и сказала ей, что он довольно симпатичный.

Он тем временем кончил есть и прилип к стулу без всякого движения. Я сказала ему: "Ты можешь идти, папе ты больше не нужен, возвращайся домой, увидишься с папой уже в гараже".

Он быстро вскочил с места, взял сумку с пижамой,

собрался уходить. Я не думала, что так скоро, и спросила его, знает ли он, где остановка автобуса, но он сказал, что пойдет пешком. И вдруг, не знаю почему, мне стало жаль его, он казался таким несчастным в своей запачканной рабочей одежде — так вот пойдет по ухоженному Кармелю совсем один, пока не дойдет до своей деревни, черт знает, где она находится. Вдруг стало мне грустно от мысли, что вот он уйдет сейчас, и я больше никогда не увижу его, а он превратится во взрослого и тупого араба, похожего на всех этих рабочих-арабов вокруг, и женится на какой-нибудь темной арабке... И я сказала ему: "Подожди минутку, я провожу тебя", потому что мне хотелось показать ему, как можно спуститься с Кармеля по ступенчатой лестнице, проходящей посередине горы, и как приятно идти там в такой чудесный день.

Немного странно было идти с рабочим в субботний день по центру Кармеля мимо кафе, переполненных рядными людьми; еще хорошо, что он выше меня ростом. Я показала ему лестницу и даже начала спускаться вместе с ним. Вдруг возникла у меня дикая мысль, а может, он вообще женат, черт их знает, когда они там женятся. И я спросила его, так, между прочим, и поняла, что нет. Мы продолжали спускаться между кустами и цветами, пока не наткнулись на Игала Рабиновича и Цахи, которые поднимались навстречу. Они немного удивились, увидев меня с ним. И я подумала: "Докуда я буду провожать его? До его деревни?" — и рассталась с ним. Он как-нибудь сам разберется, найдет дорогу. И правда, он сразу же исчез внизу, в вади. Я остановилась немного поболтать с ребятами, и мы поднялись наверх. Я думала, что они захотят посидеть в каком-нибудь кафе, но они торопились на баскетбольные соревнования. Тоже младенцы! Оттуда я пошла к Тали, но ее мама, как всегда, не знала, куда она пошла, как будто ей и дела нет. От Тали я пошла к Оснат, но там вся хамула* уже уселась за обеденный

*Большая семья, род (араб.)

стол. Я бы ничего не имела против, если бы они пригласили и меня пообедать с ними, но они не пригласили. Я вернулась домой, и квартира показалась мне вдруг ужасно тихой. В рабочей комнате лежали его сложенные простыни и одеяло. Все на своем месте. Люди даже не представляют себе, как это тоскливо быть единственной дочкой. Я была усталая и печальная. Вся моя энергия пошла на приготовление этого дурацкого завтрака. Небо заволочло облаками, прощай, ясный день, снова хмурится. Я села за стол и съела весь шоколад, который лежал там. Смотрю на огромное количество грязной посуды, стоящей передо мной. Потом встала и быстро ушла, чтобы настроение не испортилось еще больше. Мне захотелось почитать что-нибудь, только что-нибудь стоящее, а не эти дурацкие газеты с их угнетающими сообщениями. Я вспомнила, как вчера он, сидя в темноте на кончике кресла, декламировал "Мертвецов пустыни", и стала искать книгу стихов, чтобы почитать. У меня на столе всегда лежали "Звезды за окном" Альтермана, но вот уже несколько недель, как книга исчезла. Тогда я, нечего делать, взяла Бялика. Книга была открыта на "Мертвецах пустыни", может быть, я, наконец, пойму, почему эту поэму считают такой великой.

Я слышу, как мама и папа входят в квартиру, быстро сбрасываю туфли и забираюсь в кровать, укрываюсь одеялом, чтобы они не приставали ко мне. Они были усталые и сердитые — ничего не нашли. Мама увидела балаган на кухне и сразу же явилась в мою комнату.

— Что это за посуда на кухне? Не могла вымыть?

— Это не от меня. Это от вашего араба.

— Ему понадобилось такое количество посуды для завтрака?

— Представь себе... Это очень развитой араб, ты могла в этом убедиться еще вчера вечером.

Она посмотрела на меня враждебно, но я подняла книгу, чтобы прикрыть лицо, и продолжала читать.

"Тихо. Пустыня застыла в своем одиноком покое..."

АСЯ

Не могу вспомнить начало, мы все втроем в другой стране, что-то восточное, азиатское, около Афганистана, не представляю, откуда я знала, что это рядом с Афганистаном. Такая жаркая страна, но не пустыня, страна континентальная, удаленная от моря на несколько тысяч километров. Вокруг поля, низкая пшеница, желтовато-зеленоватая, с короткими полными колосьями. Что мы делали там — не известно. Мы приехали не как туристы, а просто, чтобы побыть там недолго, у Адама была там работа, но он, в сущности, еще не начал ее, все время крутился дома. Нас одолевали заботы.

Все мы были угнетены. Дафи забеременела. Она бродила по полям, и в нее проникло семя, совсем без вмешательства кого-либо. Это семя, в сущности, не было человеческим семенем, а было пшеничным зерном. Она сидела среди колосьев, и семя проникло в нее, что-то в этом роде, что-то неясное, пугающее... Ясно лишь, что она беременна. У нас уже были результаты анализа. И сейчас она сидит там в соломенном кресле передо мной, маленькая, бледная, а я — в отчаянии.

Нельзя было определить, понимает ли Дафи, что с ней. Но я наблюдаю за ней непрерывно и замечаю, что у нее уже появился небольшой живот. Это очень странно, так как беременность началась недавно, но нам объяснили, что это особая, детская, беременность, такая ускоренная, и это уже не впервые случается с приехавшими сюда иностранцами.

Адам заходит в комнату в сопровождении врача. Темнокожий человек, не негр, но очень темный, с пучковатой маленькой бородкой. Он пришел за Дафи, так как надо было действовать немедленно, сделать Дафи операцию, сделать аборт, но не совсем аборт, а что-то вроде; из ее живота должны вытащить это, а потом отдать нам такую полевую мышку, что-то ужасное. Кошмар. Адам уже обо всем договорился, не спросив меня.

Этот человек, врач, черт его знает, кто, подошел к

Дафи, взял ее за руку и она послушалась его, встала, очень подавленная. А я думала, что сойду с ума. Хотела наброситься на Адама за то, что он подчинился этому врачу, отвела его в сторону и стала умолять немедленно вернуться на родину, пойти с ней к врачам там. А Адам слушает, но не соглашается со мной. Врач ведет Дафи к двери, стоит у порога. Я быстро говорю Адаму, а врач прислушивается, словно он понимает иврит, Адам отрицательно качает головой: "Нет, только они умеют это делать, они спасут мышку". Я вся покрываюсь потом, просто дрожу, набрасываюсь на него: "Что, мышку?" Дафи вырывается из рук врача, бежит ко мне, кричит, хватается за меня, начинает раскачиваться вместе со мной...

АДАМ

Дафи с силой трясет меня, залезает прямо в кровать, зажигает свет, тянет за пижаму, как бешеная. "Мама, папа, Шварци звонит". Свет слепит глаза, Дафи, вся взлохмаченная, ужасно взволнована. "Шварци звонит, у него автомобильная авария".

Полпервого ночи.

Ася тоже начинает медленно просыпаться, садится в кровати, глаза еще закрыты. Телефон звонил, а мы не слышали. С тех пор как я перестал буксировать машины по ночам, я снова поставил телефон в рабочую комнату. Только Дафи услышала звонок, она все еще бодрствует по ночам. Сначала она думала, что это кто-то ошибся номером, и не подошла к телефону, но звонок не прекращался. Она подняла трубку и не поверила своим ушам, подумала, что у нее галлюцинации, услышав мягкий и сладкий голос ненавистного ей директора, ее жестокого преследователя. "Дафна? Это ты? Ты не спишь? Будь добра, попроси, пожалуйста, папу. У меня к нему дело".

Она передразнивает его.

Я подхожу к телефону.

Он шепчет взволнованным голосом, иногда раздается

странный смешок, даже в такой поздний час он не оставляет свой высокопарный иврит.

Тысяча извинений, с ним случилось несчастье, его машина врезалась в дерево. Ха, ха, весь перед смят и искривлен. Он на дороге из Иерусалима, около международного аэропорта, он тоже ранен, шишка и царапины на лице, чудесные евреи из мошава Врэдим подобрали его, перевязали и дали ему пить. Но он хочет отвести машину в Хайфу, в мой гараж. Возможно ли это? Не соизволю ли я принять несчастную машину, он доверяет только мне. Дорогой Адам, у меня нет другого гаража, кроме вашего... ха... ха...

— Ну что ж...

Он забыл адрес, просто-напросто адрес выпал из его памяти, он говорит шепотом, будто боится разбудить кого-то.

Я молчу.

— Адам?

— Кто отбуксирует вас?

— Тягач еще не пришел.

— Подождите, я приеду за вами.

— Ночью... в такую даль... я не это имел в виду, — но в его голосе чувствуется радость.

— Где вы находитесь?

Нет, он не скажет мне, заупрямился он вдруг, он вообще сомневался — звонить ли, ему очень жаль, что он разбудил девочку...

Но я стою на своем. Судьба Дафи в его руках. На этих днях он должен решить, исключат ее из школы или нет. Отбуксирую его машину, починю ее, денег не возьму, в течение нескольких дней он будет в моей власти. Но он вдруг начал там крутить, уперся. Ни за что не хочет утруждать меня. Он уже раскаивается, что позвонил. Кроме того, здесь нужен особый тягач. Его машина, если говорить правду, совершенно разбита...

— Ничего... Скажите мне, господин Шварц, точное местонахождение машины. Я не допущу, чтобы кто-ни-

будь другой отбуксировал вас... Кроме того, с вас сдерут кучу денег... У вас есть лишние деньги?..

Он испугался.

— Адам, дорогой мой, что поделаешь. Ведь и вам мне придется заплатить... Я ни за что не соглашусь, чтобы вы сделали это даром, да и вообще, какое значение имеют деньги... главное, что я жив...

— Жаль терять время...

Он сообщает мне, где он находится, объясняет путано, будто делает мне одолжение.

Я звоню Наиму. Старуха сразу же отвечает, словно ждала телефонного звонка. Голос у нее ясный. Она тоже не спит. Бодрость этой дочери прошлого века каждый раз поражает меня заново.

— Что-нибудь случилось?

— Нет... надо разбудить Наима. Я сейчас за ним заеду, поедem буксировать машину.

Тем временем встала Ася, сварила кофе. Дафи стоит около нее на кухне, ей надо знать все подробности. Она разочарована, что он отделался царапинами и шишками. Хорошо, если бы он вообще погиб, этот гад...

Мы даже не заставляем ее замолчать, до того устали.

— Из-за него ехать до Лода? Для чего тебе это? — удивляется Ася.

— Для Дафи... чтобы подумал дважды, прежде чем исключит ее.

— Ничего не поможет... я знаю его... он исключит ее... да она и заслужила...

Дафи слушает молча, молча жует кусок хлеба, волосы закрывают ее надутое лицо. В последнее время она, и правда, стала какая-то дикая.

— Жаль, что его не убило, — снова шепчет она.

У Аси, которая вертелась на кухне в старой ночной рубашке, лопнуло терпение. Вдруг я вспомнил свой сон.

— Он разбудил меня, когда мне снилось что-то.

Ася смотрит на меня.

— Что ты видел?

— Не помню...

Но когда я мчался вниз по склону, заглушив мотор, я вспомнил сон, почувствовал его запах. Я в большом зале, какое-то собрание. Там много людей и среди них — Габриэль, голова обрита, бледный. Я сердился на него, говорил с ним строго, он повернулся и ушел...

Тонкая тень у дома старухи, мерцает огонек сигареты. Наим уже ждет. За последние месяцы он очень вытянулся, отрастил гриву волос, повзрослел. Курит, не переставая, покупает себе новую одежду, все время тянет у меня деньги. Это не доставляет ему неудобства. Странный парень. Что происходит внутри него, когда он проводит целые дни в этой тишине вместе со старухой? Испортил я его совсем.

В квартире старухи горит свет. Она выглядывает в окно, лицо ее бело, как у покойника, восставшего из мертвых.

— Наим, а свитер... — кричит она сверху и бросает свитер на тротуар.

Я выхожу из машины, машу ей рукой в знак приветствия.

— Влюблена в тебя...

Он быстро поворачивает голову в мою сторону.

— Кто?

— Старуха...

— Старуха, — говорит он тихо, серьезно, — уже совсем с ума сошла...

Я молчу. Этот цинизм в его голосе, категоричность, новый тон.

Мы приезжаем в гараж. Ясная летняя ночь. Море совершенно спокойно. У неба фиолетовый оттенок. Тягач движется медленно. Я чувствую ужасную усталость. Наим сидит рядом со мной, совсем притих. Надо спросить что-нибудь о его жизни, но у меня нет сил разговаривать. Время от времени я чувствую на себе его взгляд.

К месту аварии мы прибыли через два часа. Еще издали я увидел директора, ходящего взад и вперед по дороге, словно это школьный коридор, на голове что-то вроде белого тюрбана, похож на длинное привидение. Он жмет мне руку, обнимает меня, на его разодранной рубашке

пятна крови. "Дорогой Адам, такое несчастье, никогда не случилось у меня аварии..."

Наиму он тоже жмет руку, обнимает его, как своего ученика. Наверно, не узнал в нем араба. Мы ходим обнявшись, наступаем на осколки стекла и куски железа. Где машина? Я удивлен, увидев, что она висит на дереве, как будто он хотел забраться на ней на вершину. Невозможно этому поверить, нельзя удержаться от улыбки — висит там самым настоящим образом, застряла среди ветвей.

Я вижу улыбку на лице Наима.

— Машина погибла... — он следит за моим взглядом.

— Машины не погибают. Только люди.

Он раздражается смехом.

Наим идет к тягачу, снимает ящик с инструментами, возится с цепями подъемного крана, ставит на дорогу мигающие фонари. Ему ничего не надо напоминать.

Два тощих седоволосых йеменских еврея появляются над земляным валом у дороги. В руках у них винтовки. Ночные сторожа поселка. Директор спешит к ним, чтобы представить их мне.

— Добрые евреи, охраняли меня... пока вы не появились. Мы с ними вели тут чудесную беседу... не правда ли? Говорили о Торе.

Оба старика кажутся несколько ошеломленными от пребывания в обществе господина Шварца.

— Что же все-таки случилось?

Странный рассказ. Он возвращался из Иерусалима после длительного совещания, где обсуждались вопросы воспитания. Все шло нормально, на дороге ни души, и он чувствовал себя вполне бодрым. В молодости он ездил по ночам сколько угодно, без всяких проблем. В Англии, до войны, когда он учился в Оксфорде. Он был погружен в свои английские воспоминания, когда он начал, очевидно, не чувствуя того, постепенно отклоняться влево. Вдруг навстречу ему выскочила маленькая старая машина, черная, с почти потушенными огнями. В последний момент он пришел в себя, свернул направо, на свою трассу,

но, наверно, слишком резко повернул руль, и вдруг это дерево, совершенно лишнее тут дерево.

— Что случилось с другой машиной?

Ничего, задел слегка, небольшая царапина. Если бы он столкнулся с ней, а не налетел на дерево, может быть, обошлось все легче, конечно, для него, ха, ха, потому что та машина была бы, наверно, разбита вдребезги, какая-то древняя коробка, малюсенькая такая, ну и, конечно, человеческие жизни. Но что удивительно, это были религиозные — старик-раввин и молодой человек с совершенно черными пейсами. Нетурей карта* или близкая к ним секта. Комедия ошибок. Какого черта они околачиваются тут посреди ночи у аэропорта. Они остановились, оба вышли из машины, не стали подходить слишком близко. Только убедились, что он вылез из машины и стоит на ногах; старик сказал тихо и хладнокровно:

— Господин знает, что он виноват...

Что я мог сказать им?

— Да, я виноват...

Черт их побери, этих врагов сионизма. Даже не спросили, не нуждаюсь ли я в помощи, словно боялись застрять тут со мной.

Наим уже начал освобождать канат. Подул прохладный ветер. Вызволить машину будет нелегко. Лучше отослать отсюда директора, чтобы не мешал. Я убеждаю его поехать домой. Он сразу же согласился, совсем валится с ног.

Теперь мы с Наимом начинаем исследовать положение. Одно из передних колес совершенно застряло внутри дерева, схвачено им. Наим ползет между деревом и смятым носом машины, чтобы снять колесо, я подаю ему инструменты. Хороший он парень. Что бы я делал без него? Директор чудом остался в живых. Дафи не очень

*"Стражи города" — фанатично религиозная, антиссионистская секта.

ошиблась, он действительно мог погибнуть. Он и сам еще не понял, чего он избежал.

Мы начинаем тянуть машину. От нее отрываются отдельные части — фонарь, крыло. Наим говорит мне, как поставить тягач, под каким углом; этот мальчишка уже приказывает мне.

Небольшая кучка людей молча смотрит на нас. Быстро начинает светать Щебечут птицы. К тягачу привязана разбитая машина, покрытая листьями. Странное зрелище. Машины, едущие по шоссе, замедляют движение, люди с любопытством выглядывают из окон. Один остановился: "Сколько убитых?" — спрашивает он Наима, но тот даже не отвечает ему.

Уже светло. Наим идет собирать инструменты, погасить фонарь, стоящий на дороге, собрать отвалившиеся части машины. Я стою на месте, не двигаюсь, умираю от усталости, курю сигарету, моя одежда влажна от росы. Наим подходит ко мне и показывает мне какой-то кусок железа, часть оторванного крыла. "Это тоже от машины?" — "Нет, это, наверно, от другой машины". Он хочет бросить этот кусок в траву сбоку от дороги, но я вдруг останавливаю его. Что-то в изгибе его напоминает мне о чем-то. Я выхватываю из его рук этот кусок железа. Я сразу же узнал, что это. Кусок крыла черного "мориса". Та же модель. Мою способность определять части машин никто не может отнять у меня. Я взбудоражен. Быстро светлеет. Утренние пары исчезают. Будет хамсин. Я стою на дороге, в моих руках кусок крыла. Хотя и черный, но принадлежащий "морису — 47". Живое и явное свидетельство. Я рассматриваю его, верчу в руках, на нем капли росы. Наим растянулся на насыпи около меня, смотрит на меня гневно. Не понимает, почему я тяну. Я смотрю на краску, покрашено грубыми мазками, непрофессиональная работа.

— Маленькую отвертку... — шепчу я.

И вот отвертка в моей руке. Я осторожно соскребаю слой черной краски, ошметки ее падают на землю. Под

ним обнаруживается голубой слой, вот он "морис", который я ищу безнадежно еще с войны.

Я задрожал.

НАИМ

Что это с ним? Схватил кусок железа и втюрился в него, не хочет расстаться с ним. Словно дурак или сумасшедший. А он был для меня как Бог.

Ну до чего же я устал. Он-то ничего не делал. Он уже не работает, не наклоняется, не двигается, даже советы перестал давать. Уверен, что я все могу делать и без него. Канаты, узлы, кран. Он еще не успеет ничего сказать, а я уже знаю, что он думает, и делаю это. Если бы ему пришлось все делать самому, машина еще висела бы на дереве. Голова его в другом месте, сразу видно. Все время осматривается вокруг, как будто ждет, сам не зная чего.

Болен он что ли? Ощупывает кусок железа, точно это золото. Уже утро, что он себе думает? До каких пор мы будем стоять тут? Еще немного, и я усну. Такой тяжелой работы мне еще не приходилось делать. Этот старик прямо всадил ее в дерево, совсем разбил машину, я до сих пор не понимаю, как это он остался жив. А я совсем оборвался, подползая под машину, весь поцарапался. Для чего? Если бы хоть Дафи была тут. Йя, алла, вдруг я почувствовал ужасную тоску по ней. Но ее же нет, не существует для меня, не стоит и думать о ней.

Чего он хочет сейчас? Стукнуло его что ли? О чем он думает? Хоть бы дал немного денег. У него много денег, а я сделал тут ему настоящую квалифицированную работу. Он думает, что если он дает мне иногда сто лир, то этого мне достаточно. Что такое сегодня сто лир? Я уже привык сорить деньгами, так просто, ни на что, могу истратить зараз двадцать-тридцать лир: что-нибудь поесть, кино, немного фисташек, пачка "кента". Возвращаюсь домой, а у меня в кармане остались только медяки. Еще хорошо, что я пока не курю сигары и не приглашаю какую-нибудь

женщину поесть со мной. Пусть, по крайней мере, даст деньги. Когда-то я брал их с опаской, со страхом, теперь я хватаю их быстро и сую прямо в карман. Что тут такого? Еще не было случая, чтобы его кошелек опустел из-за меня.

Так что же будет в конце концов? Пусть возьмет это железо к себе домой и займется им там. Зачем терять время? Разбитая машина подвешена к крану, вся в листьях. Ничего удивительного, что все замедляют ход и смотрят на нее с любопытством, всматриваются, нет ли крови.

— Сколько убитых? — спрашивает кто-то.

Только это их интересует. Убитые. Я не отвечаю. У меня тут нет ни с кем никаких дел. Машины не жаль никому. Страховое агенство заплатит без всяких.

Я усну тут на насыпи. Я уже жалею, что дал ему этот кусок железа и спросил, не взять ли его с собой. Сейчас он шепчет что-то про себя, совсем спятил. Просит маленькую отвертку. На тебе маленькую отвертку, только давай двигаться отсюда поскорее. Зачем ему понадобилась маленькая отвертка? Он начинает осторожно соскребать краску с железа. Совсем обалдел. Надо остановить его. Я еще хлебну с ним горя. Может быть, уехать в деревню и попросить отца, чтобы вернул меня в школу. Я пропустил всего год.

"Ветка склонилась..."*

На что?

Иногда мне хочется умереть. Кусок железа уже не черный, а голубой. Великая находка? Но он совсем очнулся сейчас. Залез на тягач, зовет меня. Ялла, давай двигаться, чего ты ждешь? Дхил раббак, можно подумать, что это я задерживаю его. Честное слово, я увольняюсь.

ДАФИ

Что это? Она не идет обратно в постель. Что случилось с ней? Сидит на кухне у пустого стакана из-под кофе и пропускает возможность поспать еще. Мама — совершенно бодрая в два часа ночи. Невозможно поверить. Все лампы в доме горят, папа поехал вызволять Шварци. Бедняга, все ради меня. А мама не торопится, не устала, смотрит на меня понимающе, рассматривает меня, как будто давно не видела. Дотрагивается до меня, пробует завязать беседу, улыбается.

Дикая радость охватывает меня.

— Ты разбудила меня посреди сна...

Странно подумать, что она видит сны. А почему и нет, в сущности.

— Какой сон? — спрашиваю я осторожно.

— Кошмар какой-то. Я видела тебя во сне. Мне снилась ты.

— Кошмар? Что ты видела?

— Станный сон, путаница какая-то. Как будто мы поехали в далекую страну и ты заболела там.

Вдруг она притягивает меня к себе, обнимает меня. Мне очень понравился этот сон, в котором я была больна. Я обнимаю ее в ответ. Ее прежний запах. Значит, она не совсем стала каменной.

— Опасная болезнь? — спрашиваю я.

— Нет... — быстро говорит она, скрывает что-то, — да и какое это имеет значение... глупости... Ты не спала, когда директор позвонил? Опять не могла уснуть? Что происходит с тобой?

— Ничего. Просто не могу уснуть.

— Ты влюблена в кого-нибудь?

Мама...

— Нет! С чего это вдруг?

— Ни в кого? — она улыбается милой такой улыбкой, — не может быть...

— Почему не может быть?

— Потому что в твоем классе есть несколько симпатичных мальчиков.

— Откуда ты знаешь?

— Ведь я вела у вас урок. Видела... Несколько просто замечательных.

По ее мнению...

— Кто именно?

— Не помню... просто несколько лиц произвели на меня впечатление.

— Но кто?

Она все еще рассеянно гладит меня.

— Неважно. Я просто так сказала... пошутила. Так что же ты делаешь, когда не спишь, читаешь в кровати...

— Нет. Брожу, ем что-нибудь, слушаю музыку...

— Музыку? Ночью? А я ничего не слышу.

Вы вообще лежите, как два мертвеца, даже если взорвут дом, ничего не почувствуете...

— Странно. Днем я не замечаю в тебе особой усталости. Удивительно, как это ты проводишь в одиночестве ночи. Хоть бы я могла обходиться меньшим количеством часов сна... И не скучно тебе одной в темном доме... время движется так медленно...

Мама...

— Ничего страшного... Иногда, когда выхожу немного погулять на улицу, так даже очень приятно.

— Что???

— То, что слышишь...

— Ты ночью выходишь из дома? С ума сошла? Ты знаешь, что может случиться с девочкой в двенадцать часов ночи, если она бродит так просто по улицам?..

— В два ночи, не в двенадцать. Уже нет никого...

— Дафи, перестань...

— А что тут такого? Что может случиться? Совершенно тихо, и есть патрули гражданской обороны... очень симпатичные старики...

— Дафи, хватит, не возражай...

— Что может со мной случиться, я далеко не отхожу. До поворота, где задавило Игала и обратно...

Она мгновенно побледнела. Рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак... Хочет сказать что-то, но не может произнести ни слова. Я должна помочь ей.

— Но ведь вы рассказывали...

— Кто рассказывал? — она вскакивает с места.

— Папа.

— Когда он рассказал? — она вся пылает.

— Недавно.

Она начинает грызть ногти, страдает. Совсем растерялась. Я продолжаю наивным голосом, наставительно:

— Да и что тут скрывать... почему мне нельзя знать... Папа сказал, что он умер на месте и наверняка не мучился...

Она не отвечает, смотрит на часы, окаменела, не хочет отвечать. Я все испортила.

— Ты думаешь, что он мучился? — говорю я мягким, интимным голосом. Иногда я бываю ужасной, нестерпимой, докучливой — я знаю.

— Какое это теперь имеет значение... довольно, Дафи...

Она не поддается.

Тишина. Тиканье часов. Такая прозрачная летняя ночь. Во всем доме свет. На столе полно хлебных крошек. Мама, застыв, сидит на своем месте, смотрит тяжелым взглядом. Напряжена, словно пружина. Время от времени вглядывается в меня. Милая улыбка исчезла с ее лица. Ночные сверчки. Бедный папа. Поехал с Наимом до самого Лода. Он был такой усталый, не хотел просыпаться, мне просто пришлось вытащить его из кровати.

— Лучше бы его убило, — вырывается у меня тихо, задумчиво.

— Кого?

— Шварци.

— Хватит, Дафи...

— А что такого? Он уже не молодой...

— Перестань, Дафи.

Она умоляет.

— Ладно, пусть не убит, лишь тяжело ранен, чтобы пролежал несколько месяцев в больнице...

— Хватит!

— Хорошо, даже без крови, только сотрясение мозга, чтобы был парализован, верхняя часть, чтобы не мог говорить...

И тогда она залепила мне пощечину. Она побила меня. Может быть, уже лет семь, как она не трогала меня. И я успокоилась. Мне стало легче. Щека горит, из глаз текут слезы, но что-то открылось во мне от этого удара, что-то растаяло. Такой несовременный удар — пощечина. Я не двигаюсь, не вскакиваю, лишь медленно провожу рукой по щеке, щупаю, нет ли там дыры.

Она же ужасно испугалась из-за этой пощечины, схватила меня за руку, словно боится, что я дам ей сдачи. Наговорила достаточно — она почти плачет.

— Он исключит меня из школы? — спрашиваю я тихо, ни единым словом не упоминая о пощечине, тихая, спокойная и усталая, такая приятная усталость, усталость перед тем, как засыпаешь.

Она все еще держит меня за руку.

— Не знаю.

— Но как ты думаешь?

Она задумывается... мама...

— Разве ты не заслужила?

— Отчасти...

— Что значит отчасти?

— Заслужила.

— Тогда, наверно, он исключит тебя. Ничего страшного. Найдем другую школу...

Я устало поднимаюсь, никогда я не испытывала такой усталости, зевота раздирает рот... дурацкая такая... Вторая щека горит тоже, словно и по ней ударили, я, пошатываясь, иду в кровать, мама поддерживает меня, укрывает одеялом, гасит свет. В моей комнате темно, а весь дом освещен, как было всегда, как должно быть. Она садится на кровать возле меня, как в далекие дни, и я говорю себе: "Жаль заснуть сейчас" — и, еще не успев закончить эту мысль, засыпаю.

ВЕДУЧА

Неужели это так и закончится. Уже несколько недель я вижу свое тело как бы отделившимся от меня. Не чувствую вкуса еды, словно кладу в рот известь или вату. Добавляю соль или перец, красный и черный, и ничего не ощущаю. Я не чувствую вкуса, а Наим раздражается, не понимает, почему так жжет. Ужасно остро. "Вы что влюблены?" Такой негодяй. А я боюсь сказать ему, что смерть приближается, потому что, если он почувствует, что это конец — убежит отсюда, а я уже не могу оставаться одна.

Он ужасно раздражительный, нет у него терпения. Забыли о нем — это правда. Он как-то опустил. Кровать не застелена, носки валяются на полу, непрерывно курит, я все время слежу за пепельницами — нет ли гашиша. Кто знает, все может быть.

Даже газеты не хочет мне читать. Только прочитывает заголовки и говорит: "Все вранье, сплошные глупости. Не верьте им". Что это? Вернулись под власть турок? Как он позволяет себе разговаривать! Один раз я даже хотела позвонить в полицию, чтобы обратили на него внимание.

Адам забыл о нем, но деньги, наверно, дает ему, иначе, на что бы он ходил каждый день в синема? Смотрит по два сеанса за вечер. Я говорю ему: "Хоть расскажи мне, что видел, расскажи содержание, ужасно скучно мне". А я разбираюсь в синема, когда ноги еще носили меня, я каждый день под вечер ходила смотреть фильмы. Но он отказывается: "Что тут рассказывать? Оставьте меня, эти картины не для вас, сплошные объятия, поцелуи и револьверы, ничего не поймете."

Научился отвечать.

Испортился, мамзер.*

— "Фатах!"**

*Незаконнорожденный, здесь в значении — плут.

**Организация за освобождение Палестины.

Сидит в кресле, красивый, симпатичный и смеется. Что делать?

Я завишу от него полностью, уже почти не могу двигаться, иду от стула к стулу. Если бы он не покупал еду и не выносил мусор, было бы мне очень плохо.

Я достаю и отдаю ему старую одежду, совсем опустошаю шкаф, и он молча берет. Купил себе какой-то старый чемодан и начал заполнять его.

Я уже не чувствую пальцев ног, словно они исчезли. Это признак конца. С кресла я уже не могу встать сама, он должен вытаскивать меня из него.

Посреди ночи позвонил Адам, чтобы он пошел помочь ему отбуксировать машину. Я сначала подумала, что стало известно что-нибудь о Габриэле, но ошиблась. Иногда я говорю себе: "Не приходит Габриэль, и он тоже не приходит, а если бы пришел, то это означало бы, что Габриэль действительно убит."

И так я сижу здесь всю ночь, не могу встать. Ноги как ватные. А на улице постепенно рассветает. Они все не возвращаются. Наверно, тяжелый случай. Я пытаюсь встать, но проваливаюсь обратно. Все окна открыты, забыл закрыть. Вдруг стало холодно. Я сижу в легкой ночной рубашке, как встала с кровати. Холод проникает в мои сухие кости. Я нагибаюсь, начинаю подбирать газеты, разбросанные вокруг меня, газеты, которые я не читала и которые мне так хотелось прочитать, все эти рассказы о несчастном правительстве, укрываюсь ими, подкладываю под голову, за спину, под бока, уже не разбираю, где "Едиот ахронот" и где "Маарив"*, засовываю сюда и засовываю туда, чтобы было немного помягче и по теплее бедному телу.

А в окне — восходящее солнце. Руки медленно опускаются. Пальцев не чувствую, словно в них перегорели провода.

*Ведущие израильские газеты

На этот раз все наоборот... тело исчезает и только мысль остается...

АДАМ

Итак, "морис" существует. Не сброшен в вади, не зарыт в песок. Его покрасили, чтобы никто не узнал. Может быть, украли? Но кто? Религиозные?

В конце концов я очнулся, влез в тягач, доехал до первой бензоколонки, звоню Эрлиху, бужу его и велю сказать Хамиду, чтобы тот приехал сюда и отвел машину в гараж, Наиму приказал ждать тут, вынимаю пятьдесят лир и даю ему, чтобы он поел что-нибудь в дорожном буфете. А сам перехожу на другую сторону дороги, иду на автобусную остановку и сажусь в иерусалимский автобус, останавливающийся у каждого столба. Я уже забыл, как выглядит автобус изнутри. Лет тридцать, наверно, не ездил в автобусах. Сажу у окна, оторванное крыло лежит у меня на коленях, я уверен, что теперь найду его.

Встречные объясняют мне, где расположены районы религиозных, я начинаю медленно прочесывать улицы. Разглядываю машины, стоящие и едущие мимо меня. Нигде не видно маленького "мориса", но во мне засела уверенность, что он недалеко и все только дело времени. Я выбрал шумный перекресток в самом центре района религиозных, встал там и стал следить за проезжающими машинами. И сразу же ребяташки с длинными пейсами остановились в стороне и начали разглядывать меня. Кто-то вдруг коснулся меня, какой-то религиозный в большой меховой шапке.

— Господин ждет кого-то?

— Да...

Я не добавил ни слова. Решил никого из них не спрашивать о машине, чтобы не распространился слух о том, что я ищу его и он не исчез бы снова.

В полдень я зашел в небольшой ресторан на углу улицы и заказал обед. Я там был единственный нерелигиозный, и хозяин деликатно положил около моей тарелки ермолку.

Я надел ее на голову и стал есть, а сам смотрю в окно, обшариваю глазами улицу.

Я почему-то был уверен, что найду машину. У меня не было в этом никаких сомнений. Не понимаю, откуда взялась у меня эта непоколебимая уверенность. Я заплатил и вышел. Чувствую себя совсем обессиленным. Не сплю с двух ночи, да и волнение высасывает из меня силы. Жаркий день в Иерусалиме, брожу по узким и грязным переулкам, а в голове туман. Я решил поискать в гаражах — может быть, отдали машину в починку. Там было несколько маленьких гаражей, вернее магазины, превращенные в гаражи, а если быть точным — мастерские, где чинили плиты, детские коляски, велосипеды, машина тоже стояла там посередине в одном из них, а рядом с ней — механик, религиозный с длинными пейсами, стоит и спорит с кем-то. Я хотел подойти поближе, чтобы посмотреть, не спрятан ли там "морис" под остатками ржавого железа.

— Вы что-то ищите?..

Я решил уйти отсюда, поискать на соседних улицах, и не заметил, как ноги понесли меня в сторону Старого города вместе с потоком людей, окружавших меня со всех сторон. Я, который уже почти разучился ходить, шагаю и шагаю, иду следом за религиозными, никогда не думал, что их так много, старых и молодых. Черная река несет меня по переулкам. Иногда мне необходимо отдохнуть, и я прислоняюсь к стене около какого-нибудь углубления, смотрю прямо им в глаза, настойчиво рассматриваю их, но их это не трогает, отвечают мне пустым высокомерным взглядом, быстро проходят мимо.

В конце концов я оказался на площади перед Стеной плача. Это место изменилось, с тех пор как я был здесь последний раз. Все вокруг белое. Солнце палит жестоко. Я приблизился к огромным камням. Кто-то остановил меня и сунул мне в руку черную ермолку из бумаги. Я пошел и встал у самой стены. Просто так. Заглядываю в щели. К моим ногам падает записка. Я поднимаю и читаю. Мольба о возвращении изменившего мужа. Я кладу ее в

карман. Обалдел от жары, а вокруг гомон молящейся толпы. Кто-то начинает рыдать, кто-то кричит. Вдруг у меня появляется дикая мысль — религиозные убили его и забрали машину. Я оставляю стену, легкая ермолка все еще покрывает мою голову, и прокладываю себе путь через идущую мне навстречу огромную толпу. Дохожу до Нового города, нахожу телефон-автомат и звоню Асе.

— Я в Иерусалиме.

— Нашел его?

Сразу же, не задавая лишних вопросов. Сердце мое сжалось.

— Еще нет. Но мне кажется, что я напал на след.

— Ты хочешь, чтобы я приехала...

— Нет... пока нет...

Я снова вернулся в религиозный квартал, прочесываю улицы, захватывая все новые. Там определенно происходит что-то особенное, магазины закрываются, люди ходят в матерчатой обуви. Как будто праздник, но это не праздник. Под вечер я снова оказался около маленького ресторанчика. Захожу. Никого нет. Столы чистые, на них перевернутые стулья. Сажусь за один из столов. Хозяин появляется из внутренней двери. Удивляется, увидев меня.

— До сих пор не нашел его?

— Нет...

Он молчит, смущен.

— Нельзя ли получить такой же обед...

Он колеблется, смотрит на часы, идет на кухню и приносит полную тарелку и кусок хлеба, я начинаю есть, почти сплю, голова моя опускается на стол. Он прикоснулся ко мне:

— Господин, надо спешить, пока не начался пост...

— Пост?

— Девятое ава* завтра... надо торопиться...

— Девятое ава? Завтра?

*День скорби из-за падения Первого и Второго храма.

— Господин забыл?..

— Да, забыл...

— Заставили его забыть...

Я дотрагиваюсь до головы, на ней ермолка, прилипла к голове, я снимаю ее, потом снова возвращаю на место, продолжаю есть, но глаза мои снова закрываются. Такой дикой усталости я давно не испытывал.

— Господин хочет спать... — слышу его голос.

Выяснилось, что он готов предоставить мне ночлег. Я поднялся к нему. Было шесть часов, день клонился к вечеру. В доме полно золотоволосых детей, он освободил от них одну из комнат и впустил туда меня, пошел принести мне чистую простыню, но я сразу же упал на кровать, не сняв одежды, лежу на истрепанном шелковом покрывале. Он хотел поднять меня, прикоснулся ко мне, но я не двинулся с места.

Я заснул посреди дня каким-то некрепким, тревожным сном, слышу шум улицы, болтовню детей, вижу, как темнеет. Из соседней синагоги доносятся звуки траурной молитвы.

Около полуночи я проснулся. В доме горит маленькая лампочка. Разговаривают люди, голоса детей. Я выхожу в коридор, одежда моя помята. Молодая миловидная женщина сидит спокойно на полу, в ее руках книга, она шепотом произносит траурную молитву. Продолжая молиться, она показывает мне, где ванная, я открыл кран, попил воды.

Муж ее, наверно, в синагоге. Я стою в темной прихожей, жду, пока она кончит молиться. Но она не поднимает головы от книги. Вынимаю сто лир, захожу в комнату, кладу их на комод, она отрицательно качает головой, как бы говоря "не надо". Я говорю шепотом: "Дайте кому-нибудь, кто нуждается" — и выхожу.

Продолжаю поиски, все больше прихожу в себя. По улицам идут религиозные, от одной синагоги к другой. Я обратил внимание, что в их движениях присутствует постоянная какая-то нервозность. Снова прочесываю улицы, очень досконально, осматриваю машины. Странно, до

чего я был уверен, что найду его, ведь все эти настойчивые поиски были в сущности каким-то сумасшествием.

Около трех утра все затихло. Из молелен уже не слышны голоса, на улицах — ни души. Я начал заходить во дворы домов, во внутренние дворы больших ешив, осматриваю машину за машиной. В четыре часа я нашел ее. Стоит в углу. Мотор еще теплый, наверно, недавно вернулась из поездки. Переднего крыла не хватает. Я соскреб ногтями немного краски с одной из дверей. В свете ясной ночи сразу же блеснула изначальная голубизна. Внутри лежала черная шляпа и несколько газет. Я вытащил из кармана маленькую отвертку и взломал окно, ищу более определенных признаков его присутствия. Но ничего не обнаружил. Счетчик показывает, что машина прошла за это время много тысяч километров. Я нашел укрытие напротив, сел и стал ждать.

Когда забрезжил рассвет, религиозные снова стали выходить из своих домов. Из синагог доносилось грустное монотонное пение. Тихо зазвонили колокола церквей. В полшестого вышла группа весело болтающих молодых парней и стала ждать около "мориса". Через несколько минут появился человек с длинными пейсами и сигаретой в углу рта, остановился около машины и ощупал место, где раньше было крыло.

Любовник, превратившийся во что-то, совсем не похожее на любовника.

Я вышел из укрытия и подошел к нему. Он заметил меня, грустно улыбнулся, как бы извиняясь. Я всматриваюсь в иное лицо, в черные пейсы. Он очень растолстел, мягкий живот навис над поясом.

— Здравствуй...

От него слегка пахнет луком.

Я прикоснулся к нему,

— Итак, на фронт ты не попал...

ГАБРИЭЛЬ

Но я на фронт все-таки попал. Не прошло и двадцати четырех часов, как вы послали меня туда, а я уже был посреди пустыни. С головокружительной быстротой сунули меня туда и не потому, что нуждались во мне, а просто хотели убить меня. Я говорю вам — хотели убить меня, и просто так, без всякой связи с войной. И меня действительно убили, а здесь стоит совершенно другой человек — не я.

Я-то думал, что тут дело только в формальности. Кому могу я принести пользу в этой войне? Явлюсь в какое-нибудь учреждение и скажу: "Ладно, я здесь. Я тоже принадлежу к вам. Запишите меня в список явившихся и не говорите, что я не проявил солидарности в тяжелый момент. Я не собирался быть участником побед, а тем более поражений, но если вам так важно мое присутствие, то я готов постоять несколько дней у какого-нибудь контрольного пункта на дороге, посторожить какую-нибудь контору, даже погрузить оборудование. Что-нибудь символическое, для истории, как говорится..."

Но я не представлял, что кто-нибудь вдруг ухватится за меня и пошлет меня прямо в огонь. Я снова повторяю — просто хотели убить меня.

... Сначала все шло медленно. Пока я нашел лагерь, был уже полдень. Я оставил машину на стоянке и пошел искать ворота, но ворот не было, лишь смятая и растоптанная проволочная ограда и ужасная суматоха. Между бараками бегают люди, мчатся военные машины, но за этой лихорадочной деятельностью уже чувствуется какая-то новая, незнакомая усталость, словно начинает действовать какое-то скрытое отравление. Трещина в самом основании. Ты спрашиваешь что-то у секретарш и чувствуешь, что они не сообщают. Какая-то всеобщая растерянность. И везде преследует тебя голос транзистора, но информации он не доставляет. И у песен, старых

боевых маршей, нет больше силы. Все вдруг потеряло смысл.

И, конечно, я сразу же увидел — никто не знает, что делать со мной. Потому что, кроме заграничного паспорта, у меня нет ни единого документа, который мог бы прояснить положение. Посылают меня из барака в барак, посылают к компьютеру, может быть, выдаст обо мне какие-нибудь сведения. И он действительно выдает что-то, но не обо мне, а о каком-то старом, пятидесяти-пятилетнем еврее, которого зовут точно так же, как меня, и который живет в Димоне, может быть, какой-то родственник.

В конце концов я оказался у маленького домика в самом конце лагеря, где собирались все неясные случаи, в основном здесь околачивались те, кто вернулся из-за границы. Они еще держали в руках свои дорожные разноцветные сумки, разлеглись на увядшей траве.

Рыжая, маленькая и очень некрасивая военнослужащая собирала паспорта. Она взяла также и мой паспорт.

Мы ждали.

Большинство ожидающих были возвращающиеся из-за границы израильтяне. Когда они услышали, что я не был в стране больше десяти лет, их глаза засияли. Они думали, что я приехал специально, чтобы воевать. Меня это не трогает, пусть думают так, если это повышает им настроение — вот даже и через много лет израильтянин остается израильтянином.

Время от времени рыженькая выходила, называла имя одного из ожидающих, впускала его внутрь, и через некоторое время он выходил с мобилизационным удостоверением. Сначала нас рассматривали как какую-то помеху, делают нам одолжение, что мобилизуют нас, что утруждают себя, разыскивая подразделения, к которым мы приписаны. Слово вся эта мобилизация является излишней, потому что война уже кончается. Но с наступлением темноты отношение к нам стало меняться, а темп мобилизации увеличился. Мы вдруг стали важными людьми.

ми. Нуждаются в каждом человеке. Ряды редеют. Из транзистора веет смертью.

Лозунги, неясные, путанные сообщения. Становится понятно, что происходит что-то страшное.

Постепенно вокруг меня поредело. Люди, пришедшие после меня, уже быстро отосланы куда-то, но нет никакого признака, чтобы что-нибудь прояснилось в отношении меня. А я страшно голоден: кроме куска хлеба, который вы дали мне утром, ничего не ел. Вдруг ужасно надоело мне это ожидание. Я захожу в контору и спрашиваю у рыженькой:

— А что со мной?

Она говорит:

— Подожди еще. Не можем найти о тебе никаких сведений.

— Так может мне прийти завтра?

— Нет, не уходи.

— Где мой паспорт?

— Для чего он тебе?

— Чтобы пойти поесть хотя бы.

— Нет, оставайся здесь... не вздумай делать глупости...

И с наступлением сумерек в лагерь прибыло подкрепление из офицеров. Я не знал, что у нас есть такие пожилые офицеры. С седыми волосами, лысые, лет по пятьдесят, шестьдесят и больше. На них военная форма разных периодов, на груди — награды. Некоторые хромают, опираются на палку. Капитаны, майоры и подполковники. Остатки бойцов прежних поколений. Пришли спасать народ Израиля, помочь не справляющимся с наплывом, отчаявшимся секретаршам.

Они разошлись по стоящим вокруг домикам, а тем временем совсем стемнело. Окна завесили одеялами для затемнения. А я обнаруживаю вдруг, что остался тут, в дальнем углу лагеря, совсем один, даже транзисторы замолкли. А ветер приносит запах с соседних плантаций. Я хотел позвонить вам, но телефон-автомат, который до этого момента ни минуты не был свободен, не подавал признаков жизни, словно замолчало бесконечное черное

пространство. Даже жужжание самолетов и вертолетов стало каким-то приглушенным. И слышится только звучание далекой сирены, может быть, в Иерусалиме, словно тихий вой.

Наконец вышла низкорослая рыженькая, а было уже девять часов, может быть, даже больше. Вызывает меня и ведет во внутреннюю комнату. Там ждет меня долго-вязый майор лет пятидесяти, совершенно лысый, на нем отглаженная форма, красный берет десантника засунут под погон; он выглядит свежим, от него даже пахнет одеколоном. Он стоял, опершись о стул, одна рука в кармане, а в другой — мой паспорт, у стола сидит секретарша, посеревшая от усталости. Мне почему-то показалось, что она чувствует себя неловко из-за появления этого офицера в канцелярии.

— Ты прибыл сюда четыре месяца назад?

— Да.

В его голосе было что-то агрессивное, напористое. Слова произносил отрывисто.

— Ты должен был явиться в течение двух недель. Ты знал это?

— Да...

— Почему же не явился?

— Я вообще не собирался оставаться... случайно задержался...

— Случайно?

Он немного приблизился ко мне, а потом вернулся на место. Я заметил, что из кармана его рубашки выглядывает маленький транзистор, от которого к его уху протянулся тонкий белый провод. Он говорил со мной и одновременно слушал новости.

— Сколько лет ты уже околачиваешься за границей?

— Лет десять.

— И ни разу не приезжал сюда?

— Нет...

— Тебя не интересовало то, что происходит здесь?

Я улыбнулся. Что можно ответить на такой странный вопрос.

— Я читал газеты...

— Газеты... — усмехнулся он, и я почувствовал, что его охватывает смутная, но опасная ярость. — Ты что? Йоред?*

— Нет... — начал бормотать я, совсем растерявшись от этих его диких вопросов, — просто не мог вернуться... немного задержался, — и добавил тихим голосом, сам не знаю, зачем, — кроме того, был болен.

— Чем? — грубо прервал он меня с каким-то непонятным ехидством.

— Название болезни ничего не скажет вам.

Он замешкался немного, внимательно изучая меня, сердито взглянул на секретаршу, которая сидела в растерянности над чистым листом бумаги — не знала, что, в сущности, писать. И он прислушивался все время к голосу, текущему к нему из транзистора. Лицо его темнеет.

— Теперь ты здоров?

— Да.

— Так почему ты не явился вовремя?

— Я уже сказал вам. Я не собирался остаться.

— Но ведь остался.

— Да...

— Что-то понравилось тебе вдруг?

В его словах было что-то непонятное, какое-то скрытое непрекращающееся издевательство.

— Нет... то есть не это... я просто ждал, когда умрет моя бабушка...

— Что???

Он приблизился ко мне, словно не поверил своим ушам, и я заметил безобразный красноватый шрам на его шее. И рука его, засунутая в карман, была неподвижна — парализована или вовсе это был протез.

— Бабушку разбил паралич... она потеряла сознание... поэтому я приехал сюда...

И тут началось следствие с пристрастием, точно он

*Покинувший Израиль (буквально "спустившийся").

собирался составить против меня обвинительное заключение, даже не зная, в чем моя вина, но он нащупывал разные направления. Мы стоим друг против друга, он весь напрягся, как дикий кот, готовящийся наброситься на свою жертву, но отступающий в последний момент. Рыженькая слушала, как загипнотизированная, записывала карандашом в военную анкету личные, интимные сведения, которые нагромождались без перерыва, сведения, никакого отношения не имеющие к армии. Но он с удивительной энергией, стоя в этой душной комнате, совершенно лишенной воздуха, окна которой завешаны старыми армейскими одеялами, отделяющими нас от всего мира, продолжает расследование, не переставая слушать безголосые сообщения, идущие ему прямо в уши, вырывает у меня приводящие его в ярость подробности, которые переплетаются с тяжелыми новостями. Например, что я уже четвертое поколение в стране. А я продолжаю рассказывать о себе, о годах в Париже, о предшествующем времени, о распавшейся семье, об исчезнувшем отце. О том, как я пытался учиться. Год здесь, курс там, ничего постоянного, ничто не доведено до конца. Вдруг обнаружилась глубина моего одиночества, вся неупорядоченность моей жизни. Даже о машине сказал я что-то, хотя и без всякого намерения. Только вас не коснулся. Не упомянул о вас ни единым словом. Словно вы стерлись из моей памяти, не имели для меня значения. Хотя меня совершенно не трогало, если бы я и вас отдал в его руки.

А он слушал с величайшим вниманием, напряженно; вытягивая из меня подробности о моей жизни со страстью, с каким-то помешательством. Но это было помешательство другого рода, не похожее на мое.

В конце концов следствие закончилось. На меня снизошло странное спокойствие. Он собрал бумаги, которые рыженькая заполнила своим круглым, детским почерком. Прочитал все сначала.

— В сущности, тебя следует предать суду, да жаль времени. Разберемся после войны, когда победим. Те-

перь тебя надо срочно мобилизовать. Из-за таких, как ты, на передовых осталось так мало людей...

Я подумал, что он шутит, но секретарша быстро заполнила бланки — удостоверение о мобилизации и накладную на получение обмундирования и оружия.

— Кому сообщить, если с тобой что-то случится? — спросил он.

Я колебался. Потом дал адрес домового комитета в Париже.

"Наконец-то я отделаюсь от него," — сказал я себе. Но по нему не было видно, что он хочет оставить меня в покое. Он собственноручно взял мои бумаги и пошел со мной на склад. Было уже почти одиннадцать, в лагере стояла тишина. Склад был закрыт, там было темно. Я подумал: "По крайней мере все отложится до завтра", но он не собирался уступать. Стал искать кладовщика, шел от одного домика к другому, а я за ним. Я уже заметил — и с другими людьми он разговаривает, как начальник, языком приказов. В конце концов он нашел кладовщика в клубе — тот сидел в темноте и смотрел телевизор. Офицер его просто вытащил оттуда. Темный низенький солдат, какой-то глуповатый. Первым долгом взял его данные, чтобы написать на него жалобу. Тот совсем ошеломлен, старается сказать что-то в свое оправдание, но офицер грубо заставил его замолчать.

Мы вернулись на склад. Кладовщик, огорченный и раздраженный из-за ожидавших его неприятностей, начал бросать нам снаряжение.

— Я еще покажу тебе, что "горит"... — цедил сквозь зубы офицер, который все не мог успокоиться, но внимательно следил, чтобы мне было выдано все, что положено. Обмундирование, ремни, патронташ, три рюкзака, палатка, шесты и колышки, пять одеял. Я стою, оторопев, смотрю, как на грязном полу нагромождается огромное количество вещей, которые мне ни к чему. А он стоял в стороне, серьезный, прямой, как палка, слабый свет лампы падал на его лысину.

Меня охватило отчаяние.

— Не нужно пять одеял... мне хватит двух. Теперь лето... осень... я знаю. Не холодно...

— А что будешь делать зимой?

— Зимой, — я усмехнулся, — что это вдруг зимой? Зимой я буду далеко отсюда.

— Это ты так думаешь, — процедил он, не глядя на меня, с издевкой, презрительно, словно все время собирал против меня улики.

А тем временем молчаливый и хмурый кладовщик набросал там посуду, покрытый пылью и жиром котелок, кинул штык.

— Штык? Для чего штык? — начал я смеяться каким-то истеричным смехом, — идет ракетная война, а вы даете мне штык.

Но он не ответил мне. Наклонился над штыком, взял его в руку, сунул между бедрами, вытащил из футляра, провел по лезвию своим тонким длинным пальцем, собрал черное масло, с отвращением понюхал его, вытер об одно из одеял, не сказав ни слова, возвратил штык в футляр и бросил его в общую кучу.

Я подписался под очень длинным перечнем, который занял две или три страницы. Свой личный номер я все время забывал, и мне приходилось постоянно заглядывать в мобилизационное удостоверение, чтобы вспомнить его. Но он уже знал его наизусть, презрительно исправлял меня.

Потом я связал все в один огромный узел, кладовщик помог мне стянуть концы одеяла, а он стоял над нами и давал нам советы. С помощью кладовщика я взвалил узел на спину, и мы снова вышли в темноту. Время приближалось к полуночи. Я шел, шатаясь под тяжестью узла, а он шагал себе впереди меня, лысый, тонкий, прямой, мертвая его рука в кармане, на плече висела маленькая сумка с картами, транзистор вещал ему прямо в ухо, и он вел за собой личного, принадлежащего только ему солдата.

Он привел меня на оружейный склад, а я уже еле на ногах стоял, меня тошнило от голода, хотелось вырвать

чем-то, чего я не ел. Во рту какой-то горьковато-кисловатый вкус. Узел на моей спине почти развязался, и вдруг я чувствую, что вот-вот расплачусь. Просто заплачу. Около оружейного склада я упал на землю вместе с развязавшимся снаряжением.

Склад был открыт, там горел свет. Люди стояли в очереди, в большинстве это были офицеры, которые получали пистолеты или маленькие автоматы. Он обогнул очередь, зашел внутрь, оглядел ряды винтовок и автоматов, словно они его собственность. Потом позвал меня, чтобы я расписался за противотанковое ружье и две обоймы боеприпасов.

— Я никогда в жизни не держал в руках такое оружие... — сказал я ему шепотом, боясь рассердить его.

— Я знаю, — сказал он неожиданно мягко, улыбаясь про себя, довольный такой блестящей мыслью — подсунуть мне противотанковое ружье.

Теперь у меня было такое количество снаряжения, что я не смог бы сдвинуться в места. Но он и не собирался вести меня куда-нибудь.

— Приведи в порядок обмундирование и сумки, а я пойду искать машину, которая доставит нас на передовую.

И вдруг охватило меня какое-то неясное отчаяние, что-то передалось ко мне от этого стареющего офицера, который еще распространял вокруг запах одеколona.

— Вы решили убить меня, — прошептал я вдруг.

А он улыбнулся.

— Еще не слышал ни одного выстрела, а уже думаешь о смерти.

Но я упрямо и взволнованно снова повторяю то, что сказал.

— Вы хотите убить меня.

И он, уже без улыбки, сухо отвечает:

— Приведи вещи в порядок.

Но я не двинулся с места. Что-то сломалось внутри меня. Какой-то дух сопротивления вселился в меня.

— Я уже полдня ничего не ел, если не съем хоть каплю

чего-нибудь, я совсем свалюсь. Вы уже двоитесь у меня в глазах.

А он молчит. Даже не повел веком, смотрит на меня высокомерно своим пустым взглядом. Вдруг он засунул руку в свою сумку с картами, вытащил оттуда два крутых яйца и протянул мне.

В час ночи, уже переодевшись в солдатскую одежду, с тяжелыми ботинками на ногах, я лежал и спал под открытым небом, а ночной холод все усиливался, отяжелевшая моя голова покоилась на сумке с одеялом и моей прежней одеждой. Под ногами противотанковое ружье, а вокруг была разбросана белая яичная скорлупа. Со всей этой сбруей, покрытой поблекшими пятнами крови, я бы ни за что не мог справиться сам, без молчаливой помощи рыженькой, которая пожалела меня. Она и сама страдала из-за этого офицера, который непрерывно что-то приказывал ей, заставляя бегать по всему лагерю. Он мелькал передо мной, как какая-то тень, словно во сне. Теперь он безуспешно искал машину, которая отвезла бы нас на юг, в пустыню.

В два часа ночи, когда он уже отчаялся найти что-нибудь, он вспомнил о моей машине и решил мобилизовать также и ее.

Я сейчас же вскочил, напрягся весь.

— Но машина не принадлежит мне...

— Так что ты волнуешься? Какая тебе разница?

И тотчас же послал секретаршу за новыми бланками. Я уже заметил — он без всяких колебаний берет на себя ответственность, уверенно подписывает любой документ. Дал мне расписку и взял машину.

— После войны, если вернешься, получишь то, что от нее останется.

Он сам пошел на стоянку, чтобы взять ее. Несмотря на то, что она была такая старая, она сразу же понравилась ему. Он повел себя как хозяин, поднял капот, проверил воду, масло, пнул ногой по колесам; бодрый, как черт. Послал рыженькую, которая вся сжалась от усталости, найти краску и кисть, чтобы замазать фары, и

она постаралась, как всегда, и принесла большую банку черной краски. Он с удовольствием начал красить передние и задние огни, положил подстилку на шоферское сиденье, отодвинул его от руля, чтобы было место для его длинных ног. Потом молча смотрел, как я кладу вещи на заднее сиденье. Мы тронулись в путь.

Он держал руль одной рукой, но вел машину с совершенным искусством. Я еще не видел шофера, который бы управлял машиной с такой страстью. Он, как женщину, брал машину, дорогу и другие машины, которые обгонял и с левой, и с правой стороны, ловко маневрируя в темноте, при свете фонарей, который едва пробивался через краску, мчался между длинными колоннами везущих танки автомашин и грузовиков с боеприпасами. "Морис" стал отважным в его руках. А я сидел рядом с ним, совершенно обессиленный, как будто воевал уже много дней, смотрел на его, похожую на огурец макушку, на своего личного майора, который непрерывно впитывал новости из своего транзистора; лицо его время от времени искажалось.

— Что же происходит там?

— Воюют, — отвечает он лаконично.

— Каково положение?

— Очень тяжелое.

— Но что же в точности происходит?

— Скоро сам увидишь, — пытается он отвязаться от меня.

— Нас застали врасплох?..

— И ты тоже начинаешь ныть. Поспи лучше.

И отключился.

И я вдруг, совсем одинокий, еду на войну, положив голову на раму окна. Смотрю на сухие поля, выжженные летом, пот на моем лице высох, вдыхаю прохладный осенний воздух, постепенно засыпаю и под шум мотора вижу сны, которые постепенно уносят меня в Париж домой, я брожу поздно ночью по шумным улицам возле Сены, захожу в маленькие переулки, хожу между освещенными кафе, лотками с каштанами, спускаюсь в метро,

на станцию "Одеон". Я чувствую запах подземки, сладковатый запах электричества, смешанный с запахом многочисленных людей, которые проходили здесь в течение дня. Я смотрю на пустую платформу, освещенную сильными неоновыми лампами, и слышу гул то приближающихся, то исчезающих поездов на дальних станциях. И вот прибывает поезд, я немедленно вскакиваю в красный вагон первого класса, словно кто-то толкнул меня туда. В углу среди немногочисленных людей я сразу же узнаю бабушку. Она сидит на скамейке, а на ее коленях маленькая корзиночка и в ней несколько круассонов*, мягких, с золотистой корочкой — только что испеченные. Она осторожно ест их, собирает крошки, которые падают на ее клетчатое платье, ее старое нарядное платье. И меня охватывает огромная радость, радость встречи. Итак, сознание наконец-то вернулось к ней. Я подсаживаюсь к ней, понимаю, что она не может сразу узнать меня, и поэтому тихо, шепотом, чтобы не взволновать ее слишком, улыбаясь, говорю: "Здравствуй, бабушка". Она перестает есть, поворачивает ко мне голову, рассеянно улыбается. А я каким-то внутренним чутьем догадываюсь — наследство она уже поделила, а сама сбежала и разъезжает теперь инкогнито по Парижу. "Здравствуй, бабушка," — снова повторяю я, а она сидит на своем месте, немного испуганная, бормочет — "пардон", будто не понимает иврита. Тогда я решаю перейти на французский, но я вдруг забыл его, забыл самые простые слова. Мне очень хочется взять один золотистый круассон, я повторяю почти в отчаянии: "Здравствуй, бабушка, ты не помнишь меня? Я Габриэль". Она перестает есть, немного испугана. Но видно совершенно определенно — она просто не понимает слов. Язык совершенно чужд ей, а поезд замедляет ход перед остановкой, я смотрю на название — снова "Одеон". Станция, на которой я сел в поезд.

* Сдобная булочка в форме подковы (рогалик) (фр.)

Она быстро встает, укладывает круассоны в корзиночке. Двери автоматически открываются, и она выходит на платформу, старается ускользнуть от меня. Но вокруг почти никого нет, и я иду почти рядом с ней, не отстаю от нее, жду, чтобы ко мне вернулся мой французский. Открываю перед ней стеклянные двери, поднимаюсь по лестнице, толкаю вертушки входов, а она улыбается про себя снисходительной старушечьей улыбкой, все время бормочет "мерси, мерси", не понимая, чего я хочу от нее. Мы выходим с ней на улицу, брезжит заря. Рассветающий Париж, влажный, туманный. Наверно, всю ночь мы проездили в метро.

И недалеко, на тротуаре, стоит голубой "морис", как и был — с покрашенными фонарями, только израильский номер заменен французским. Бабушка роется в кошельке, ищет ключи. А я стою перед ней, все еще жду, чтобы французский вернулся ко мне, ищу хоть какое-нибудь вспомогательное слово. Я ужасно голоден, исхожу слюной. Она открывает дверцу машины, ставит корзиночку с круассонами около себя, садится за руль, видно, что она хочет отделаться от меня как можно быстрее. Улыбается, как молодая девушка, к которой пристают, снова говорит "мерси" и заводит машину. А я цепляюсь за начавшую двигаться машину, боюсь, что вот опять я потеряю ее, засовываю голову внутрь, опираюсь о дверцу с открытым окном, говорю "Минуточку... минуточку..." — и словно только одна моя голова начинает ехать.

Моя голова, покоящаяся на открытом окне, высунулась наружу. В небе — первая заря. Поля исчезли, сменились песчаными дюнами, пальмами и белыми арабскими домами. Мы стоим на месте, мотор молчит, застряли вместе с огромной колонной. Двухрядной. Грузовики, бронетранспортеры, джипы, командирские машины, гражданские машины. Вокруг гул от большого количества людей. Офицер стоит снаружи и вытирает капли росы с переднего стекла. Он не выглядит усталым после ночной поездки,

только глаза его немного покраснели. Я хочу встать и выйти, но что-то не дает мне двигаться. Оказывается, когда я спал, он привязал меня ремнями к сиденью. Он подошел, чтобы освободить меня.

— Ты просто буйствовал во сне... все время падал на руль.

Я выхожу из машины. Одежда помята, я дрожу от холода, встаю рядом с ним, в желудке крутит от голода. Третий день идет война, а я не знаю, что там происходит. Прошло больше десяти часов, с тех пор как я последний раз слышал новости.

Я смотрю на наушник, который все еще засунут в его ухо.

Что за подлость, даже новости не дать мне послушать.

— Что говорят сейчас?

— Ничего. Передают музыку.

— Где мы?

— Около Рафияха.

— Что происходит, что нового?

— Ничего.

— Что будет?

— Сломим их.

Эти короткие самоуверенные ответы, этот гордый взгляд, обращенный вдаль, исследующий колонну, извивающуюся от горизонта к горизонту, словно он ведет ее. Теперь, когда я уже безраздельно в его власти, мне захотелось хоть немного узнать о нем, попробовать разбить эту надутую скорлупу.

— Извините, — я слегка улыбаюсь, — я еще не знаю вашего имени...

Он смотрит на меня гневно.

— Для чего тебе?

— Так...

— Зови меня Шахар.

— Шахар... чем вы занимаетесь... вообще, в гражданской жизни...

Он был озадачен.

— Для чего тебе знать?

— Так... просто так...

— Я занимаюсь воспитательской работой.

Я чуть не свалился, так был поражен.

— Воспитание? Какое воспитание?

— Я работаю воспитателем в колонии для молодых преступников.

— Что вы говорите? Интересная специальность...

Но в нем не чувствовалось желания продолжать беседу. И, стоя рядом со мной, а я еще пытаюсь сказать что-то, он расстегивает одной своей рукой молнию брюк, вытаскивает свой большой член и пускает струю прямо перед собой на иссохшую землю, стоя все так же прочно, ноги раздвинуты, капли падают на мои ботинки.

А с грузовика, стоящего перед нами, за ним наблюдают солдаты — и их внимание он привлек, кричат ему что-то. Шутят. А он — ничуть не смущается, член его еще торчит вперед, принимает вызов, поднимает в ответ руку, как бы благословляя их.

В большом военном магазине в Рафияхе я потерял сознание, совершенно неожиданно, просто так, стоя в очереди, среди толпы, осаждающей прилавки, в шуме транзисторов, около подносов с бутербродами, которые моментально расхватывают, и с мешочками какао; запах еды наполняет помещение. Сначала выпало из моих рук противотанковое ружье, потом упал и я, а он, наверно, испугался, что меня у него отберут, оставил группу офицеров, перед которыми разглагольствовал о чем-то, быстро подбежал ко мне и выволок меня наружу, под кран, положил меня головой в грязную лужу и направил на меня струю воды. Я слышу, как он говорит собравшимся вокруг нас солдатам: "Это от страха", — и старается удалить их оттуда.

Но это было от голода. "Я ужасно голоден," — прохрипел я очнувшись, сидя на земле, бледный, волосы испачканы грязью. — С самой ночи я пытаюсь сказать вам это".

И снова он вынимает из своей сумки с картами два крутых яйца и дает мне.

В полдень он довез меня до середины Синая. Я не верил, что мы доедем туда. Маленький "морис" двигался — что надо. Ты отремонтировал его отлично, Адам, он заводился с первого поворота ключа. Эта потрепанная старушка была послушна ему, и ее он загипнотизировал, мчалась со скоростью сто километров в час.

На дорогах, правда, были расставлены заслоны армейской полиции, пытавшиеся остановить всяких любителей приключений, которых тянуло на войну. Но он всем натягивал нос, делал вид, что не замечает, мчался и проскакивал, вообще не останавливался. А если они не уступали и гнались за ним, он останавливался на некотором расстоянии, вылезал из машины, стоял, словно длинное и тонкое лезвие, и ждал в своем красном берете десантника, на груди ордена, полученные в прошлых войнах, пока не появлялся солдат армейской полиции. Отдуваясь и ругаясь, он говорил:

— Извините? В чем дело?

Но в Рафидим нас остановили. Оттуда никому не разрешали выезжать. Издали уже были слышны звуки бомбежки, глухие взрывы, словно исходящие из недр Земли. И выли самолеты. Нас отправили на большую стоянку, где было полно гражданских машин, точно на стоянке перед концертным залом или перед стадионом во время футбольного матча. Люди стремились на войну, как на великое зрелище. Он приказал мне вытащить снаряжение, и я впрягся в свой тюк, надел каску, взял противотанковое ружье и пошел за ним искать подразделение, которое примет меня.

Мы шагаем в туче пыли, а вокруг нас с шумом двигаются танки и бронетранспортеры. И народ в песках, просто утопает в песке. Здесь он родился и здесь погибнет. И даже в этой суматохе мы обращаем на себя внимание. Жилистый майор, весь красный от солнца,

капли пота блестят на лысине, ведет своего личного солдата, будто я — это целый полк, а я, нагруженный снаряжением, иду за ним, словно привязанный невидимой веревкой.

В конце концов он остановился возле нескольких бронетранспортеров, которые стояли на обочине дороги, развернувшись в сторону горизонта. Он спросил командира, ему указали на какого-то мальчишку, маленького и тощего, который варил себе кофе на маленьком костре.

— Когда отправляетесь?..

— Скоро...

— Тебе нужен противотанковый стрелок?

— Противотанковый стрелок? Не думаю... — удивился тот.

Но офицер не отставал от него.

— Ты хочешь сказать, что твое подразделение полностью укомплектовано?

— В каком смысле? — мальчишка был совершенно растерян.

— Так возьми его в часть, — и он указал на меня.

— Но... А кто он?...

— Никаких но... Это приказ, — прервал он его и велел мне взобраться на ближайший бронетранспортер.

Я начал снимать с себя снаряжение и передавать его молодым солдатам, которые бросали его наверх, шутя по поводу огромного количества вещей, которые я тащил с собой. Потом протянули мне руки и подняли меня тоже наверх. А тем временем майор записывал в свою маленькую книжечку имя командира, номер части, даже подошел посмотреть номер бронетранспортера и его тоже записал. Хотел удостовериться, что я действительно принят системой, что путь к бегству отрезан для меня. Он заставил командира расписаться, что я принят им, словно я был частью снаряжения.

Солдаты вокруг были ошеломлены.

— Следите, чтобы он воевал как следует, — сказал он им, — он уже десять лет не был в стране... хотел сбежать отсюда.

Они посмотрели на меня.

— Ненормальный, — прошептал кто-то, — Нашел время вернуться.

Но я не ответил, только прошептал: "Может быть, есть у вас кусочек хлеба или что-нибудь вроде", — и кто-то дал мне огромный кусок пирога, сладкого, вкусного пирога из дрожжевого теста, и я сразу же стал есть, уплетая его с вожделением. К глазам подступили слезы. И вдруг мне стало легче. Может быть, из-за этого домашнего пирога, может быть, потому, что я, наконец, избавился от него. И так стоял я на бронетранспортере посреди целой компании ребят, опершись о накаленный железный борт, поглощая пирог и глядя издали на прямого лысого офицера, который все с тем же заносчивым видом расспрашивал мальчишку-командира о планах наступления. А тот, совершенно растерянный, не знал, что отвечать. Наконец офицер разочарованно отстал от него, но все еще не уходил, словно ему было тяжело расстаться со мной, стоял одинокий, смотрел вокруг своим пустым, высокомерным взглядом. И я вдруг понял, насколько он несчастен в этом своем исступлении, и улыбнулся ему сверху, с высоты бронетранспортера, теперь, когда я уже был ему неподвластен.

Вдруг он встрепенулся и повернулся, чтобы уйти. А я крикнул ему: "Эй, Шахар, до свидания". Он повернул ко мне голову, бросил на меня последний взгляд, все еще враждебный, потом все-таки усталым движением поднял свою единственную руку, словно отдал честь, и сразу же опустил ее. Пробормотал: "Да, до свидания... до свидания..." — и зашагал в сторону командных пунктов по рыхлой дороге, по пыльной дороге, по которой двигался непрерывный поток танков. Еще некоторое время я видел, как он шагал своей размеренной, медленной, вызывающей походкой, а танки осторожно, справа и слева, объезжали его.

Теперь я был окружен молодыми, детскими лицами, сплоченной группой солдат регулярной армии, которые казались даже веселыми, с волнением ожидая первого

боя. Смеялись своим собственным шуткам, рассказывали о незнакомых мне людях. Их присутствие немного успокоило меня. Мальчишка-командир подозвал меня к своему джипу, чтобы теперь спокойно выяснить, кто же я такой и как попал в руки майора. И так, посреди пустыни, при шуме полевых телефонов и гуле огромного количества машин и людей, я снова рассказываю свою историю, добавляю ненужные подробности, запутываюсь в своей странной исповеди о бабушке, о наследстве.

Стоит человек перед молчащим молодым мальчишкой и выкладывает ему всю свою жизнь. Но я думал — а может, он отпустит меня, отправит меня отсюда, я ему сказал также, что у меня никакого представления о том, как обращаются с противотанковым ружьем, и вообще война — это не для меня. Но я уже видел, что он не намерен избавляться от меня — если уж меня оставили у него, он найдет мне какое-нибудь применение. Выслушал меня, ничего не говоря, иногда только появлялась на его лице легкая улыбка. Потом позвал солдата из своей роты, типичный интеллигент в очках, и приказал ему быстро научить меня приводить в действие противотанковое ружье.

И тот немедленно велел мне лечь на землю, дал мне ружье в руки и начал читать лекцию о прицелах, расстояниях, видах боеприпасов, об электрической цепи.

Я качаю головой, но слушаю его вполуха, воспринимаю только один факт — что вспышка может ранить самого стреляющего. Этот очкастый солдат все время повторял и предупреждал, что вспышка очень опасна, он, наверно, сам обжегся однажды. Посреди этого странного частного урока нас позвали есть. Открыли целую кучу консервов. Но я был единственным, у кого еще был аппетит. Они немного удивились, увидев, с какой страстью я набросился на еду.

Открывают банку за банкой, пробуют ее содержимое и передают ее мне, развлекаются, глядя, как я с ложкой в руке опустошаю одну за другой, без всякого порядка, банки с фасолью, компотом, соком грейпфрута, мясом,

халвой, сардинами, и на десерт съедаю соленые огурцы. Вылизываю все. А тем временем транзистор, стоящий посреди пустых консервных банок, тарыхтит непрерывно, и я наконец-то слышу новости, которых был лишен все последние сутки. Тяжелые вести, неясные, запутанные, обернутые в какие-то новые слова — прикрытие, бой на истощение, сдерживающий бой, оттягивание, выжидание, концентрация сил. Слова, которыми пытаются прикрыть страшную действительность, а я нахожусь глубоко внутри нее.

И вдруг я чувствую одиночество, страшное одиночество, и в сердце пустота. Представьте меня внутри всей этой суматохи. Сажу в гуще колонн, у гусеницы бронетранспортера, стараясь спрятаться от солнца в маленьком кусочке пылающей тени, вокруг тошнотворный запах отработанного бензина. Одежда моя грязна, как будто я прошел уже две войны, и я вижу, что все идет навстречу моей гибели. Войска непрерывно двигаются мимо нас, окружают нас. Танки, бронетранспортеры, джипы и пушки. Свист беспроволочных телефонов и радостные крики солдат, узнающих своих друзей. И я начинаю понимать — живым мне отсюда не вырваться. Мне вдруг захотелось написать вам открытку; но нас спешно подняли, чтобы мы готовились к выступлению.

Проехали километр или два, развернувшись фронтом к горизонту, и нам приказали остановиться. И так стоим в боевой готовности, с касками на головах, водители не оставляют руль целых четыре часа, смотрим в сторону угрожающего, смутно видного горизонта, туда, где идут не слышные отсюда бои. Следим за похожими на гриб столбами пыли, возникающими вдаль, за дымом далеких пожаров — знаки, которые люди вокруг меня взволнованно комментируют.

Постепенно пустыня стала приобретать красноватый оттенок, а на пыльной линии горизонта расцвел вдруг шар солнца, словно кто-то поднял его над пылающим каналом, как какой-то военный аксессуар, тоже участвующий в бою. Перед самым заходом солнца стало дро-

биться, словно его взорвали, и наши лица, и бронетранспортер, и оружие в наших руках окрасились алым цветом.

И на этом самом месте, развернувшись фронтом, мы прождали два дня, точно застыли на своих позициях. Личное, линейное время разбилось вдребезги, коллективное, общее время размазалось по нам, как липкая каша. Все происходило одновременно. Едим и спим, слушаем радио и справляем малую нужду, чистим оружие и слушаем лекцию, которую читает нам чудаковатый лектор, прибывший к нам с маленьким магнитофоном и с кассетами современной музыки. Играем в шеш-беш*, крутимся по замкнутому кругу, вспрыгиваем на бронетранспортер во время ложной тревоги, следим глазами за вылетающими и возвращающимися самолетами, а в другом месте, вне нас, не имея к нам никакого отношения, восходит и заходит солнце, опускаются сумерки и ночи, наступают пылающие полдни и прохладные утра. Мы уже отброшены за пределы мира, чтобы нас было легче лишить жизни, а я, чужой в квадрате, или, как меня называли, "вернувшийся йоред", кручусь среди молодых мальчишек, слушаю их глупые анекдоты, их детские грезы. А они не знают, что делать со мной, все еще помнят впечатление, которое произвел на них мой дикий аппетит в первый день, и предлагают мне кусок пирога, печенье, шоколад, которые я беру у них рассеянно и угрюмо грызу, бродя между транспортерами. Однажды посреди ночи я решил убежать. Взял туалетную бумагу и стал удаляться в сторону холмов, думая, что там никого нет. Но, к своему удивлению, я обнаружил, что и там стоят наши войска, вся пустыня кишела людьми.

Наконец мы начинаем двигаться, медленно, словно вылезая из топкого болота. Уже обессиленные, обросшие бородой, проедем немного и останавливаемся, останавливаемся и снова трогаемся. Поворачиваем на юг и воз-

*Восточная игра, нечто вроде шашек.

вращаемся на север, сворачиваем на восток и снова возвращаемся к основному направлению и движемся вперед. Словно какой-то командир-лунатик приводит нас в движение издалека. И вдруг, без всякого предупреждения, упали на нас первые снаряды, и кого-то убило, и так началось для нас сражение. Ложимся, поцарапаем немного землю и снова залезаем на машины, и двигаемся. Время от времени открываем огонь из всех орудий и винтовок по желтым целям, которые тоже движутся, как какие-то лунатики на затянутом пылью горизонте.

Я не стрелял. Хотя противотанковое ружье все время и висело на мне, но боеприпасы были засунуты глубоко под одну из скамеек. Я сидел, сжавшись, каска скрывала мое лицо, превратился в какую-то вещь, лишенный воли предмет, в неживое создание, которое изредка выглядывает, чтобы посмотреть на окружающий вид, на бесконечную, неизменную пустыню. Наше подразделение все время изменялось: распадается и составляется снова. Командиры сменяются. Мальчишка-командир куда-то исчез со временем, и другой командир, в летах, стал командовать нами. Наш бронетранспортер испортился, и нас перевели на другой. Все время изменения — передают нас кому-то, а потом забирают. Временами попадаем под обстрел, кратковременный или продолжительный, и прячемся головой в песок. Но продвигаемся вперед — это ясно. Люди пытаются разжечь восторженное настроение. Приближается победа, наконец-то. Но победа горькая, тяжелая.

Однажды вечером мы прибыли к важному полевому командному пункту. Охраняли одного полковника, который сидел среди десятка своих связных, окруженный проводами и телефонными трубками. Усталый человек, глаза от бессонных ночей превратились в щелки, сидел на земле, брал трубку за трубкой и с бесконечным терпением, ужасно медленно, сонным голосом передавал приказы в пространство. Всю ночь сидели мы около него, и я пытался следить за ним, чтобы понять, как идет сражение. И мне казалось, что положение становилось

все более и более сложным. Когда начало рассветать, во время краткой передышки, я набрался храбрости, подошел к нему, и спросил, когда, по его мнению, закончится война. А он посмотрел на меня с отеческой улыбкой и тем же сонным голосом, ужасно медленно стал говорить о длительной войне, может быть, дело месяцев или даже лет, а потом взял одну из трубок и своим усталым голосом отдал приказ о небольшой атаке.

Все парни вокруг уже становятся похожими на меня. Постарели. Волосы побелели от пыли, на щеках отросла щетина, лица покрылись морщинами, глаза ввалились от бессонницы. Там и здесь видны грязные перевязанные макушки. А вдаль поблескивала вода канала. Нам велели слезть с машин и приказали глубоко окопаться. Каждый рыл себе свою собственную могилу.

И тут я услышал это песнопение. Звуки пения, молитвы, живые звуки, не из транзистора. Было еще темно, только первые признаки рассвета. Мы дрожим от холода, скрюченные под одеялами, мокрые от росы. Просыпаемся и видим, как три человека, одетые в черное, с пейсами и бородами, прыгают и раскачиваются, поют и хлопают в ладоши. Словно хорошо слаженная рок-группа. Подходят к нам, прикасаются к нам своими мягкими белыми руками, чтобы разбудить нас, вернуть нам веру. Их послали из ешивы ходить по разным подразделениям, раздавать маленькие молитвенники, ермолки и цицит*, повязывать солдатам филактерии**.

И уже некоторые из нас подходят к ним, вступают с ними в беседу. Сонные лохматые солдаты закатывают рукава, растерянно улыбаются, повторяют за ними слова молитвы. А они благословляют нас. "Великая победа, — говорят они, — снова свершилось чудо. Милость небес".

*Кисти из шерстяной нити, прикрепляемые к краям талита или маленького талита.

**Сам этот маленький талит, который набожные евреи носят под рубашкой.

Но чувствуется, что нет в них уверенности, что они говорят не от всего сердца. На этот раз мы их немного разочаровали.

Встает солнце, воздух быстро нагревается. Уже начинают накрывать завтрак, от костра поднимается дым. А из транзисторов льются утренние новости. Они уже закончили свой обход, сложили вещи, флактерии и все прочее, уселись на небольшом холмике, сняли со своей машины маленькие старые чемоданы из картона и вытащили свою утреннюю трапезу. Мы пригласили их позавтракать с нами. Но они вежливо отказались. Опустили головы, улыбнулись про себя. У них есть своя еда. Они боялись даже до наших фляжек дотронуться, опасаясь греха. Я подошел к ним. Они достали еду, которая лежала вместе с принадлежностями культа — молитвенниками и цицит: хлеб, крутые яйца, помидоры и огромные огурцы. Посыпали их солью и стали есть вместе с кожурой. Из большого красного термоса отпивали какой-то желтоватый напиток, наверно, чай, который привезли с собой из Эрец-Исраэль. А я стоял и смотрел на них, не мог оторваться. Я уже успел забыть, что существуют такие евреи. Черные шляпы, бороды, пейсы. Они сняли пиджаки и сидели в белых рубашках, как пришельцы из другого мира. Двое из них были пожилые — лет сорока, а между ними сидел очень красивый юноша с реденькой бородкой и длинными пейсами. Он казался смущенным и немного испуганным среди всей этой суматохи, беря своей белой рукой еду, лежащую на старой газете.

Я не отходил от них. А они заметили мой взгляд. Приветливо улыбнулись мне. Я взял у них маленькую цицит и положил в карман, все еще стоя около них. Они продолжали есть, раскачиваясь и болтая на идише. Я не понял ни слова, но уловил, что они спорят на политические темы. А я все стоял напротив них, лохматый, грязный солдат со щетиной десятидневной давности на щеках, уставился на них. Они стали чувствовать себя как-то неловко из-за меня.

Вдруг я сказал: "Нельзя ли получить помидорину?" Они

удивились, подумали, что я сошел с ума, но тот, что постарше, быстро пришел в себя и протянул мне помидор. Я посыпал его солью, сел рядом с ними и начал задавать им вопросы. Откуда они прибыли? Что делают? Как живут? Куда направляются отсюда? Они отвечали мне, а те, что постарше, все время раскачивались, словно их ответы тоже вроде молитвы. И вдруг что-то как будто ударило меня — эта их свобода. Они, в сущности, не имели к нам отношения. По своей воле пришли сюда и по своей воле уйдут. Никому ничего не должны. Двигаются по пустыне между военными подразделениями, как какие-то черные жуки. Инопланетяне. Я не мог оторваться от них.

Но тут пришел их старший в форме сержанта, который был у них чем-то вроде импрессарио, чтобы поторопить их. Скоро будет обстрел, и им лучше покинуть это место. Они сейчас же вскочили, собрали остатки еды, завязали чемоданы веревкой. И с фантастической скоростью стали бормотать застольную молитву, взбираясь на свою машину.

И тогда на камне я увидел черный пиджак, который кто-то из них, наверно, молодой, забыл второпях. Я поднял его. Он был сшит из добротной, плотной ткани. Ярлык портного с улицы Геула в Иерусалиме свидетельствовал о том, что в материале нет никакой посторонней примеси. От пиджака исходил легкий запах человеческого пота, но этот запах отличался от того, который исходил от окружающих меня людей, какой-то сладковатый запах, похожий на запах ладана или табака. В первое мгновение я хотел отбросить пиджак, но вдруг надел его на себя. Это был мой размер. "Идет мне?" — спросил я солдата проходившего мимо меня быстрым шагом. Удивленный он остановился, я понял, что он не узнал меня, потом улыбнулся и продолжал свой бег.

И тут на нас обрушился шквал обстрела, подобного которому еще не было. Мы попадали на землю, свернувшись наподобие зародышей, в отчаянии впились ногтями в иссохшую землю. А обстрел за нашей спиной бил

яростно и точно по скрещению дорог в ста метрах от нас. Достаточно маленькой ошибки. И так продолжалось в течение многих часов — пыль, свист, взрывы, глаза закрыты, во рту скрипел песок, а рядом с нами горел бронетранспортер.

К вечеру все затихло, словно ничего и не было. Глубокое безмолвие. Нас передвинули вперед, на пять километров, мы остановились у склона возвышенности и снова стали расстилать одеяла, готовиться ко сну.

И с первыми признаками рассвета, словно время повернуло вспять, снова звуки пения и молитвы стали будить нас, слышалось ритмичное похлопывание ладоней. Эти трое вернулись, точно из-под земли выскочили, пытаюсь разбудить нас.

— Вы уже были у нас! Были у нас! Мы уже получили от вас молитвенники!

Они испугались, застыли на месте, а потом растерянно отступили назад, стали бормотать на идише. Один невысокий солдат, выпутавшись из своих одеял, молча подошел к ним, и со страдальческим выражением лица, словно ожидая укола, закатал левый рукав. А эти трое, приободрившись, стали наматывать на его руку филактерии, открыли перед ним молитвенник и показали, что надо читать, обращаясь с ним, как с больным.

Они вели его вперед, потом возвращали назад, раскачивали его и раскачивались вместе с ним, поворачивали его лицом к востоку, навстречу восходящему солнцу. А мы лежали в спальных мешках и смотрели на них. Издали казалось, что они молятся Солнцу.

Кончили и принялись за еду, как и в первое утро, стали рыться в своих чемоданах из картона, вытаскивать яйца, огурцы и помидоры. Можно подумать, что они собрали их в пустыне. Только на этот раз никто не стоял около них. Солдаты потеряли к ним интерес. Все были под впечатлением вчерашнего обстрела. Я, не спеша, приблизился к ним, стал заглядывать в раскрытые чемоданы. В них уже не было предметов культа, все раздали вчера. Вместо них там были "трофеи", собранные ими по до-

роге. Солдатские пояса, гильзы, цветные портреты Сада-та. Сувениры, которые они принесут домой.

И снова меня поразила их свобода.

— Как дела? Что слышно? — улыбаюсь я им, пытаюсь завязать беседу.

— Слава Богу, — тотчас отвечают они. Я заметил, что они не узнают меня.

— Куда вы направляетесь отсюда?

— Возвращаемся домой. С Божьей помощью. Рассказать о произошедших чудесах.

— Какие чудеса? Вы не понимаете, что тут происходит? А они за свое.

— С Божьей помощью. Все чудо.

— Вы женатые?

Они улыбаются, удивленные вопросом.

— Слава Богу.

— Слава Богу — да или Слава Богу — нет?

— Слава Богу... разумеется...

Вдруг они узнают меня.

— Мы уже встречались с господином?

— Да. Вчера утром. Перед обстрелом.

— И как дела?

— Так себе...

Я сел около них. В руках сумка, в которой лежал найденный мной черный пиджак. Они немного отодвинулись.

— Вы потеряли свой пиджак? — спросил я молодого, который не произнес ни звука. На нем был военный мундир египетского солдата, который он нашел где-то.

— Да, — на его лице мягкая, необыкновенно приятная улыбка. — может быть, вы нашли его?

— Нет...

— Неважно, неважно, Бог с ним... — успокаивает его тот, что постарше.

Они все время не перестают есть, легко так, уверенно. Что-то в них все больше притягивает меня, до боли...

Этот юноша, красавец, жующий неторопливо свой хлеб, сидя между двумя другими, не обращает на меня никакого

внимания, подбирает своими прозрачными пальцами крошки, все еще читает ту же самую старую газету, которая лежит перед ним. Чай у них уже кончился. Они передавали один другому бутылку с мутной водой, какая-то манна или роса, которую собрали по дороге. Видно было, что они умеют обходиться малым. Мне опять захотелось взять у них что-нибудь, какой-нибудь овощ или кусок хлеба. Но я почему-то, не спрашивая разрешения, поднял лежащую на песке шляпу молодого, надел ее на свою голову и начал незаметно ритмично покачиваться, они улыбнулись, очень растерянные. Лица их покраснели. Я уже заметил, что они немного боятся нас. Немного брезгуют.

— И не жарко вам в таких шляпах?

— Будь благословен Господь.

— Идет мне?

Я, как ребенок.

— С Божьей помощью, с Божьей помощью... — они натянуто улыбаются.

По ним ничего нельзя было понять.

— Может быть, поменяемся шапками, — сказал я молодому, — чтобы я не забыл вас.

Тот был совершенно растерян, уже потерял пиджак, а теперь хотят забрать у него и шляпу. Но один из тех, что постарше, направил на меня умный, пронизательный взгляд, словно понял мои намерения еще раньше меня.

— Пусть возьмет... на счастье... вернется целым к жене и детям...

— Но я холостой. Только любовник... — нахально дразню я их, — у меня связь с замужней женщиной.

Но он оставался спокойным, смотрит на меня, точно видит меня теперь на самом деле.

— Чтобы нашел себе пару..., чтобы вернулся домой с миром.

А на горизонте поднимаются грибообразные столбы пыли, и через некоторое время, словно она не имеет к ним никакого отношения, слышится пушечная канонада. Рабочий день начался. Люди разбегаются. И снова обстрел — за мной по пятам, словно задался целью уни-

чтожить меня. Их старший, в форме сержанта, прибежал, чтобы поторопить свою стаю покинуть это место. Весь лагерь быстро свертывается, зарывается в землю. Стоящий рядом со мной взвод солдат начинает окапываться. Я даже не успел попрощаться с ними.

Теперь я знал: единственный выход — удрать отсюда. Я могу сделать это. Только об этом я и думал весь тот день, сижу в углу внутри бронетранспортера, молчу, сторонюсь людей, пытаюсь сделаться незаметным. День был ужасно жаркий, густая мгла закрыла небо. Солнце исчезло. Ничего не видно. Все время разные подразделения разыскивают одно другое, пытаются найти свое место. Беспроволочные телефоны тарахтят, не переставая, в отчаянии. А над всем стоит желтоватая едкая пыль. Мы приближаемся к каналу. Прорыв на тот берег уже совершен, и мы должны присоединиться к частям, которые непрерывным потоком пересекали канал. К вечеру мы уже смочили руки в бомбардируемой воде. Новые командиры пришли и стали с восторгом рассказывать о планах на завтра.

Но я уже решил окончательно. Ведь войне не видно конца. Что мне делать на западном берегу канала, когда я и на восточном не могу найти себе применение.

И так, незаметно для других, я готовлюсь. Кладу в маленькую сумку все вещи, которые собрал у религиозных за последние два дня. Шляпу, черный пиджак, цицит. Приготавливаю бутерброды с мясом и сыром, наполняю водой две фляги, и ночью, перед самым рассветом, перед тем как мне надо было сменить часового, собираю вещи, иду в самый конец колонны, прячусь за одним из холмов, снимаю с себя снаряжение и прикрываю его камнями. Рою маленькую ямку и закапываю в нее свое противотанковое ружье. Снимаю военную форму и разрываю ее штыком на мелкие куски, а обрывки разбрасываю в темноте. Вынимаю из вещевого мешка белую гражданскую рубашку, свои черные хлопчатобумажные брюки, надеваю цицит, а на нее украденный пиджак, шляпу кладу рядом

с собой. За последние две недели лицо мое покрылось бородой, а из моих вьющихся волос, которые невероятно отросли, мне удалось закрутить нечто вроде зачаточных пейсов.

И так я сидел в маленьком своем укрытии недалеко от канала, дрожа от холода, глядел в темное небо, время от времени освещаемое вспышками взрывов, ждал рассвета, слышал, как поднимают мою часть и передвигают ее на другое место. Я прислушался, не ищут ли меня, не выкрикивают ли мое имя, но ничего не услышал, кроме шума заводящихся моторов. А потом наступила мягкая тишина. Моего исчезновения никто не заметил. Это поразило меня, что так вот просто вычеркнули меня.

Но я не двинулся с места. Сажу и жду рассвета, с аппетитом уничтожаю бутерброды, приготовленные мною на завтра. И внезапно туманный свет начинает распространяться вокруг. Хмурый такой рассвет, почти как в Европе. А я зарываю последние остатки своего армейского существования, в том числе и вещевой мешок, стряхиваю с одежды пыль и песок, пытаюсь разглядеть ее, чтобы она приобрела сносный вид. Потом надеваю шляпу и начинаю выходить из истории, иду на восток.

Очень скоро я достиг шоссе, еще немного времени, и я слышу шум приближающейся машины, на ней цистерна с водой, продырявленная пулями, а из отверстий еще сочится вода. Я еще раздумываю, не поднять ли мне руку, а машина уже останавливается около меня. Я подпрыгиваю и забираюсь в кабину. Шофер, маленький и худой йеменский еврей, совсем не удивился, увидев одетое в черное существо, можно было подумать, что вся пустыня полна религиозными в черных одеяниях, которые то и дело выскакивали из-за холмов. Странно, что он не заговорил со мной, не произнес ни единого слова. Может быть, и он сбежал, а может быть, только что обстреляли его, и теперь он возвращается, что-то взволнованно напевая про себя. Мне кажется, он даже не сообразил, кого это он подобрал по дороге.

Шлагбаумы немедленно поднимались перед нами, ар-

мейские полицейские даже не смотрели на нас, атакуемые огромным количеством машин, направившихся нам навстречу. Людям просто не терпелось попасть на войну, прорваться на западный берег канала.

В Рафидим я сошел. Даже спасибо не успел сказать. И снова вокруг эта ужасная суета, которая все усиливается. Бегают люди, во всех направлениях мчатся машины. А я чувствую себя легко в своей новой одежде, почти порхаю, всем существом ощущаю свободу. Я брожу по лагерю, ищу северный выход. Но вижу, что люди обращиваются на меня, останавливают на мне свой взгляд. Я обращаю на себя внимание, даже несмотря на эту необыкновенную суету вокруг. Очевидно, в моем облике было что-то, не соответствующее моему одеянию, может быть, шляпа сидела не так, как надо, на моей голове. Я все больше опасаюсь, как бы не попасться. Хожу по боковым тропинкам, стараюсь сделаться незаметным, пробираюсь между строениями, укрытиями для танков. И вдруг в одном из закоулков лагеря прямо передо мной, как в кошмарном сне, предстал этот высокий лысый офицер, загорелый до красноты, все с тем же наглым, пустым взглядом. Я чуть не упал, увидев его. Но он прошел мимо, не узнав меня. Продолжал свой путь размеренной походкой, ужасно действующей на нервы.

Наверно, меня действительно нельзя было узнать, во мне, очевидно, произошла существенная перемена, которую я и сам еще не осознал. Я спрятался за стеной, пораженный и дрожащий. Вижу, как он идет к одному из навесов. Что-то голубое поблескивает там. Бабушкина машина. Я чуть было не забыл о ней.

И вдруг я решил увести и ее. Почему бы и нет? Подождать, когда стемнеет, и взять ее с собой. Я посмотрел вокруг, чтобы запомнить место, и пошел искать синагогу, чтобы спрятаться там до вечера.

Синагога была заброшенная и грязная. Здесь, наверно, ночевало целое подразделение во время большого переполоха, на полу валялись гильзы от патронов. Вместилище Торы было закрыто на ключ, но несколько молитвен-

ников лежали в беспорядке на полках, а в маленьком боковом шкафчике я обнаружил бутылку вина для благословения.

И так сидел я весь день, один в углу, медленно попивал теплое сладкое вино, читал молитвенник, чтобы иметь представление о содержании молитв. Голова моя затуманилась, но уснуть я боялся, как бы кто-нибудь не зашел и не застал меня врасплох. Около полуночи я вышел оттуда, неся в нейлоновом мешке с дюжину молитвенников. Если спросят, что я тут делаю, скажу, что меня послали раздать молитвенники солдатам. Лагерь немного успокоился, люди уже не такие взволнованные, я наткнулся даже на стоящих в обнимку солдата и солдатку. Как будто не было на свете никакой войны.

"Морис" стоял между двумя разбитыми танками, весь покрытый пылью. Двери были заперты, но я помнил, что одно из окон держится непрочно. Мне удалось проникнуть внутрь; руки мои задрожали, когда я прикоснулся к рулю. Я положил на него голову. Слово вечность прошла с тех пор, как я расстался с ним, а не несколько дней войны.

У меня уже был наготове кусочек серебряной бумаги, который я вытащил из сигаретной пачки, и, как в далекие годы, когда я по ночам брал машину тайком от бабушки, я наклонился под руль и сразу же нашел место, где присоединяются провода зажигания. И аккумулятор, который ты, Адам, заменил, новый аккумулятор, который ты поставил несколько недель тому назад, сразу же ответил на легкое прикосновение — мотор завелся в одно мгновение.

И так я начал свое движение — на север, восток, черт знает, куда — я плохо ориентируюсь, ищу указатели, останавливаюсь и спрашиваю, как добраться обратно в Эрец-Исраэль.

— В какой Эрец-Исраэль, — со смехом отвечали мне солдаты армейской полиции.

— Неважно, не имеет значения, лишь бы выбраться из пустыни.

А все движение шло в обратном направлении. Танки,

пушки и огромные грузовики с боеприпасами. Река цвета хаки мчалась мне навстречу с шумом и с приглушенными огнями. А я в своей маленькой машине ехал против течения, сворачивал на обочину и, несмотря на это, мешал уверенному движению колонн. До моего слуха доходили их проклятия "Вот чумазный дос*", нашел время разгуливать по Синаю". Но я не отвечал, только улыбался робко, маневрируя между колоннами. И не останавливаясь, упрямо двигался назад, как одержимый бесом, летел по разбитым дорогам, стремился как можно скорее выбраться из пустыни.

Утром добрался до большого магазина для военнослужащих в Рафияхе, усталый и изможденный после ночной езды, но опьяненный свободой. Сразу же зашел туда, чтобы купить что-нибудь поесть, переходил от прилавка к прилавку, выпивал суп, ел сосиски, грыз шоколад и конфеты. Вдруг я заметил в толпе группу религиозных, похожих своей черной одеждой на меня, которые с любопытством следили за мной. Они были поражены моим диким поведением, моей безграничной свободой, как скакал я от прилавка с мясными продуктами к прилавку с молочными и обратно. Я тотчас решил скрыться. Но у выхода один из них остановил меня, положив руку мне на плечо.

— Подожди минутку, мы тут ищем десятого** для утренней молитвы...

— Я уже молился вчера... — я высвобождаю свое плечо и удираю от них, залезаю в свой "морис", завожу его и даю газ, оставляя их в недоумении.

Через несколько километров пустыня наконец-то кончилась. Стали появляться пальмы, белые дома, мягкие дюны, на которых разведены фруктовые сады. Эрец-Исраэль. И чудесный запах моря. Я медленно останавли-

* Прозвище религиозных евреев, от слова "дат" ("дос" на идише), что значит "религия".

** Для произнесения молитвы в обществе необходимо десять человек.

ваюсь. И так — я спасен. Лишь теперь я почувствовал, до чего я устал. Голова кружится, глаза закрываются. Я выхожу из машины и вдыхаю утренний воздух. Ощущаю запах моря. Но где же море? Внезапно я чувствую, что оно необходимо мне, что я должен прикоснуться к нему. Но как добраться отсюда до моря? Я останавливаю великолепную машину какого-то важного офицера, мчащуюся мне навстречу. "Где море?" Он рассердился, чуть не ударил меня, но все-таки показал мне направление.

Я прибываю на совершенно чистый берег, вокруг тишина — и я за пределами мира, словно нет государства, нет войны, ничего нет. Только шорох волн.

Я ложусь под финиковую пальму, напротив меня море, и сразу же засыпаю, словно мне на лицо положили маску с наркозом. Я мог бы лежать так днями, но заходящее солнце стало светить мне прямо в глаза, и я проснулся, покрытый песком. Маленький песчаный холмик сдвинулся и прикрыл меня. Такое приятное тепло. А я продолжаю дремать, наслаждаюсь морским ветром, поворачиваюсь под песчаным одеялом и, не вставая, снимаю с себя одежду — черный пиджак, цигит, брюки, белье, ботинки и носки, лежу совершенно голый в песке, а потом встаю, отряхиваюсь и иду к морю — окунуться.

Что особенно было чудесно — так это совершенное одиночество. После долгих дней среди множества людей снова я один. Никого нет вокруг. Такая мягкая тишина. Даже шума моторов не слышно из-за шороха волн. Арабы, живущие здесь, как видно, боятся выходить из-за войны. Я надеваю нижнее белье и брожу по берегу, словно он моя собственность. Чувство времени вернулось ко мне. Все готовится к закату. Солнце, как глаз циклопа, лежит на линии горизонта, тихо смотрит на меня.

Я подхожу к "морису", который стоит, безмолвный и верный, лицом к морю, и вдруг со страхом обнаруживаю внутри него вещи, принадлежащие тому офицеру: он превратил машину в свой склад. На заднем сидении несколько сложенных одеял, маленькая палатка разведчиков и даже его таинственная сумка с картами лежит

там. Я открываю ее дрожащими руками и действительно нахожу там целую кучу подробных карт Ближнего Востока, Ливии, Судана, Туниса. Маленькая коробочка и в ней знаки отличия подполковника, сам себе подготовил на случай повышения в чине. И еще — матерчатый белый мешочек и в нем два старых яйца, смятых, с розоватой скорлупой. Я тут же, ни капли не раздумывая, очистил их и съел с большим удовольствием, читая найденный мною интересный документ. Что-то вроде завещания, написанного им жене и двум сыновьям. Написано с подъемом, возвышенным стилем, что-то о себе, о народе Израиля, какая-то странная мешанина — назначение, миссия, история, судьба, страдание. Надутые фразы, сплошное благочестие и жалость к себе. Меня зазнобило при мысли о том, какая ярость охватит его, когда он обнаружит, что машина исчезла, он не успокоится, пока не найдет ее. Может быть, он уже начал погоню и находится недалеко отсюда. Не похоже, чтобы у него было какое-нибудь дело на этой войне.

Я беру все бумаги и карты, рву их на мелкие куски и зарываю в песок, пустую сумку бросаю в море, очищаю машину от следов его присутствия. В багажнике я нашел кисть и большую банку с краской, которая осталась после того, как он закрасил фары перед нашим отъездом из лагеря.

Внезапно возникает у меня идея — покрасить машину черной краской, изменить цвет. И я сразу же приступаю к делу. Размешиваю краску, чтобы оживить ее немного, и в сумерках, наступивших после заката солнца, начинаю сильными мазками красить машину. Стою в одном белье и при слабом вечернем свете превращаю свой "морис" в гроб. Когда я делал последние мазки, напевая старую французскую песенку, я почувствовал, что кто-то наблюдает за мной. Поворачиваю голову и обнаруживаю несколько силуэтов на маленьком песчаном холмике за моей

спиной. Маленькая кучка бедуинов в абайях* сидит и смотрит, что я делаю. Пришли незаметно. Когда? Кто знает? Кисть упала в песок. Вот когда я пожалел, что выбросил противотанковое ружье. Остался у меня только штык.

Я вижу, что они не сводят с меня глаз. Я для них — целое событие. Может быть, обсуждают, что со мной делать. Легкая добыча, которая прямо лезет им в руки.

Они, наверно, заметили, что я испугался. Некоторые из них медленно поднимают руки, приветствуют меня поднятием руки, словно салютуют.

Я улыбаюсь им, слегка кланяюсь издали. Подбираю свою одежду и торопливо одеваюсь, рубашку, цицит, брюки, черный пиджак, даже шляпу. Вдруг мне показалось, что именно эта одежда спасет меня от их нападения. А они следят за моими движениями, удивлены, наверно, без всякого сомнения — удивлены. Я вижу, как они выпрямляются, чтобы лучше видеть меня. Быстро поднимаю оставшиеся вещи, зарываю их в песок в темноте, зная, что все, что я захоронил в песке, будет вырыто, как только я исчезну отсюда, влезая в машину и пытаюсь завести ее. Но, наверно, из-за волнения я напутал что-то с проводами, и машина только застонала. После нескольких минут напрасных стараний я увидел, что они приблизились ко мне, встали в кружок на расстоянии нескольких шагов от машины, смотрят, как я вожусь там под рулем. Они уверены, по крайней мере, в одном — машина эта украдена. Я не перестаю им улыбаться, весь бледный, и при этом все время лихорадочно ощупываю эти проклятые провода. В конце концов я завожу машину, нарушая эту глубокую тишину, зажигаю фары, два луча света падают на совершенно черное море, начинаю маневрировать, поворачиваю и тотчас же застаю в песке.

А тем временем вокруг меня собирается все больше народу, словно птичья стая опустилась в темноте. Дети,

*Одежда, нечто вроде свободного платья.

подростки, старики вырастают словно из-под земли. Я опускаюсь на колени у колес, чтобы разгрести песок, возвращаюсь в машину, мотор опять заглох, я снова завожу его и застаю еще глубже.

И тогда я поворачиваюсь лицом к молча стоящим силуэтам и безмолвно прошу о помощи. Они только этого и ждали. Сразу же набросились на машину, десятки рук прилипают к свежей краске, я чувствую, как машина просто парит в воздухе, как ее несут к шоссе, и в тот момент, как колеса касаются земли, я даю газ, проезжаю некоторое расстояние и останавливаюсь. Выхожу из машины, смотрю на темную группу, стоящую в молчании на дороге, приподнимаю шляпу и элегантно помахиваю ею в знак благодарности, моих ушей достигает какой-то гул, они бормочут что-то по-арабски, очевидно, благословляют меня с миром, желают мне доброго пути.

Я снова сажусь в машину и трогаюсь. В Иерусалим.

Да, в Иерусалим. Что это вдруг в Иерусалим? Но был ли у меня другой выход? Куда мог я поехать? Где мог я укрыться, пока не утихнет гроза? Ведь все данные мои записаны в анкетах у рыженькой, а машину, наверно, ищет этот жилистый офицер. Мог ли я вернуться в дом бабушки, я — дезертир, бросивший оружие, которого ждет арест? Или, может быть, вы думали, что я могу вернуться к вам, жить с вами, стать чем-то большим, чем любовник — членом семьи. Неужели такое было возможно?

И почему не следовать своей судьбе, которая предназначена мне? Ведь главное было сделано — из пустыни я выбрался, границу Эрец-Исраэль я пересек. На мне черная одежда, цицит, шляпа, я уже привык к запаху пота прежнего хозяина одежды. У меня отросла борода, и меня не пугает необходимость закрутить пейсы. "Морис" выкрашен в черный цвет. Его не узнать. Почему бы не продолжить эту авантюру?

Деньги, которые ты дал мне, Адам, кончились, и надо как-то пережить это тяжелый период, пока исход войны не будет решен или пока она не закончится. И почему

бы религиозным не принять меня? Мне казалось, что они очень подходят для этого. По крайней мере, судя по их посланцам, которые крутятся по пустыне. Видно, что есть кто-то, кто заботится о них.

Обо всем этом я думал во время моего ночного пути при бледном свете луны, которая постепенно исчезала. Проезжаю через южные поселки, доезжаю до Шфелы*, еду медленно — экономлю бензин. Я не знал даже, какое было число, а тем более о том, что происходит в мире.

И так осторожно, в темноте, я выехал на шоссе, ведущее в Иерусалим. Иногда я оставлял главное шоссе и сворачивал на боковые дороги, ехал по ним некоторое время, чтобы обмануть упрямого преследователя. Смотрю на ночной пейзаж, горы вдаль, слышу стрекотание кузнечиков.

Я еще не был в Иерусалиме, с тех пор как приехал в страну. Слишком был занят всеми этими делами — бабушкой, адвокатами, наследством и вашей любовью. И когда я на рассвете въехал в город, безлюдный и грязный, печальный, с мешками песка, наваленными около домов, и только издерганные бойцы гражданской обороны бродили по пустынным улицам, — я был потрясен его необычной, тяжелой красотой, трепет охватил меня. И при въезде в город, словно знак свыше, кончилась у меня последняя капля бензина. Я оставил машину на одной из улиц и пошел разыскивать их.

Найти их было нетрудно. Они жили в районах, расположенных недалеко от въезда в город. Они уже встали и бежали по улицам с корзинами в руках, спеша за утренними покупками. Мужчины и женщины. Шел мелкий дождь, и пахло осенью. Совсем другая жизнь.

Открываются магазины. Дела идут, как обычно, запах свежего хлеба. Тут и там собираются кучки людей, тихо

*Пространство между прибрежной и гористой частью страны (в районе от Газы до Тель-Авива).

шепчутся о чем-то. На стенах странные плакаты, некоторые из них сорваны.

Я пошел за ними, следую за черными каплями, постепенно сливающимися в черный поток спешащих куда-то людей, который стремится вглубь религиозного квартала. Когда я увидел большие штремлах* из красноватого лисьего меха, я уже знал, что цель моя достигнута — никто не найдет меня здесь.

Одна компания стояла на углу улицы. Я подошел к ней, чтобы завязать беседу. Они сразу же определили, что я не из ихних. Может быть, из-за формы бороды, из-за характера стрижки, а может быть, из-за каких-то внутренних признаков. Их я не мог обмануть. Сначала они были потрясены тем, что кто-то появился среди них во время, когда идет война, переодетым в их платье. Я сказал им тихо: "Можно мне побыть с вами немного?" Не рассказал, что я прибыл прямо из пустыни. Сказал: "Я только что из Парижа". Они посмотрели на пыль и песок, покрывавшие мою одежду и обувь, и промолчали, молча выслушивая мои путанные речи. Наверняка подумали, что я сумасшедший или не в себе. Но, к их чести, надо сказать, что они не старались отделаться от меня, а, наоборот, поддерживая меня слегка под руку, милосердно повели меня потихоньку по переулкам и дворам (а я все еще говорил, рассказывал о себе) к большому каменному дому, что-то вроде ешивы или школы, который напоминал муравьиное гнездо, привели меня в одну из комнат и сказали:

— А теперь расскажи все сначала.

Сперва я все еще путался, перескакивал с события на событие. Рассказывал о бабушке, потерявшей память, и о машине, которую я готов предоставить в их распоряжение. Постепенно через усталую путаницу начал вырисовываться рассказ, от которого я уже не отступал. Но так же, как и при ночном допросе того офицера, о вас я не

*Круглые, отороченные мехом шляпы.

сказал ни слова. И опять увидел я, с какой легкостью удаётся мне вычеркнуть вас из моего прошлого. Они привели какого-то бородатого еврея, блондина с совершенно нееврейским лицом, заросшим бородой и пейсами, который заговорил со мной на французском языке с прекрасным парижским произношением, начал проверять правдивость моих рассказов о Франции. Спрашивает о парижских улицах, о кафе, о сортах сыра и вина, о названиях газет. Я отвечал на беглом французском с точными подробностями. Дух Божий снизошел на меня.

Убедившись, что я действительно знаю Париж, они попросили меня раздеться, у них вдруг возникло сомнение в том, что я еврей. Я видел, что они совершенно растеряны, не могут понять, почему я пришел к ним и чего я хочу на самом деле. Снова стали задавать те же вопросы, но иначе. Но я уже не расстаюсь со своей версией.

Потом они немного посоветовались между собой, пошептали что-то друг другу на ухо: видно, боясь решить что-нибудь самостоятельно. Послали одного выяснить что-то, и он вернулся, качая головой в знак согласия. Они отвели меня к своему раби в крохотную комнатку. Я стоял перед огромным стариком, который сидел посреди табачного дыма и читал газету. Они рассказали ему мою историю, и он наклонил ухо в их сторону, чтобы лучше слышать, и все время не сводил с меня глаз, рассматривая меня добрыми глазами с приветливым выражением лица. Услышав, что я хочу предоставить мою машину в их распоряжение, он обратился прямо ко мне и начал расспрашивать о ней на иврите. Год выпуска, мощность мотора, количество мест, цвет. А потом спросил, где я ее оставил. Очень ему понравилось, что я привел с собой машину в качестве приданого.

Он вдруг начал выговаривать своим людям.

— Надо уложить его поспать... вы же видите, что он устал после дальней дороги... из Парижа (и он слегка подмигнул мне)... дайте ему сначала поспать... жестокие вы евреи...

И весело улыбнулся мне.

Наконец-то они успокоились. Отвели меня во двор ешивы на глазах у сотен любопытных аврехов*, которые тоже почувствовали инстинктивно, что я прикидываюсь религиозным. Меня привели в комнату, которая служила пристанищем для гостей. Комната очень скромная, обставленная старой мебелью, но уютная и довольно чистая. Я уже начал привыкать к особому запаху вещей, окружавших меня, запаху старых книг, смешанному с запахом жареного лука и вонью канализации.

Они постелили мне на одной из кроватей и ушли, исполнив повеление своего раби уложить меня спать. Было одиннадцать часов утра, мир был освещен каким-то сероватым светом. И за кружевной, словно в царском дворце, занавеской, как на ладони — Старый город, которого я никогда в жизни не видел. Прекрасный, захватывающий дыхание вид величественной стены, башенки церковей и минареты мечетей, маленькие каменистые дворы, оливковые рощи на склонах гор. Я долго стоял у окна, потом снял ботинки и, не раздеваясь, лег на кровать. Что-то в иерусалимском воздухе возбуждало меня, хотя устал я до смерти.

Сначала мне трудно было уснуть еще и из-за того, что я был весь грязный — руки в черной краске, в волосах и бороде полно песка. Целую вечность не спал я в кровати. Я задремал. Бормотание учеников ешивы, их внезапные вскрики смешались с гулом морских волн, шумом моторов бронетранспортеров и беспроводных телефонов.

Прошло немного времени, я еще дремал, когда вошел мой сосед по комнате. Это был маленький старичок, тщательно одетый, в ермолке из красного шелка. Он встал у моей кровати и стал смотреть на меня. Увидев, что я только дремлю, он очень обрадовался и немедленно принялся болтать на идише, стараясь завязать со мной раз-

*Ученики вшивы

говор. Он никак не мог поверить, что я не понимаю идиш. Начал рассказывать о себе, но что — я не понял в точности. Что-то о том, что он приехал свататься к какой-то девушке, которую он собирается увезти отсюда за границу, а пока он проходит здесь серию каких-то обследований.

Он болтал, не переставая, ходил по комнате, забавный такой, отпускал сальные шуточки, словно нет в мире никакой войны, нет другой действительности, а существует лишь та, в которой он живет. Он почему-то был уверен, что я тоже приехал сюда свататься, и пытался дать мне несколько полезных советов. Как сквозь туман, помню я беседу с ним, иногда я думаю, что это был только сон, потому что после того, как он разделся, покрутился по комнате в своем великолепном белье, надушился, снова надел свой черный костюм, он исчез, и больше я его не видел.

Постепенно я погрузился в лихорадочный, тяжелый сон.

Когда я проснулся, было уже совершенно темно. Часы показывали девять вечера. Через кружевную занавеску, слегка колыхавшуюся от дуновения вечернего ветра, был виден темный силуэт Старого города. Царило полное безмолвие. Я все еще чувствовал себя слабым, дрожал от холода, как будто и не спал вовсе, и вдруг, странное дело, проснулась во мне тоска по пустыне, мне вспомнились лица нескольких ребят с моего бронетранспортера, которые теперь воюют на той стороне канала. Я открыл окно. В комнату ворвался чистый, опьяняющий, незнакомый иерусалимский воздух. Голова болит. Теперь-то я знаю, что тогда была у меня уже высокая температура, что начиналась болезнь. Но мне казалось, что голова моя болит от голода, потому что я ощущал страшный голод. Я надел ботинки, но сил зашнуровать их у меня не было, и пошел искать еду.

В ешиве было совершенно тихо и темно. Я бродил по этажам, по длинным коридорам. Потом открыл какую-то дверь. Она вела в маленькую комнатку, наполненную дымом сигарет, с закрытыми ставнями, и в ней два авреха

в легких рубашках с закатанными рукавами склонились над огромными фолиантами талмуда и шепотом спорили о чем-то.

Они, казалось, были недовольны моим появлением, показали мне, как пройти в столовую, и вернулись к своим талмудам. В столовой никого не было, скамейки лежали на столах. Молодая женщина в сером платье, с платочком на голове мыла пол.

Она чуть не закричала, когда я появился перед ней, словно привидение.

— Я тут новенький... — пробормотал я, — может, осталось что-нибудь поесть...

Я стоял перед ней, растрепанный после сна, в незашнурованных солдатских ботинках, в одежде наполовину праздничной, наполовину будничной, с непокрытой головой — все это напугало ее, но она пришла в себя, очистила мне место у стола, принесла большую ложку, тарелку с хлебом, тактично положила рядом с ней черную ермолку, ничего не сказав, а потом принесла огромную миску с жирным и густым супом, в котором было много овощей, клецки и куски мяса. Месиво, сдобренное специями, и горячее. Впервые за две недели ел я настоящую, горячую пищу.

Еда была до того горячей, что у меня из глаз потекли слезы. Суп этот был удивительно вкусным. А она в другом конце комнаты продолжала свою работу, украдкой поглядывая на меня. Тихонько приближалась, брала пустую миску и снова наполняла ее, улыбалась про себя ласковой улыбкой в ответ на мое горячее изъявление благодарности. Красивая женщина, только ничего нельзя было разглядеть, кроме ладоней и лица, все было закрыто.

Потом я встал, шатаясь от чрезмерной еды, вышел, даже не произнеся благословения, стал искать дорогу назад, к своей кровати, вошел в комнату и застыл, пораженный видом Старого города, который был совершенно темным, когда я вышел отсюда, а теперь весь в огнях.

В самой ешиве открываются ставни окон, и из них на улицу вырывается свет. Слышатся взволнованные голоса,

говорят о прекращении огня, и аврехи появляются со всех сторон в распахнутых рубашках, взволнованно бродят по двору, словно только что вышли из боя. Видно, я поторопился с побегом, ведь война все равно кончилась. Какое-то внутреннее спокойствие охватило меня. Я раздеваюсь, снимаю покрывало, собираю одеяла со всех стоящих в комнате кроватей. Свертываюсь калачиком, дрожа от лихорадки, голова разламывается от боли.

Две недели пролежал я в кровати. Какая-то странная болезнь напала на меня. Высокая температура, страшная головная боль и воспаление почек. Животная лихорадка — определил врач, лечивший меня, я, наверно, подцепил эту болезнь на берегу моря, где было полно коровьего помета. Они ухаживали за мной очень заботливо, несмотря на то, что я был для них чужим и непонятным. Однажды они даже собирались отправить меня в больницу, но я попросил, чтобы они оставили меня у себя. И они согласились. Хотя я доставлял им немало беспокойства, да и платить за мое лечение им пришлось немало. Ночью около меня оставляли дежурных — учеников ешивы, которые учили Тору и читали псалмы.

Болезнь смягчила переход от прежней жизни к их жизни, освободила меня и их от лишних вопросов. Прикосновение их рук, кормивших меня и стеливших мою постель, сделало их для меня более человечными. И когда через две недели я встал с кровати, слабый, но выздоровевший, с густой широкой бородой, я пристал к ним без лишних церемоний. Они дали мне еще одну смену черной одежды, хотя и подержанной, но в хорошем состоянии, пижаму и немного белья. Научили меня молиться по молитвеннику и нескольким законам из Мишны*. Тем временем они подобрали ключи к машине. Я уже обратил

*Законодательные сборники II века, составляющие основу Талмуда.

внимание, что они действуют очень эффективно и организовано, а, главное, очень дисциплинированы.

Таким образом стал я шофером ешивы, в основном шофером того старого раби, который принял меня в первый день. Я развозил масло для поминальных святильников в синагоги, возил маленьких сирот с длинными пейсами на молитву к Стене плача, возил мозля* к семье из их общины, поселившейся в новом районе, или участвовал в длинной и медленной похоронной процессии, следовавшей за гробом важного адмора**, тело которого было привезено из-за моря. Иногда меня посылали в район Шфелы отвезти в аэропорт посланца, отправлявшегося собирать деньги в странах рассеяния. Иногда перед рассветом я подвозил тайком, с притушенными огнями, аврехов, которые расклеивали афиши и писали на стенах пламенные лозунги, осуждающие безнравственность и легкомыслие.

Я познакомился с их каждодневной жизнью во всех подробностях. Они ведь жили обособленно в этой стране, в своем собственном, закрытом мирке. Иногда мне в голову приходила мысль, а не получают ли они электричество и воду от кошерных электростанций и водопроводов, предназначенных только для них.

Я прижился у них. Они прекрасно понимали, так же как и я, что в любое мгновение я могу покинуть их так же внезапно, как и появился. Несмотря на это, они относились ко мне с теплотой и не копались в том, что было странным для них. Они никогда не давали мне денег, даже бензин я покупал на талоны, которые получал от них. Но они обеспечивали меня всем необходимым. Одежду мою стирали и чинили, дали мне даже более подходящую обувь вместо солдатских ботинок, которые совсем истрепались. А главное — вдоволь еды. Тот самый жир-

*Совершающий обрезание.

**Так называли хасиды своих раввинов в знак уважения (сокращенное — господин, учитель и раби).

ный горячий суп, который мне так понравился в первую ночь, подавали мне каждый вечер без всяких изменений, правда, подавала его каждый раз другая женщина — они обслуживали учеников ешивы по очереди.

Постепенно отросли у меня и пейсы. Я не прилагал к этому никакого старания, они просто выросли сами собой, а парихмахер, который приходил каждый месяц стричь учеников ешивы и который стриг также и меня, не осмеливался коснуться их. Сначала я прятал их за уши, но потом перестал. Глядя в зеркало, я удивлялся, до чего же я стал похож на них, и мне было приятно убедиться, что и они тоже довольны этим.

Но это был предел. В более глубоком, духовном, смысле они не достигли таких уж успехов. В Бога я не верил, и все их занятия, касавшиеся веры, казались мне бессмысленными. Странно, что они чутьем понимали это и все-таки не приставали ко мне; они и не лелеяли чрезмерных надежд. В первые дни я еще задавал вопросы, которые выводили их из себя, и заставляли их бледнеть. Но я не хотел раздражать их и стал воздерживаться от излишних высказываний.

От утренней молитвы мне удавалось кое-как увиливать, но в вечерней молитве я участвовал.

Забывтый молитвенник в моих руках, губы что-то шепчут, я смотрю, как они раскачиваются, вздыхают, иногда бьют себя кулаками в грудь при заходе солнца, словно у них болит что-то или им чего-то не хватает, черт знает чего — галута, мессии. Но несмотря на это, они совсем не были несчастными, а наоборот, обладали свободой: им не надо было служить в армии и заниматься государственными делами. Ходят себе с удовольствием по объединенному Иерусалиму и с презрением смотрят на нерелигиозных, которые для них лишь что-то вроде обрамления и средства.

Зима была в разгаре, и работы было много. Старый раби все время разъезжал, очень довольный тем, что нашелся для него шофер с машиной. А я возил его повсюду — произносить проповеди, отпевать покойников,

посещать больных или встречать свою паству в аэропорту. Кружу по Иерусалиму, по Старому и Новому городу, пересекаю его с востока на запад, с севера на юг, все подъезды к нему изучил, все больше привязываюсь к этому необыкновенному, чудесному городу, не могу не смотреться на него.

Когда я привозил его в какую-нибудь ешиву на проповедь, то не оставался слушать его, тем более, что я все равно не очень-то понимал, куда он клонит, и мне все время казалось, что он раздувает несуществующие проблемы. Я снова садился в машину и ехал к тому месту, которое все больше и больше завоевывало мое сердце. На горе Скопус, около церкви Тур-Малка, открывался передо мной не только весь город, но и пустыня до самого горизонта, и Мертвое море. Там нашел я самую высокую, самую совершенную точку для обзора.

Сажу себе в маленькой своей машине, на которой еще видны следы от рук бедуинов из Питхат—Рафиаха, а дождь стучит по крыше. Я просматриваю религиозную газету "Ха-Модиа", которую всегда можно было найти у меня в машине, потому что ее бесплатно раздавали в ешиве, и узнаю о происходящих в мире событиях, которые освещаются с религиозной точки зрения, не совсем объективной, узнаю о продолжающейся перестрелке, о сомнительных соглашениях, вызывающих недоверие, о плаче и оплакивании, о гневе и спорах, словно война, которая закончилась, все еще гноится и нарывает, и из ее гниющих остатков уже появляются всходы новой войны.

А если так, то зачем же мне торопиться.

В конце концов дождь прекращался, небо прояснялось, я бросал газету, вылезал из машины, прохаживался вдоль церковной стены между лужами, по кипарисовой аллее, на моей голове черная шляпа (та, из пустыни), цицит развеивается на ветру. Смотрю на разорванные облака, плывущие над городом, слегка киваю головой арабам, глядящим на меня из темноты своих лавок. Я уже обратил внимание, что именно к нам, к евреям в черной одежде,

они относятся менее враждебно, словно мы выглядим более естественно в их среде или менее опасны.

Начинают звонить колокола, мимо меня проходят монахи, приветствуют меня наклоном головы. И я тоже, так они думают, по-своему служу Богу.

Арабские дети начинали ходить следом за мной, их очень забавляла моя черная одежда. Вокруг тишина. Передо мной расстилается мокрый, серый город. Моя черная машина стоит, как верная собака, на обочине дороги.

Если так, куда мне торопиться? К этой рыженькой, у которой находится список снаряжения, за которое я расписался и которое бросил в пустыне? К офицеру, который наверняка еще разыскивает меня со своим необыкновенным упрямством? К бабушке, которая лежит без сознания? (Я позвонил как-то раз в больницу узнать, нет ли изменения в ее состоянии.) Или к вам? Спрятаться в вашем доме, уже не в качестве любовника, а в качестве своего человека, зависящего от вашей милости, поработавшего все усиливающимися страстями.

Да, страсть не умерла. Было у меня даже несколько тяжелых дней. Не скрылись от меня взгляды, которые бросали на меня украдкой девушки общины. Я знал, что, если я только намекну старому раби, он сейчас же сосватает мне какую-нибудь. Они только и ждут от меня определенного знака, что я действительно связал с ними свою судьбу. Но я этот момент все еще откладываю.



Вера ЗУБАРЕВА

ИГРА ФАНТАЗИЙ

Лёд ночи на промытой мостовой
Осколками усеивает площадь.
Чуть отстраненный, будто бы не твой,
Витает ум над сонной головой,
Стараясь мысль к чему-то приурочить.

Восходит солнце ровно вдоль колонн
И мантией сметает со ступеней
Остатки деформированных теней,
Пытающихся съёжиться в поклон.

Погас и вспыхнул мраморный тупик,
Застыл фонтан, как одинокий дервиш.
И разорвав полночный черновик,
Как роскошь, дар безмолвия приемлешь.

* * *

Ничего, только ветер за окнами стих,
Только вечер взошел, и прибавился штрих
К одиночеству в комнате этой.
Перекинулся с улицы свет фонарей,
И запахи цветы перед смертью острей
Хищным запахом позднего лета.
Сломан день, и подтёк небосклон кое-где. Замыкание
краткое в старой звезде
Отключило кусочек вселенной.
Темный воздух слегка поиграл сам с собой
И надул занавеску, и кто-то живой
Зарождился под ней постепенно.

* * *

Вновь пасмурно с утра.
Покойный день вчерашний
Уже парит, как дух
Расплаты и дождя.
Готовые сыреть,
Податливые башни
Темнеют среди туч
Старинного литья.

В предчувствии воды
Отяжелели кроны.
Им так же, как душе,
Несносна эта кладь.
И снова тот же звук,
Напевный, монотонный,
Готовится сердить
И тешить, и ласкать.

Стихи во сне приходят легче.
И тем мучительней с утра
Тот поиск первобытной речи,

Не знавшей формы и пера.
Течёт не так, как мы предвидим,
Необычайна и проста,
Вне связи ни с одним событием,
Вне цели, словно красота.
Неповторима, непохожа
На всё, чем полон ум-школяр.
Она с утра томит, как ноша.
Она в ночи — как лёгкий дар.

* * *

Воздух утра рассёк глубину,
Где скрывались часовни и горы,
Разморозил с изнанки луну,
Потерявшую точку опоры.
Прояснились изгибы аллей.
Стрелки башенной бронзовый кончик
Звякнул в небо, и стало светлей,
И забил вдохновенно источник.
Тает мраморный цвет мостовой,
Облицованной в утренний иней,
И становится снова живой
Грациозность готических линий.

* * *

Дождь закончился. Настежь окно.
В занавеске запутались капли.
Ослепительно взмыло пятно
К потолку, и подтеки иссякли.
Хлопнул дверью весёлый сквозняк
И качнул отражения в раме.
Опрокинулась ваза, в слезах,
И огнем полыхнули все грани.
Две промокших пчелы на лету
Сговорились и тихо присели
Просто так созерцать красоту,
Вне трудов и не ведая цели.

* * *

День рассеян и странен, как гений
 На пороге грядущих идей.
 Перепады его настроений
 Изменяют лицо площадей.
 Многолюдно и тут же пустынно.
 Мир — сплошная арена дождя.
 Чей-то зонтик повален на спину
 И уносится, будто ладья.
 Всё подвластно безудержным струям,
 Мчатся лестницы и парапет.
 Проблеск солнца почти что безумен,
 И тем ярче в мозгу его след.
 Славен выплеск свободных фантазий,
 Бунт ума, отменившего мзду,
 Перед новым рождением связей
 И стремленьем творить красоту.

* * *

Бог сочиняет план.
 Голова его не прикрыва.
 Небо и океан —
 Два полюса одного магнита.
 Выпотрошенный краб
 Стал дворцом для морских насекомых.
 Важнее плана стократ
 Затаённый Божественный промах.
 Переполняется лист
 Постановками вечных вопросов.
 Бог — идеалист,
 Как любой прирождённый философ.
 Солнце меняет заряд.
 Небо вступает в климакс.
 Я наблюдаю закат
 Солнца — из плюса в минус.
 Лист превращается в сеть
 И ветром заброшен в звезды.

Хочется посмотреть,
 Что там. Но очень поздно.

* * *

Когда я жду, что ты придешь ко мне,
 Я думаю о следующем дне —
 С разорванными образами встречи,
 С косым лучом на мёртвой простыне.
 Я никогда не жду тебя назад,
 И я люблю античный этот сад,
 Где к каждому прохладному обломку
 Приникнет лоб, спасенный от утрат,
 Где наблюдает время-западня,
 Как спит в него попавшая ступня
 В текучих складках гипсовой постели
 От статуи любившего меня.

* * *

Что я придумала?
 Любовь — игра фантазий.
 Уйми фантазию, и будешь обречён
 На беспросветную рутинность связей
 И на мельканье судеб и имен.
 То полная моя негодность к здоровым,
 Практическим оценкам и делам,
 Пристрастие к пленительным отравам,
 Что озаряют весь любовный хлам.
 То полное моё непониманье,
 Как отделить предмет любви от глаз,
 Где сон и явь соседствуют на грани
 И сотворяют каждого из нас.

* * *

О, эта ветренная радость
 Новорожденного ума,
 О, жизни тщательная запись
 И многосмысленность письма,

Конец которого известен
 Кому-то рядом у плеча;
 О, мир, чей поиск бесполезен,
 О, жизнь, которая ничья,
 О, формул вычурные цепи,
 Сковавшие Творца язык;
 О, краткое великолепье
 Недописавшего дневник...

* * *

Нет повода грустить —
 В разлуке нет разлуки.
 Тон синевы утих,
 Где был чуть воспалён,
 И мартовской весны
 Одни и те же трюки
 Отладили земли
 Остывший павильон.
 Есть роковой симптом
 В отравленной свободе,
 С которой идёшь
 По сбитым мостовым.
 И тормозит твой шаг
 О каменные грозди,
 Где прожилки травы
 И люков терпкий дым.
 Март выслушал сердца
 И увеличил дозу
 Весенней остроты.
 Но охладевший ум
 К избыточности чувств
 Подмешивает прозу
 И этим кое-как
 Удерживает штурм.

Александр ШКЛЯРИНСКИЙ

МОЛИТВА

Снова гул моторов
 Словно малярия
 Бьет ознобом тело

ни пуха, ни пера!

Маша-стюардесса,

авиа-Мария,

Улетать пора.

Авиа-Мария...
 На земле ты просто
 Маша,

Машка,

Машенька —

(Кто как назовет);

Странное смешенье женщины с подростком —
 "Мисс Аэрофлот".

ГОРКА

Горка.
 Лед блеснит, как лава —
 Эскалатор ледяной...
 Ну, смелей —
 лавиной, ланью,
 Ласточкой лети за мной.
 Славно!
 Словно смыло возраст,
 Впали в детство —
 волшебство!

Милая,
 держишься за воздух —
 Вот опора на все сто.
 Снова,
 Как в далеких летах,
 Неустойчивости власть.
 Даже взрослым трудно это —
 Без поддержки не упасть.
 Только детство так полетно
 Время рвет своим плечом,
 Только детство беззаботно
 Не нуждается ни в чем —
 Ни совете, ни привете:
 Мчится, смеха полон рот...
 За зимой у детства лето,
 А у нас — наоборот.
 Дай мне руку...
 И без дрожи
 Пальцы с пальцами сведем.
 Раньше времени, быть может,
 Мы тогда не упадем.
 Скользко...
 Но каким-то чудом
 Долетаем до конца.

Горка...
 детство...
 и оттуда
 Два младенческих лица
 Светят...

ШЕСТИСТИШИЯ**СОН**

В поздний час моей работы
 На исходе всяких сил
 Ты войдешь в знакомых ботах
 И промолвишь: "Здравствуй, сын..."
 Брошусь, ткнусь, лицо упрячу
 И, как маленький, заплачу.

СМЕРТЬ

Смерть ушла, осталась боль,
 Боль оставила усталость...
 Море высохло, лишь соль,
 Да и та на дне осталась.
 В человеке все не вечно...
 Это ли не человечно?

ОДЕССА

М. Жванецкому

1

Перелески, перелески,
 Переплески леса...
 Роци темные, как фрески.
 Лето.

Самолет кренится набок,
Пауза в моторе...
Это ж надо, это ж надо —
Мо-о-ре!

Режут глаз чешуйным блеском,
Как при свете молний,
От Босфора до Одессы
Волны.

Берег медленно кружится,
Словно карусели:
Ниже, ниже — стынут лица —
Сели.

2

Развернись, раскрутись, распахнись, панорама,
Раскройся страницей Паустовского тома:
Здравствуйте вам, Одесса-мама,
Скажите, Одесса, вы сегодня дома?

Пыльные виноградники в каждом дворике,
Белье неореализма и детские крики...
Расскажите, Одесса, жива ли Двойра
И прочие все родственники Бени Крика?
Могут задать вопрос и "полегше":
Беня и Двойра — разве это фигуры!
Покажите, Одесса, где жил Олеша,
Незабвенный человечек русской литературы.
У вас нынче, Одесса, август. Лето.
Трамваи загорают на хаджибеевском лимане.
У памятника Воронцову пикейные жилеты
Говорят о тренере "Черноморца", как о Бриане.
Сыновья ваши, Одесса, прекраснодушны:
Что-то от мудрости реббе и пения канареек...
Любят с приличной девушкой потанцевать и поужинать

И не прочь заработать свои пару копеек.
Я знаю, что разыскивать тени глупо,
И все-таки не дает мне пребывать в миноре
На стене бывшего банка, а может быть, клуба,
Табличка с лаконичной надписью: "К Жоре".
От многих кровей или от солнца южного
Улыбка одессита, встречающего у трапа...
Нет ничего у Одессы ценнее юмора,
Дай Бог не умереть тебе, юмор-папа.

Издательство EFFECT PUBLISHING, Нью-Йорк

Григорий МАРК

„ГРАВЕР“

Григорий Марк — ленинградский поэт, до сих пор не напечатанный на Родине ни единой строчки, — стал широко известен читателям русского зарубежья по своим публикациям в журналах „Континент“, „Грани“, „Новый журнал“, „Время и мы“, „Стрелец“, газете „Русская мысль“.

„Искусство для Григория Марка, — писала газета „Новое русское слово“, — одна из высших форм служения Богу, бесконечный полет просветленной талантом души“. Новый сборник содержит исключительно яркие лирические стихотворения и миниатюры, которые представляют интерес для всех тех, кто любит и ценит настоящую, серьезную поэзию и внимательно следит за появлением в ней новых крупных имен.

Книга вскоре поступит на прилавки московских книжных магазинов.



Петр БОЛДЫРЕВ

НО ВЕЧНЫЙ ВЫШЕ НАС ЗАКОН

*Американские либералы против собственной
Конституции*

1

Американское издательство "Эрмитаж" выпустило книгу Владимира Ошерова "Но вечный выше вас закон. Борьба за Американскую конституцию".

Центральным пафосом книги является предупреждение об опасности т. наз. социального мечтательства. Оно было свойственно, по мнению автора, всем революционерам-ниспровергателям основ — от Наполеона, Гитлера, Ленина, Мао Цзедуня и Пол Пота до современной леволиберальной американской интеллигенции, старающейся "ниспровергнуть" собственную Конституцию.

В посткоммунистической России по пятам этой интеллигенции устремились некоторые слишком рьяные демок-

ратические реформаторы, старающиеся одним рывком перебросить только-только вылупившееся из тоталитаризма российское общество в "светлое будущее" демократии и рынка. Какое же собственное видение противопоставляет такому ходу событий автор?

Авторская аргументация начинается с широко известной пушкинской строки из оды "Вольность", вынесенной в заголовок. Сразу становится ясным, что противоядием социальному мечтательству и утопическому реформаторству (не важно, идут они сверху или снизу) является — **з а к о н**. Понимаемый отнюдь не в смысле такого законодательства, которое навязывается нации как якобы лучшее из всех мыслимых, но лишь в качестве юридического начала, упорядочивающего нравственные и религиозные представления народа.

Американская конституция является здесь уникальным интеллектуальным достижением. По известному сравнению лорда Гладстона: если Британское законодательство явилось лучшим созданием и с т о р и и, то Американская конституция — лучшее творение у м а. Это было "чудо в Филадельфии", как восхищенно выразился один из с о з д а в ш и х его "чародеев", 1-й Американский президент Джордж Вашингтон.

Истоки "чуда" коренились в том, что американские отцы-законодатели оказались тонкими знатоками человеческой природы, оценивая ее по простой формуле Св. Августина: "Душа человеческая — по природе христианка". Именно поэтому многие из них были глубоко убеждены, что только христианская доктрина, с ее верой в грехопадение и искупление, способна к обоснованию общественной морали, стоящей на чувстве личной вины и ответственности. В противном случае человек, как у Руссо, объявляется изначально непорочным, никогда и ни в чем не виноватым, ни перед кем и ни перед чем не ответственным. Виновными во всех бедах становятся уродливые общественные отношения, бестолковые политические институты, несправедливое законодательство, грабительский денежно-рыночный обмен... Одним сло-

вом, все, что угодно, но только не умственное и эмоциональное состояние человека, не его нравственный настрой. Так низводится сама идея морального закона и его социальное следствие — императив самоограничения. Остается лишь революционно-террористическое своеволие и его обратная сторона — правительственный деспотизм. Неумолимо расчищается дорога к диктатуре и тирании, что также прекрасно понимали американские отцы-законодатели.

И постарались введением своей конституции это предотвратить. Их задача неизмеримо облегчалась тем, что христианство к тому времени уже являлось общей и единой для всего американского народа системой религиозных и моральных ценностей. Причем в том характерном для Америки виде, который впоследствии Алексис де Токвиль определил как демократический и республиканский. Такая религия, как тонко заметил де Токвиль, не давала американцам вкуса политической свободы, но служила необходимым условием ее защиты и удержания. И де Токвиль обобщает на основании своих глубоких размышлений над американским опытом:

"Я сомневаюсь, что человеку дано быть одновременно безрелигиозным и политически свободным. Мне кажется, что если человек безрелигиозен, он лишается свободы; а если он хочет быть свободным, он должен быть религиозным."

В этом и состоял, по де Токвилю, урок "политической геометрии", преподанный миру в конце XVIII века молодой демократией Америки.

Отход от этого принципа — после длительного периода социальной гармонии XVIII—XIX вв. — с последующими, все более частыми попытками пересмотра Конституции, — вот что явилось историческим грехом американской леволиберальной интеллигенции. И основным источником всех современных бед Америки.

Читая книгу, невольно вспоминаешь знаменитое раннеславянское речение "Запад — страна святых чудес".

И если Американская конституция — одно из этих чудес, то американская история, особенно последнего пятидесятилетия, является поистине д е с а к р а л и з а ц и е й "чуда". Это происходило путем выхолащивания христианского духа Конституции, подмены его т. наз. легализмом. Л е г а л и с т ы поклоняются букве закона в ущерб его религиозно-моральному духу.

2

Фетишизация закона означает, что с ним обращаются примерно так же, как обращается дикарь со своим всемогущим амулетом, защищающим его от злых духов и коварных враждебных сил. Интеллигент же заклинает "злых духов" и всех, с ним не согласных, именем закона. Так во время оно производили обыски и арестовывали "именем республики", "именем партии", "именем короля"...

Но как только выясняется, что амулет бесполезен, что закон не способен усмирить несогласных и подавить врагов, как все эти талисманы тотчас впадают в немилость, безжалостно уничтожаются, выбрасываются "с глаз долой и из сердца вон". Их место занимают другие, по образу и подобию предыдущих.

Подобными сменяющимися друг друга "талисманами" и являются многие законы для либерала, фетишизирующего право как таковое. Отсюда проистекает столь характерное для многих американских либеральных юристов, т. наз. "юридическое творчество", которое часто обретает форму некоего социального реформаторства. Это когда с законами обращаются как с отслужившими фетишами и интерпретируют их не согласно их религиозно-моральному духу, закрепленному в конституции, а сугубо формально, в зависимости от мнения отдельных судей. А те, забывая о своей объективной третьей роли (вспомним образ Фемиды-правосудия с завязанными глазами), начинают действовать с оглядкой на преходящее обществен-

ное мнение, формируемое теми же либералами с помощью средств массовой информации.

В наиболее чистом виде это юридическое квазитворчество проявляется в деятельности американского Верховного Суда — монопольной, не подотчетной избирателю высшей судебной инстанции, пожизненные члены которой рекомендуются Президентом и утверждаются Сенатом (в основном, по идеологическим и политическим соображениям). Автор разворачивает перед нами убедительную картину постепенно нарастающей с начала XIX в. силы Верховного Суда, его верховенства над двумя другими "ветвями" власти.

"Творчество" Верховного Суда выражается в таких "перлах", как, например, открытие новых "фундаментальных прав" (сверх содержащихся в Конституции) — вроде "фундаментального права на аборт", бессмысленного "права на частную жизнь" и т.д. Главное же — это фактическая отмена традиционных принципов иудео-христианской этики как основы закона в пользу должной правовой процедуры. А начиная с 1953 года, при Главном судье Эрле Уоррене, как особо отмечает автор, Верховный Суд вообще стал регрессировать в сторону идеологии либерального социализма. Этот процесс достиг своего апогея при ультралиберальном президенте Джимми Картере во второй половине 70-х гг. Что, в конце концов, вызвало здоровую реакцию американской публики в виде мощного корневого движения под знаменем религиозного фундаментализма.

При поддержке фундаменталистов в 1980 г. 40-м американским Президентом был избран (а в 1984 переизбран) консерватор Рональд Рейган. Он несколько выровнял баланс в Верховном Суде, проведя туда ряд консервативных судей. К сожалению, при его преемнике Буше фундаменталистское движение оскудело и к началу 90-х гг. практически сошло на нет. Это привело к немедленному реваншу либералов, которым удалось, с помощью все той же "масс-медиа", привести к победе на президентских выборах 1992 г. своего ставленника (под

маской "умеренного либерала") "Биллари" Клинтона. Создалась ситуация, когда Верховный Суд может оказаться накануне нового, возможно еще более резкого, полевения.

3

Кто же такие либералы, представляющие угрозу традиционным устоям Америки? Этому вопросу посвящена в книге целая 6-я глава.

Мы уже отмечали, вслед за автором, свойственное либералу-интеллекту чувство собственной непогрешимости. Здесь, пожалуй, к месту вспомнить Ювенала: "Nos volo; sic jubeo, sit pro ratione voluntas" — "Я этого хочу, так я велю, пусть доводом будет моя воля".

Оборотной стороной является еще одна малоприятная либеральная черта — социальное отщепенство, в р а ж - д е б н о с т ь по отношению к существующей культуре. Автор очень удачно ссылается здесь на широко известного судью Роберта Борка, в свое время павшего жертвой либерально-интеллигентской травли во время сенатского обсуждения его кандидатуры в Верховный Суд.

Мнение Борка о либеральной интеллигенции удивительным образом перекликается со словами выдающегося русского политического мыслителя П.Б. Струве, взятыми из сб. "Вехи" (1909) и также приводимыми автором. Струве четко констатировал разрушительные социальные инстинкты русской интеллигенции конца XIX — нач. XX веков, нашедшие свой апогей в большевистской катастрофе. Неудивителен горький, но во многом справедливый вывод самого автора: "Ведь то, что происходит сейчас на Западе, произошло в России сто лет назад".

Вспоминается в этой связи еще один диагноз болезни либерального сознания, поставленный замечательным испанским философом Ортегой-и-Гассет еще в середине 30-х гг. Болезнь эта — кризис веры в разум. Аргументация Ортеги сводится к следующему.

В общем плане, вера-верования, по Ортеге, — это

основа нашей жизни. Это данность, в которой мы живем, и в чем мы не сомневаемся. Вера в разум и его всемогущество была центральной среди верований западной цивилизации, начиная как минимум с Декарта. С конца XVIII в. начался кризис этого верования, продолжающийся до сих пор.

Кризис верования порождает вечное раздвоение — двусмысленное и потому мучительное состояние, от которого стараются избавиться. Сомневаться, — говорит Ортега, — значит пребывать одновременно в двух мирах, в двух верованиях, исключаящих друг друга. Это значит бросаться из крайности в крайность, что выбивает у человека почву из-под ног. И в ситуации, когда нормальное верование, действительность, реальный мир исчезают "в пучине сомнения", человек хватается, как за соломинку, за свое воображение и создает иллюзорную "реальность" — мир идей. Куда могут входить научные, художественные, религиозные, философские, политические и все прочие "фундаментальные" идеи.

"Прорехи в наших верованиях, — пишет Ортега в работе "Идеи и верования", — вот те бреши, куда вторгаются идеи. Ведь назначение идей состоит в том, чтобы заменить нестабильный, двусмысленный мир на мир, в котором нет места двусмысленности. Как это достигается? С помощью воображения, изобретения миров. И д е и — э т о в о о б р а ж е н и е " (разр. моя — П.Б.).

Необходимо, предупреждает Ортега, иметь в виду, что наша вера в разум не является верой в его интеллектуальные продукты — идеи. С другой стороны, веру в разум нельзя отождествлять с различными концепциями по поводу разума. Хотя бы потому, что вера в разум вполне определена; в то время как концепции весьма изменчивы и неопределенны. Так что если бы мы верили в эти концепции, как раз их непрестанная смена привела бы к утрате веры в сам разум.

Итак, мы верим в разум, а не в его идеи. Идеи же, не являясь предметом веры, всегда проблематичны, и как таковые нуждаются в интеллектуальной демонстрации и

доказательствах. В противном случае они превращаются в предмет идолопоклонства, в комбинацию псевдознания и псевдоверы, псевдонауки и псевдорелигии. То есть, короче говоря, превращаются в системы и д е о л о - г и и . Кульминацией идеологического идолопоклонства со 2-й половины XIX в. и вплоть до недавнего времени был, конечно, марксизм. А главной жертвой — российская радикальная интеллигенция.

Западные же либералы, хотя их вера в разум резко ослабла за последние 200 с лишним лет, тем не менее не подменили ее столь безоглядно идеологией, как это произошло в России. Во Франции, например, в конце XVII века считалось общим местом верить в абсолютную способность разума познавать реальность. Но и почти через 200 лет, как отмечает Ортега, позитивистская интеллигенция в той же Франции, разуверившись в абсолюте, все еще продолжала трактовать разум как знание достоверное, хотя и относительное.

Несмотря на известное увлечение марксизмом, западной интеллигенции в общем и целом удалось избежать массового оболванивания этой идеологической доктриной. Более того, стала постепенно восстанавливаться западно-европейская либеральная традиция веры в разум — в виде "жизненного", "исторического", "структуралистского" и прочих его форм. Тогда как на евразийских просторах образованщина-интеллигенция, вплоть до недавнего времени, оставалась в плену марксистской идеологии, — этой крайней формы идолопоклонства перед всемогуществом идей.

Что касается американских либералов, то они, согласно логике приведенного анализа Ортеги, исторически как бы "застряли" где-то "между Европой и Россией", между 60-ми гг. XIX и началом XX века. Они явно переплонули — по части сомнения в р а з у м е — европейских интеллектуалов-позитивистов, но так и не добрались — по части веры в и д е и — до тотальной идеологической веры российских марксистов.

4

Однако социальное мечтательство американских либералов и вытекающее из этого социальное псевдореформаторство, борьба не за Американскую конституцию, а скорее против нее — все это представляет весьма большую опасность для свободы в Америке. Прав известный английский историк Пол Джонсон, слова которого цитирует автор: "Худший из всех деспотизмов — бездушная тирания идей". И еще более прав сам автор, добавляющий: берегитесь социальных мечтателей — вроде "кремлевского мечтателя" и его, правда, бледноватых, но все же достаточно опасных западных собратьев.

Разумеется, до Ленина — "вождя мировой пролетарской революции", расколовшего, а затем вообще уничтожившего традиционный российский порядок, — всем этим левым компиляторам очень далеко. Но и они довольно эффективно раскалывают американскую нацию, вырывая глубокую пропасть между собой и большинством традиционно, по-христиански настроенных американцев. В этом смысле даже ленинский марксизм в России, как это ни парадоксально, не был так вредоносен. Ибо в дореволюционной России просвещенное христианство как систематическое учение не пустило в народе столь глубокие корни, как в Америке. Последнее не позволило воспитывать в подлинно христианском духе полуязыческие и бесправные массы России. Основная причина здесь, как считает автор, — недостаток всеобщей грамотности в народе. Образованные же классы, как правило, довольствовались лишь внешней и поверхностной вестернизацией. К этому необходимо добавить и некоторые черты русской православной церкви, в частности, ее традиционный сервилизм перед деспотическим государством и недостаточное внимание к народной нравственности, да и вообще к ценностям светской культуры.

И когда в России произошла катастрофа и началась насильственная инъекция в народное сознание атеисти-

ческого марксизма — это не вызвало столь резкой реакции, как в случае конфронтации либерального меньшинства с христианским консервативным большинством в Америке. Здесь конфронтация выразилась в расколе американского общества, что сейчас воспринимается как общепризнанный факт. Недаром столь популярным был в 80-е гг. крылатый каламбур Рональда Рейгана об инициаторах этого раскола — социалистах-либералах: They went so far left that they left America — "Они настолько полевели, что оказались вне Америки".

5

Социальное отщепенство либералов становится еще более опасным в сочетании с атрофией исторической памяти. Она вытекает из свойственной либералу, как уже отмечалось, утраты веры в разум и подмены ее идеологической верой. А последняя, как истина в высшей инстанции, осуществляет немедленную интерпретацию всего того, что должно произойти. Так что становится попросту лишней апелляция к прошлому: интеллигент уверен, что "истина" в виде идеологии у него всегда под рукой. Получается почти как у гетевского Фауста: "Остановись, мгновение!" Но не потому, что ты прекрасно, а потому что идеологически декретировано и потому обязано быть.

Разрыв с историей сопровождается презрением к традиции — забвением, как говорит Ортега, той простой и великой истины, что человек — это прежде всего — наследник, который проживает оставляемый предыдущими поколениями капитал. "Большую часть самого себя, — пишет Ортега, — человек наследует от предшествующих поколений и поступает в жизни как сложившаяся система верований". Отсюда следует, что "осознать себя наследником — значит обрести историческое сознание". Вот такого сознания и лишен потерявший чувство преемственности поколений, разорвавший с прошлым либерал-интеллигент.

Неудивительно, что этот направленный не только в прошлое, но и в будущее разрыв традиции порождает историческое нетерпение, стремление получить все сразу. Отсюда либерально-интеллигентское пренебрежение творческим ожиданием предназначенного момента времени "кайроса", как определил бы Пауль Тиллих. Этот заимствованный из греческого термин в русском переводе соответствует весьма неприятной, но очень точной и мудрой пословице "всякому овощу свое время"...

Не приходится удивляться также тому, что порвавший "дней связующую нить" либерал старается подавить свою тревогу и найти компенсацию в чем-то другом — метафизическом и вневременном социальном чуде. Его он пытается, как тень отца Гамлета, вызвать из небытия и воскресить. А себя видит в роли социального мага-чудотворца. На эту характерную черту интеллигентского сознания тоже обращает внимание автор.

Но чуда — "без Бога", как он замечает, — увы, не происходит. И отчаявшийся интеллигент прибегает к идеологическим заклинаниям, предназначенным вызвать к жизни прокламированные идеологией псевдочудеса: от нерушимой социальной гармонии и общества всеобщего благоденствия до коммунистического рая на земле. Или, скажем, до рыночной экономики в разоренной коммунистическим режимом стране всего через 500 дней после его крушения...

6

Разрыв с прошлым чреват в еще одном отношении: он вычеркивает из нашего исторического разума самое главное — память об ошибках прошлого. А ведь все, чего мы добились, говорит Ортега, мы добились ценой ошибок, — и это единственное, что у нас есть. "Ошибаясь, мы постепенно сужаем круг поисков и приближаемся к цели, — продолжает испанский философ. — Очень важно сохранить в памяти ошибки, ибо они — история" ("Идеи и верования").

Нарцисстическое и влюбленное в себя сознание либерала-интеллигента — внеисторично. Ему и невдомек, что историческая память, как и религиозное восприятие, должна быть "апофатичной", то есть идти от обратного: подобно тому как мы различаем священные предметы не столько по наличию в них святости, сколько по отсутствию в них профанности, — которую надо сперва определить. Так и в историческом прошлом необходимо в первую очередь запомнить то, что было плохо, чтобы в будущем появилась надежда на более легкую, лучшую, достойную жизнь.

Моральная предпосылка такой способности узнавать и признавать ошибки — прежде все свои, своей нации, народа, а уж потом чужие — с религиозной точки зрения очевидна. Как сказал еще Чаадаев: "Между мной и истиной стою я сам". Предпосылка эта, как мы уже говорили, — в религиозном признании греховности человека, его преимущественной склонности заблуждаться, впадать в иллюзии, поддаваться обману и самообману.

Альтернатива такому признанию — самообожание и идолопоклонство, создание человеком кумиров по образу и подобию своего греха. Либеральный интеллигент — с его отрицанием христианской доктрины о первородном грехопадении и вытекающего отсюда требования морального смирения, — этот интеллигент неотвратимо является "первородным" идолопоклонником, "Ветхим Адамом" кумиротворства. Поистине, неудачливым строителем все новых и новых Вавилонских башен, всегда в конечном итоге посрамляемых.

В этом смысле выглядит сомнительной рекомендация для посткоммунистической российской интеллигенции вернуться к тому "запоздалому Ренессансу христианской мысли, выражением которой были Достоевский, Вл. Соловьев, веховцы, Бердяев, Федотов, Булгаков, Флоренский". Вряд ли он сейчас глубоко привьется, этот Ренессанс. По той же, между прочим, причине, по которой марксизм, наоборот, привился. В силу традиционной неразвитости, инфантильности религиозного сознания рос-

сийской интеллигенции, тем более после семи с лишним десятилетий атеистической обработки коммунизмом.

Правильно замечает автор, что на Западе интеллигенция (сравнимая по уровню с приведенными выше российскими именами) уже задолго до начала XX века отказалась от религиозности, по крайней мере в областях политической и социальной. Но этот факт, к сожалению, не значит, что в дореволюционном Серебряном веке мы имели панацею от всех, идущих от интеллигентского боготорчества российских бед. Ибо и сам Серебряный век, по мнению многих выдающихся православных богословов, был не совсем христианского корня. Много в нем было "богоискательства", "романа с Богом", открытости к мифам вместо искренней христианской веры.

7

В интересующем нас аспекте миф — это не более чем психологическая защитная реакция на так называемые репрессивные неврозы, порожденные экзистенциальной тревогой по поводу неопределенности, проблематичности нашего бытия. "Реальность человека, человеческое в человеке, — говорит Ортега в работе "Положение науки и исторический разум", — это не его тело и даже не его душа, а его жизнь, то, что с ним происходит. Ибо у человека нет природы, у него есть... история. Нет смысла говорить о камне, что "с ним происходит" падение к центру Земли, ибо камень это только камень. Его сущность в гравитации. У человека нет сущности, нет определенной постоянной консистенции. Если с камнем происходит то, что он уже собой представляет, то человек, напротив, есть то, что с ним происходит. Его сущность как раз заключается в бесконечном драматизме, постоянных превратностях судьбы...".

Платой за драматизм жизни и является репрессивный невроз. Он так же неустраним, как неустраним сам этот драматизм. Ибо для устранения невроза необходимо сперва убедиться, что превратности судьбы более не

угрожают; а существенным доказательством отсутствия этой угрозы является устранение невроза. Получается порочный круг. Здесь и выходит на авансцену миф. В качестве иллюзорного прорыва этого круга, воображаемого катарсиса. То есть в качестве неподлинного, подменного устранения тревоги путем "проигрывания" в душевной сфере тех желаний, реальное исполнение которых ужасает человека. Рассмотрим любой миф с этой точки зрения, и мы сразу убедимся, что все без исключения мифические персонажи принадлежат к тому же миру, что их невротические желания. Вот вроде желания Гамлета отомстить за убийство своего отца. Или желания Эдипа наказать себя за отцеубийство.

В отличие от мифологического переживания, религиозная вера не является попыткой бегства в репрессивный невроз. Напротив, это попытка найти решение в пределах реальной жизни, не сужая ее границ до сферы ирреальных, мифологических структур. В этом смысле вера — это попытка принять проблематичность жизни (вопреки радикальной неприемлемости этого принятия). Согласно знаменитому определению Пауля Тиллиха в работе "Мужество быть":

"Вера — это состояние условного, конечного бытия, схваченного силой бесконечного бытия. Мужество быть является выражением этой веры. Мужество быть — это сила самоутверждения бытия вопреки тотальной угрозе небытия. Вера — это переживание, опыт этой силы."

Как видим, вера в таком понимании не имеет ничего общего с предметами воображаемыми, напротив — с предметами сугубо реальными. Она имеет дело с радикальной реальностью, которая и есть жизнь. А с предметами воображаемыми имеют дело не вера, а идеология с мифологией. Первая в е р и т в реальность воображаемых объектов и придает им онтологический смысл. Вторая в такой вере не нуждается и ограничивается лишь изменяющимся п с и х о л о г и ч е с к и м состоянием.

Важно то, что и вера, и идеология обнимаются довольно неопределенным, но более или менее правильно пере-

дающим их суть понятием "интеллектуальная деятельность". И это дает, как говорит Ортега, основание для противопоставления им обеим сферы т. наз. "практического действия". На самом деле это и есть сфера, радикальным выражением которой является религиозная вера. Как говорится, "вера без дел мертва". Или еще лучше: "В начале было дело", которое и было верой.

8

"Дело человеческое — всегда опосредовано. Обществом и культурой, в которые с рождения и до смерти погружен человек.

"Жизнь сама по себе и всегда — кораблекрушение, — говорит Ортега в эссе "В поисках Гете". — Терпеть кораблекрушение не значит тонуть. Несчастный, чувствуя, с какой неумолимой силой затягивает его бездна, яростно машет руками, стремясь удержаться на плаву. Эти стремительные взмахи рук, которыми человек отвечает на свое бедствие, и есть культура — плавательное движение. Только в таком смысле культура отвечает своему назначению — и человек спасается из бездны... Сознание потерпевших крушение — правда жизни и уже потому спасительно".

Это "сознание", эта "правда жизни" и составляет религиозную веру. Культура, таким образом, религиозна по своему существу. Устанавливается интимная триединая связь между культурой, религией и свободой. Вспомним де Токвиля: если человек безрелигиозен, он лишается свободы. И вычеркивает себя из культуры — можем мы теперь добавить от себя.

Именно постепенной, но неуклонной атеизацией американского общества объясняет автор современный разгул либерализма в Америке и засилье в общественном сознании левых иллюзий-идеологий, местами с перегибами в откровенный социализм.

Атеизация — это следствие разделения общества и религии с пагубными последствиями для обоих, а с ними и для культуры.

И главная причина здесь, как ни парадоксально, кроется в самой лучшей демократической и республиканской Конституции США. Как считает автор, все дело в том, что отцы-основатели "постеснялись"-таки открыто заявить о своих христианских взглядах. Постарались — по крайней мере формально — отделить Основной закон страны от религиозной веры ее народа. Скрыли религиозный характер американской демократии. "Будь в Конституции США *прямое провозглашение христианского характера* американского общества, никаким самым ловким и упорным атеистам не удалось бы добиться того, что произошло в Америке во второй половине XX века", — справедливо замечает автор книги "Но вечный выше нас закон".

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

Цикл с поэтикой аллитераций и смысловой игры, словотворчества и номинативной краткости.

Факсимильное издание рукописи:
13 отдельных листов в папке
на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных автором экземпляров, из которых для продажи предназначена только часть

14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора

**по адресу:
Felix Roziner
866 Beacon Str. Apt. 2
Boston, MA 02215, USA**

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

АМЕРИКАНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИСКУССТВО И КАК НАРКОТИК

Слушание это, проходившее в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса*, назревало давно и, казалось, могло вылиться в общественный скандал, нанеся удар по самим устоям американского коммерческого телевидения. Скандала не произошло. Да и никакого тревожного положения не обнаружилось. Хотя и разгорелась довольно оживленная дискуссия. Однако изложим все по порядку. Итак, темой дискуссии, которая должна была привлечь внимание публики, являлось "Насилие на экранах американского телевидения". Выступления конгрессменов, задававших тон, сводились к тому, что многие ведущие телекомпании Соединенных Штатов предлагают телезрителям ленты, в которых на их головы обрушива-

ются картины жестокого, необузданного насилия, а последнее не может не оказывать отрицательного воздействия на воспитание молодого поколения американцев. Приводились цифры, сколько времени американские дети проводят у телевизора, на экранах которого демонстрируются картины изощренных убийств, изнасилований, грабежей и садизма, и тут же демонстрировались фильмы, не оставлявшие сомнений, что предмет этот не может не волновать родителей, школьных учителей, органы просвещения, полицию. В результате как бы напрашивался недвусмысленный вывод: в ряду многих факторов, способствующих росту в стране преступности, отнюдь не последнее место занимает коммерческое телевидение, преподносящее молодежи не лучшие рецепты человеческого поведения.

Телевидение ни при чем — виновато само общество

Следует отдать должное хладнокровию представителей ведущих телекомпаний. Даже не столько тон их выступлений, уверенный и часто спокойно-ироничный (кто может себе позволить вмешиваться в деятельность телевидения? Кто в нем что-то понимает? Критики? Бюрократы из ведомства культуры? Конгресс?), — так вот, не столько тон, сколько логика их выступлений, их мотивировки выглядели настолько неопровержимыми, что, кажется, в распоряжении конгрессменов вообще не осталось убедительных аргументов. Вот они, эти резоны. Во-первых, сама постановка проблемы насилия на телевизионных экранах бессмысленна, поскольку в ней поменялись местами причины и следствия. Что такое телевидение? Это прежде всего средство массовой информации, отражающее события, происходящие в жизни. Но если действительность полна насилия, то совершенно естественно, что мы его видим на телевизионных экранах. Неужели все это умалчивать? В чем же тогда смысл первой поправки к кон-

*В дальнейшем для краткости упоминается "Слушание в Конгрессе"

ституции, провозглашающей свободу печати и информации?

Во-вторых, если речь о кино, создаваемом по законам искусства, то ведь искусство в свободном мире не может подвергаться никаким цензурным ограничениям, коли мы не хотим снижать силу его воздействия. Искусство само выбирает средства своего влияния. И, наконец, (это "наконец" тоже было пущено в ход) в свободной, демократической стране у гражданина есть ничем неограниченное право в любой момент отказаться от услуг телевидения: пусть нажмет на кнопку ремонт-контроля, и немедленно отпадает сам вопрос о каком-то влиянии телевидения. И что же выяснилось в итоге? Выяснилось, что после обмена мнениями между законодателями и телекомпаниями оказалось невозможным вообще принять решение. Но поскольку чем-то заключить надо было, то и заключили... рекомендацией ввести в практику телекомпаний так называемые "лейблы", оповещающие родителей о нежелательности присутствия детей при показе телефильмов, содержащих насилие. Вот и все. Итак, четвертая власть (как называют в Америке телевидение) играючи отбилась от нападков, на этот раз она оказалась неприкосновенной не только для критики, но и для самих законодателей Соединенных Штатов. Стороны приступили к очередным делам, ничем не выдав своей обеспокоенности положением дел, хотя так и не была сформулирована никакая из проблем коммерческого телевидения.

Коммерция и искусство

Оставим в стороне риторику на тему: что первично и что вторично в программах телевидения — то есть являются ли телеужасы результатом стараний продюсеров или они зеркальное отражение жизни? Мне кажется, что ссылки на жизнь — это просто некорректный прием в споре, ибо в качестве аргументов приводятся вещи, совершенно недоказуемые.

Но если и принять за истину то, что искусство лишь

отражение жизни (некий соцреализм на экранах коммерческого ТВ), то вовсе лишается смысла следующий аргумент телекомпаний — что насилие на телеэкранах это неотъемлемая сторона искусства, которое самоценно и не должно подвергаться цензуре. Одно из двух — или искусство простой слепок жизни, или оно самоценно и развивается по собственным законам. Одно не дополняет, а скорее отрицает другое. Странно, что это бросающееся в глаза противоречие не было замечено в ходе дискуссии.

С другой стороны, можно было понять и протесты телекомпаний — ибо сама постановка в Конгрессе вопроса о насилии на телеэкранах чем-то отдавала: печальной памяти партийными директивами типа решения ЦК КПСС о журналах "Звезда" и "Ленинград". Де, следовало бы ставить фильмы не так, как это делаете вы, а совсем по-другому, чтобы они не оказывали отрицательного воздействия на молодежь. Так, собственно, бывает всегда, когда слово берут бюрократия и правители, особенно, если речь идет о такой специфически тонкой материи, как искусство кино.

Начнем с того, что насилие на экране — не есть открытие американского телевидения или кинематографа, а есть явление интернациональное, которое уходит своими корнями в кризис современной цивилизации и ее нравственных основ, в специфику современного киноискусства. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к классикам мирового кино, таким как Бертолуччи, Курогава, Лелюш. Бессмысленно заводить разговор о том, присутствует ли в их работах насилие. Просто все они, пользуясь своими художественными приемами, являются творцами настоящего искусства, а не дешевых рыночных суррогатов. Можно, например, сказать, что "Последнее танго в Париже" — это фильм о сексуальных извращениях, а можно сказать, что это лента о драме современного человека, мятущегося между жизнью и поджидающей его за каждым углом смертью. Дело совсем не в том, что в американских телефильмах много или мало

насилия, а в том, являются ли эти работы, вообще, искусством, или стоят за его пределами.

В дни, когда в Конгрессе заканчивалось слушание, в Нью-Йорке начинался фестиваль французских фильмов, устроенный в "Вальтер рид театре", расположенном в двух шагах от Линкольн-центра. Тема фестиваля была обозначена так: "Mystery, Crime & Suspense" во французском кино 1931-1992. В программу вошли многие нашумевшие в свое время французские трейлеры (например, "Фингермен", "Ля Баланс", "Полис") в которых, если говорить чисто формально, насилия ничуть не меньше, чем в американских телебоевиках, демонстрируемых во время Слушания в Конгрессе. Но вряд ли какому-то здравомыслящему французу могла прийти в голову мысль о влиянии этих лент на рост преступности или психологию молодого поколения. Причина та же: в упомянутых французских фильмах мы имеем дело с искусством, в то время как "шедевры", демонстрируемые, скажем, по каналам "Эйчбио" и "Синемакс", никакого отношения к искусству не имеют, они рассчитаны на успех у массового, невзыскательного зрителя, на успех у толпы, и хоть часто сопровождаются великолепной работой операторов, художников, гримеров, машинистов, при всем своем техническом совершенстве остаются дешевым кичем.

Во французских фильмах мы видим пластичные, живые характеры, созданные талантом блестящих мастеров кинорежиссуры (например, такими как Трюффо, Джин Пьер Мельвил, Боб Свэйм). Пусть их герои гангстеры, отпетые убийцы, мафиози, пимпы — сидевшие в зале не могли не сопереживать происходящему — они или симпатизировали героям, или презирали их, или ненавидели, но не оставались равнодушны. Насилие здесь выступало как функция искусства и оказавшиеся под его обаянием зрители часто даже не замечали приемов авторов — это как раз и было то искусство, к принципам которого апеллировали телевизионные компании на Слушании в Конгрессе. Но сколь далека была эта риторика от их собственной практики!

В американских телебоевиках чаще всего действуют бестелесные, бездумные тени (хоть и выступающие в лице красавцев-суперменов). Мы не знаем, кто создает эти шедевры? Кто их сценаристы? Кто режиссеры? Перед нами дело рук безвестных и бездарных ремесленников, чьи "творения" настолько похожи друг на друга, что их содержание забываешь тотчас, как выключаешь ремонт-контроль, хотя только что происходили жестокие убийства, изощрялись в коварстве вампиры и сексуальные маньяки, то и дело на месте перестрелок возникали кровавые бани. Лично меня от всего этого охватывает бесконечная скука, а один знакомый американец недавно рассказывал, что всякий раз, когда его одолевает бессонница, он включает 14 канал (Эйчбио) — и не проходит пяти-десяти минут, как его охватывает сладкая дрема.

Ну, хорошо, это — я, родившийся и выросший в другом мире, это мой знакомый, хоть и полвека назад, но все же приехавший из Варшавы. Замечу, что в "Вальтер рид театр", где состоялся фестиваль французских фильмов, чаще всего приходили люди пожилые, и, судя по разговорам, в основном опять же европейцы, эмигрировавшие когда-то в Америку. А что же американцы? Американская молодежь? Американские дети? Как показывают опросы, они и есть самые страстные любители "кровавых трейлеров", просиживающие у телеэкранов по многу часов в день.

Что же их занимает?

Увы, поклонников и ценителей настоящего искусства вообще не так уж много. Настоящее искусство, будь то кино, литература или театр, требует от его потребителей работы мысли, иногда даже очень напряженной работы. Кино, предлагаемое коммерческим телевидением, вообще не предполагает каких-то мыслительных процессов, оно просто развлекает, щекочет нервы. Я не психолог и не берусь точно определить, какие нервно-психические процессы протекают в сознании человека, вперившегося

в экран, где действуют убийцы, потерявшие человеческий облик. Но было бы лицемерием утверждать, что эти фильмы, сделанные с использованием блестящих достижений американского кино, не обладают некоей притягательной силой, скажем даже сильнее — некоей гипнотической силой. Парадоксально, но их сила как раз и заключена в их примитивности, освобождающей интеллект от всякой работы, а душу — от каких-либо переживаний. Показанные "живьем" убийства и насилие воздействуют прежде всего на неокрепшее сознание детей. Но они по-своему притягивают и взрослых зрителей, отвлекая их от тяжелых стрессов, которыми полна американская жизнь. В их сознании происходит замещение реальных, вытекающих из жизни нервных эмоций — другими, уводящими от реальности, дурманящими эмоциями, рождающимися благодаря зрительному ряду, возникающему на телевизионном экране. Так что на поверку проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд, и по сути своей глубоко социальна.

Так или иначе, кинопродукция коммерческого телевидения — лишь подобие искусства, но имеющее определенную силу психического воздействия. И потому не должно выглядеть странным, если попытаться соотнести механизм этого квазиискусства с действием разного рода наркотиков. Так же, как наркотики, оно обладает способностью отключать сознание человека (в данном случае телезрителя) от действительности, переносить его в другие миры (иногда на другие планеты, но чаще в миры преступности и насилия) и таким образом облегчать психологическую ношу, давящую на него в реальной жизни. Так же, как наркотики, эти ленты вызывают нездоровую к себе тягу, болезненную привычку, известную психиатрам как "адикшен" — кстати, от адикшен прежде всего и лечат наркоманов, хотя, как правило, без особого успеха.

Множество часов, которые молодые люди проводят у телевизора, словно загипнотизированные картинами ужасов, только подтверждают справедливость этого взгляда.

С действием наркотиков обычно связывают разрушение нервной системы, приводящее нередко к распаду личности. А что же ленты коммерческого ТВ? В этом месте давайте притормозим и не станем в нашем, во многом литературном сравнении, заходить слишком далеко. Но согласимся с тем, что коммерческое кино не проходит бесследно для его потребителей. Дело, конечно, не в том, что с его экранов идет обучение приемам убийства и насилия, о чем говорили некоторые из выступающих в Конгрессе. А в том, что — хотя этого телекомпания или нет — они оказывают определенное влияние на духовную жизнь и интеллект тех, кто в массовых количествах потребляет их продукцию. Пусть не распад личности, но определенно ее обеднение, если угодно, духовное обнищание. Особенно опасное еще и потому, что вместе с бурным развитием телевизионной техники этот процесс приобретает все большие масштабы, привычка потреблять эту дурную продукцию передается из поколения в поколение, т.е. коммерческое телевидение не только увеличивает свой рынок, но и на расширенной основе воспроизводит своих поклонников.

Свет и тени американского телевидения

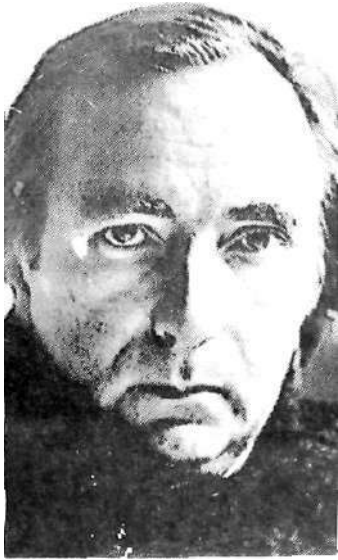
Тут время оговориться, что тема моих заметок — не вообще телевидение, без которого трудно представить современную Америку. Какую бы сторону американской жизни мы не взяли, трудно обойтись, чтобы не упомянуть многообразнейших функций и огромной роли ТВ в жизни общества. Достаточно взять его лучшую в мире круглосуточную службу информации, его превосходные репортажи со всех уголков планеты, его военно-политические комментарии — словом, аспект, который можно обозначить, как "телевидение и жизнь", не может не заслуживать высокой оценки у самого взыскательного критика. Но тема этих, во многом субъективных заметок, куда уже: телеискусство и коммерция. В соотношении и антагонизме этих понятий, кажется, кроется главная проблема,

которая так и не была затронута на Слушании в Конгрессе.

Когда мы произносим слова "коммерческое телевидение", то подразумеваем прежде всего рекламу, "коммершэлс", которые поистине достигли совершенства на телеэкранах. Широко известно, что именно благодаря рекламе телевидение превратилось едва ли не в самый мощный бизнес Соединенных Штатов. Можно услышать о засилии рекламы на его экранах (американцы это называют "промывкой мозгов"), но с этим вряд ли что-то можно поделать: бизнес есть бизнес, тем более, когда этот бизнес столь великолепно работает. Да вот только смысл коммерческого телевидения отнюдь не сводится к "коммершэлс". Здесь-то мы и подходим к ответу на вопрос, почему искусство на американском телевидении на самом деле никаким искусством не является. Дело не в том, что в Эй-би-си или Си-би-эс нет людей высокого вкуса, способных разобраться в том, что есть что на телеэкранах. Но не эти люди делают политику, а если и они, то руководствуются не интересами искусства, а все той же коммерцией, являющейся, как мы знаем, фундаментом всей деятельности телевидения. Логика происходящего куда как проста: настоящее искусство предполагает участие больших и талантливых мастеров, а это всегда серьезные затраты. Кино — одно из самых дорогих видов искусств. Но, если и не нанимать таланты, а только покупать ленты мирового класса, то и тогда, чтобы оплачивать копи-райт, требуются опять-таки баснословные деньги. Куда как дешевле держать штат набивших руку ремесленников, способных за несколько сотен долларов слепить "ошеломляющий" сюжет, скажем, о похождениях очередного вампира или вампирши. Думаю, что заказывают эти шедевры вполне приличные, образованные люди, но во всей своей деятельности они ориентированы на минимальные вложения и максимально высокие бенефиты. Таковы законы коммерческого телевидения. Почему же телефильмы должны стать исключением? К тому же, кто оценит эти колоссальные затраты? Простой и неиску-

шенный американский зритель, вкусу которого приличный боевик с Джеймсом Бондом отвечает куда больше, чем какая-то там скучная и изоощренная лента Куросавы, описывающая ночные злоключения маленького чиновника в последние часы его жизни. Как говорится, круг замкнулся: телевизионный бизнес сам воспитывает своих потребителей в нужном ему направлении и потому легко сбывает им свой немудреный товар. И, кажется, насилие на экранах телевидения тут вообще не при чем.

Ну, а как же быть с такими, как я и мой американский знакомый, родившийся в Варшаве? Один кинорежиссер мне рассказывал, что успешным в США считается тот фильм, который хорошо прошел в Техасе, то телевидение, которое любят в Техасе. Точка зрения Техаса как критерий киноискусства, техасцы как его типичные массовые потребители. Ну, а если мой вкус не совпадает со вкусом жителей этого во многих отношениях замечательного штата? Как реагирует американский кино- и теле-рынок на таких, как я и мой американский знакомый из Варшавы? Похоже, не реагирует никак. Может быть, от того, что бизнес есть бизнес и что Америка — страна больших цифр. Да, я готов согласиться, что мое мнение — это мнение меньшинства, но ведь и его голос в демократическом обществе должен быть услышан. Впрочем, как мы уже знаем, на все случаи жизни есть выход: нажать на кнопку ремонт-контроля и навсегда снять проблему с повестки дня.



Лев НАВРОЗОВ

"УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ, А Г. ВСЕ НЕТ..."

Попытка обзора российских "толстых" журналов

Кто не с нами, тот ясно с кем

В своей статье "Место критики"* Виктор Ерофеев отменил литературную критику, заявив, что литературные критики — это "орудие, если не мести, то зависти". Но литературный критик — это лишь читатель, хотя и по возможности гениальный. Литература без литературных критиков — это литература без читателей. С 30-х по 80-е годы в России она и была литературой прежде всего для правящей олигархии. Виктор Ерофеев желает ее сделать литературой для писателей: он будет и писателем и критиком своих произведений, выражая по их поводу

* "Московские новости" №45—46 1992 г.

бесконечный восторг, который ему кажется беспристрастным, бескорыстным и даже как бы вынужденным.

Произведение литературы — дело личного вкуса. Тут нет и не может быть никаких научных объективных, внеличных средств или правил. То же самое касается литературной критики. Она — дело личного вкуса, личной гениальности, личной судьбы, а не научных, объективных, внеличных методов, теорий или оценок. Но за 70 с лишним лет советское население привыкло к тому, что на все есть наукообразная Истина в последней инстанции, а те, кто мыслят на этот счет иначе, — презренные враги. Как в водевиле действующие лица делятся на героев без страха и упрека и злодеев, так любой писатель, зачисленный в водевильные герои, становится выше всякой критики. Однажды, в 1981 году я заметил в своей статье, что стихи Бродского, когда он был гонимым скитальцем в России, интереснее его стихов теперь, когда он благополучный "профессор поэзии" на Западе. Будучи переведенной на русский язык, статья вызвала "глубокое возмущение" среди эмиграции, причем сам Бродский был поражен в самое сердце, как Лермонтов пулей Мартынова, по мнению одного из напавших на меня, Сергея Довлатова. По словам Лимонова*, Бродский попросил его дать мне в морду. Если писатель зачислен в водевильные герои, ни одно его произведение не может быть хуже другого. Поэтому нападавшие и не пытались оспорить меня. Отныне я был для них презренный враг (как, скажем, президент Трумен для "Правды" сталинских времен), и необходимо было лишь уничтожить меня словесно, коль скоро уничтожить меня физически было нельзя и даже дать мне в морду оказалось невозможным.

Трудно назвать литературного гения, про некоторые произведения которого не следует сказать: "Какая дрянь!" Но мое утверждение, что стихи Пастернака до 1933 года сильнее стихов, написанных в последние двад-

*см. "Столица" №51 1992 г.

цать лет его жизни, включая стихи романа "Доктора Живаго", вызывает не замечание "Ну, это дело вкуса!", а опять же "глубокое негодование".

На одной из писательских конференций я сказал Фридриху Горенштейну, что считаю его "Искупление" ("Время и мы" №42) подающим признаки гениальности, но в силу отсутствия достаточно влиятельной русской критики у него множество плохих произведений. И вот что удивительно: если подающий признаки гениальности Горенштейн один, то плохих писателей под этим именем много, и все они — разные. Горенштейн мило по этому поводу пошутил: "Ах, вы так? Ну тогда я присоединяюсь ко всем вашим бесчисленным врагам. Больше того: я их возглавляю!" Но в этой шутке есть горькая правда: критик не имеет права сказать "Это у него гениально, а это — дрянь!"

В своем эссе "Замятин и Оруэлл: $2 \times 2 = 4$?"* я обратил внимание на то, что "Мы" и "1984" являются противоположностями. Оруэлл защищает право утверждать, что $2 \times 2 = 4$, то есть, то, что думают "все". И его роман "1984" явился в 1949 году таким $2 \times 2 = 4$ в странах английского языка, то есть ходким массовым товаром. Замятин же защищал право индивида утверждать, что 2×2 не равно 4 вопреки убеждению всего остального человечества, что $2 \times 2 = 4$. И его "Мы" были запрещены в России до 1988 года, никогда не имели на Западе успеха романа "1984" и остались по существу непрочитанными.

В своем эссе я отметил, что даже "Хулио Хуренито" Эренбурга был опубликован в 1923 году и одобрен Лениным и другими (с оговорками). А ведь еще в моем детстве (я сын писателя и племянник Михаила Левидова, известного в свое время и расстрелянного Сталиным журналиста) считалось, что провокатор Хуренито ищет Великого провокатора, которого он поцелует в лоб. Так Иуда (с иной целью) поцеловал в лоб Учителя. Почему

*"Московские новости" №1 1993 г.

же роман, где Ленин изображен в виде Великого провокатора, или по крайней мере Великого инквизитора, если судить по заголовку главы, был одобрен и опубликован, а книга "Мы", отвлеченная от всякой конкретной советской действительности, была запрещена? Мое предположение: книга Замятина испугала Ленина и других своей глубиной, серьезностью, гениальностью, а в романе Эренбурга они увидели лишь чтиво и верно угадали в авторе будущего конформиста.

Однако российский литературовед и специалист по Эренбургу Александр Рубашкин оказался со мной не согласен. Что ж, он мог бы попытаться показать, что роман Эренбурга отнюдь не чтиво или что Ленин никак не мог считать его лишь чтивом и угадать в авторе будущего конформиста. И он мог бы предложить (на основании, например, доселе неизвестных записей Ленина) совсем иное объяснение тому, почему роман Эренбурга был опубликован, а "Мы" запрещен. Я бы с благодарностью включил такое объяснение во все последующие издания моих эссе.

Но не таков бывший советский, ныне российский литературовед. Мое эссе лежит вне "Истины", то есть того, что $2 \times 2 = 4$, и поэтому он его не понимает и не желает понимать. Он видит в нем лишь то, что противоречит Истине образца 1993 года. Как я посмел, вопреки Истине образца 1993 года, назвать роман Эренбурга чтивом, а роман Оруэлла ходким массовым товаром в странах английского языка конца 40-х годов? Раз мои утверждения противоречат Истине, спор неуместен. Вместо спора Рубашкин обличает меня ("Литературная газета" 17.2) в таком же духе, в каком "Правда" сталинского времени обличала презренного врага. Когда я отметил в своем эссе в "Литературной газете" эту склонность выступающих в печати в России не спорить по существу, а обличать, как "Правда" сталинского времени, презренного врага, то Рубашкин выступил в "Литературной газете" снова, но уже не как обличитель, а как жертва: он выдумал, что я назвал его сталинистом. Этот переход от

обличения как бы с высоты Политбюро к наигранной плаксивости блатного в трудовом лагере тоже характерен для сегодняшней России. Вместо спора на равных, который в России начала 90-х годов в печати вполне возможен, пишущий либо обличает, хамит, клеветает, как Политбюро, либо хнычет, как жертва: обидели, сталинистом назвали, наших бьют.

Свобода!

До 1992 года можно было предполагать, что самые ценные произведения российской литературы, написанные в стол в течение предыдущих шести десятилетий, еще не опубликованы по цензурным обстоятельствам. В 1992 году эти обстоятельства исчезли. Свобода! Можно было ожидать некий взрыв, ренессанс, половодье литературной гениальности в печати. На самом деле, если не считать употребления непечатных слов, трудно уловить качественную разницу между тем, что публиковалось до и после 1991 года.

Советская литература утратила после Второй мировой войны способность производить даже чтиво на уровне романа "Хулио Хуренито" 20-х годов или на уровне чтива Юрия Германа, Катаева или Каверина 30-х годов. Эта способность производить хотя бы чтиво в 90-х годах не восстановилась.

Чтобы представить, как выглядит сегодня литература в "толстых" журналах, стоит начать с высказывания Михаила Кураева, чья повесть была напечатана в прошлом году в "Новом мире". Мысль Кураева заключается в том, что "замечательный, уникальный, могучий поток, имя которого Русская культура XIX века", пронес нас "через бесчеловечность XX века", но коммерция убила литературу на Западе, и она убьет русскую литературу. "Убить литературу, подчинить искусство коммерции — это уни-

зить людей, обокрасть душу и карман" .

Кураев прав лишь в том смысле, что его повесть не может быть продана с прибылью ни в одной стране мира. Ибо она даже не чтиво. А напечатана она лишь потому, что в России все еще есть "толстые журналы", которые могут публиковать Кураева по той же причине, по какой они могли печатать никому не нужные проповеди о человеке нового коммунистического общества. Так что, эти журналы все еще прямо или косвенно субсидируются? Или же их покупают по инерции, а Кураев — часть ассортимента? Но значит ли это, что его произведение — шедевр, который, скажем, в отличие от романа "Джаз" негритянки Тони Моррисон, выше коммерции, продажи, прибыли?

Вскоре после опубликования в "Новом мире" моей статьи о западной литературе журнал дал почти сто страниц под "Бесконечный тупик" Галковского. Произведение вызвало взрыв возмущения. Не потому, что оно — макулатура, а потому, что Галковский представил в нем гениальных русских писателей XIX века как литературных проституток, которые "пошли на содержание к евреям, к масонам и иностранным разведкам". После взрыва возмущения главный редактор "Нового мира" разъяснил в "Известиях", что опубликованное в "Новом мире" "сказано ведь не Галковским, а действующим лицом его произведения", которого он, так сказать, разоблачил ради общественного блага. Это — универсальный способ в российской литературе. А. пишет глупую, бездарную, никому не нужную книгу. Но затем оказывается, что эту книгу написал не А., а его герой Б., в лице которого А. разоблачил графоманов, пишущих глупые, бездарные, никому не нужные книги.

Аннотация на английском языке в "Новом мире" говорит, что в своем произведении упомянутый выше "Михаил Кураев исследует характеры и обычаи современной рус-

*"МН" 6 июня 93 г., с. 5

ской провинции". А именно два провинциала спорят о том, сказано ли у Хемингуэя, что негр снес полчерепа из дробовика или негр стрелял из автомата. Но опять же, может быть, повесть Кураева написал не Кураев, а его герой-графоман, которого он разоблачает? Читаем: "Мои записки не литература, а стенанье души". Определенно повесть пишет не Кураев, а его герой-графоман!

Вот "роман-клип" Владимира Зуева "Черный ящик". Здесь есть даже подзаголовок: "Энциклопедия Графомана". Это его герой-графоман образованность свою хочут показать: "Я в ожидании Годо провел сознательную жизнь! (Не заложил он динамиту: ну-ка, дрызнь!) Уж полночь близится, а Г. все нет. Сознайтесь. Вам же будет лучше: не такова ли щедро практиковавшаяся (вша я ся!) Э. Ионеско (следуют еще 8 имен — Л.Н.) метафорическая передача чувств шока осознания иллюзорности жизненных ценностей (уф-ф-ф!) перед лицом иррациональной жестокости смерти?"

А "Голова Гоголя" Анатолия Королева? Как он разоблачил своего героя-графомана! Начинается с цитаты из Розанова о русской истории. Уже смешно. Кто же в конце XX века может серьезно относиться к историографии Розанова? Только графоман.

Что касается Галковского, то он опубликовал политическую статью в "Независимой газете" от 9 июня с.г. под своим именем. И она написана в таком же духе и на том же уровне болтовни девятилетнего ребенка, начитавшегося Розанова и пересказов теорий нацизма без разрешения родителей, что и почти сто страниц в "Новом мире", якобы написанные его героем-графоманом. Таким образом, теория, что в российских "толстых журналах" авторы в основном разоблачают своих героев-графоманов, получила от Галковского смертельный удар.

В своей новомирской статье я отмечал, что ряд лучших американских писателей конца 70-х начала восьмидесятых годов (Апдайк, Стайрон, Филипп Рот, Эрвин Шоу, Козинский) — на самом деле не что иное, как макулатура.

Но Апдайк и другие могут мне сказать: "Вы назвали

наши книги макулатурой. Позвольте, но эта макулатура продается. Она кому-то нужна или интересна. Она удовлетворяет чью-то потребность. А макулатуру ваших "толстых журналов" вроде Галковского и прочих нельзя продать даже по себестоимости бумаги и печати. Если бы макулатура Галковского могла бы дать прибыль, она вышла бы отдельной книгой, а не в "толстом журнале". Какая же макулатура хуже? Та, что кому-то нужна и интересна, или та, что никому не нужна и не интересна?"

Перейдем теперь к тому, что критики российского литературного истеблишмента считают вершиной — к роману Ермакова "Знак зверя", опубликованному в журнале "Знамя".

Вплоть до падения Горбачева я утверждал, что "режим Горбачева" с его тайной разработкой сверхоружия более опасен для Запада, чем был "режим Сталина". Вместе с тем я утверждал, что Варенников ведет войну в Афганистане блестяще (как блестяще провел многие военные операции Гитлер), что исламский фундаментализм — худшая альтернатива для Афганистана, чем советский колониализм, и что, возможно, война лишь эпизод в борьбе 150 миллионов русских и 1 миллиарда мусульман. Когда все это услышали от меня Бенедикт Сарнов и его супруга у нас в гостях в Нью-Йорке, они были в ужасе. Они считали, что советская сторона — это зло, все зло и только зло, а Афганистан — жертва, добро. В таком духе и написан "Знак зверя", но только злу придан апокалиптический облик зверя, что в 1993 году для России столь же типично, сколь классовый облик зла в 1933 году. Ни намек на фундаменталистско-исламскую жестокость вроде свежевания пленных. Но зато, когда советские солдаты узнают, что "афганец — наш", с криком "Так он наш?!" они бьют его прикладом по лицу, валят и топчут ногами. Даже в советских романах о Второй мировой войне немцам, олицетворявшим зло, все зло и только зло, не приписывалась столь неправдоподобно бессмысленная жестокость. Роман Ермакова — это советский роман о Второй мировой войне наоборот, где советские

стали "немцами" — и апокалиптическими чудовищами впридачу, по российской моде начала 90-х годов.

Но дело не только в этом. Аив том, что весь роман опять-таки — даже не читиво. Возможно, в 60-х годах в России он бы читался. В 90-х годах вне России трудно это читать и рецензенту. Скучно. Между прочим, эмигрантские журналы, которые я читаю вот уже 17 лет, куда лучше читаются. Что ж, эти журналы — лицом к лицу с рынком. Такую скуку они позволить себе не могут. В предпоследней части произведения Ермакова появляется женщина в виде галлюцинации советского солдата или сюрреалистического приема. Пахнет нафталином конца прошлого века, а российским читателям все это должно быть известно из переводного Томаса Манна.

Такое впечатление, что советская литература самого среднего уровня бросилась опрометью в "толстые журналы" в 1992 году, но в давке смялась, растрепалась, очумела — и стала еще менее "читабельной".

Когда мои коллеги-иностранцы (переводчики) спрашивали меня в 60-х годах, каких же советских писателей стоит переводить на западные языки, я без запинки говорил: Андрея Битова... Затем менее уверенно: Фазиля Искандера... В советской литературе 60-х годов Искандер работал под простодушного абхазца: его разговорная непринужденность была уникальной в своем роде. Но как воспринимается напечатанный в "Знамени" "Человек и его окрестности" вне 60-х годов? У героя (в прошлом фехтовальщика) ушла жена с двумя детьми к "мужчине с деньгами". Неужели подобное само собой разумеется и не требует никаких психологических пояснений? Деньги деньгами, но и любовь — не картошка, как незамысловато выражались в России, а если это чересчур романтично или сентиментально для Искандера, то я могу перефразировать в западном духе: половая любовь — не картошка. Да еще когда от нее двое детей. Моего американского знакомого-миллиардера оставила жена. Но американки отнюдь не начали бросать наперебой своих мужей и детей, чтобы уйти к нему. На почве половой любви

(отсутствия взаимности или ревности) в США происходит много самоубийств и убийств. Неужели же в России существуют только деньги? Искандер пишет: "Его жена, судя по всему, достаточно терпеливо ждавшая, когда блеск рапиры обратится в блеск монет, и вдруг заметившая, что он, забросив рапиру в чулан, стал еще более усердно высекать искры из книг, и правильно поняв, что из этих искр и подавно никогда не возгорится блеск монет, внезапно ушла от него (с двумя детьми — Л.Н.) к другому".

Может быть, в России в 1966 году такой абзац был бы вершиной искренности, остроумия и литературы как средства познания жизни. Но не в подлунном мире 1993 года, где достаточно прочесть один такой абзац, чтобы бросить читать книгу, благо романы издаются сотнями в день.

Из всех бесконечных романов и повестей, опубликованных в "толстых журналах", только повесть "Сонечка" Людмилы Улицкой представляет собой на мой вкус хотя бы читиво. Конечно, в "Сонечке" нет ничего нового. Все это читали и российские читатели (Мопассан? Куприн? Пантелеймон Романов? Ромен Роллан? Трифонов?), не говоря уж о мировом литературном опыте. Но это по крайней мере литературно грамотное читиво. И на том спасибо, говоря словами героя чеховской "Скучной истории".

Гранитные памятники или мыльные пузыри?

В силу угасания русской культуры, начиная с 30-х годов, а затем распада советской империи, в России необычайно усилилась склонность считать, что оценка русского произведения искусства возможна лишь на Западе. Там ведь твердая валюта, и уж, наверно, твердые оценки искусства. Например, Нобелевская премия — это как 24-ая проба на слитке золота. Я написал две статьи о нелепости Нобелевских премий в области литературы ("Литературная газета" от 9.6.93 и "Иностранная литера-

тура": в конце 1993 года). Но поколебать веру российского западника в Нобелевские премии в области литературы столь же невозможно, сколь было невозможно поколебать веру западного коммуниста в Сталинские премии в области литературы.

Вера в объективные, незыблемые западные оценки культуры так велика среди российских западников, что когда Запад меняет свою оценку на противоположную, они не хотят этому верить. Сенсация "Солженицын" на Западе с 1962 года была политической: она была вызвана советской военной угрозой, символом борьбы против которой стал Солженицын. Когда эта сенсация кончилась, газета "Нью-Йорк таймс" от 2 июля 1989 года отрецензировала "Август четырнадцатого" как графоманию. По просьбе журнала "Огонек" я написал об этом статью: "Мыльный пузырь под названием Солженицын". Но российские западники не желают верить тому, что Запад изменил свою оценку Солженицына на противоположную. "Огонек" отказался печатать заказанную мне статью. Нет, мыльный пузырь под названием Солженицын не может лопнуть — он как гранитный памятник (но ведь советские гранитные памятники вот уже сорок лет исчезают, как мыльные пузыри). В американском русскоязычном еженедельнике "Панорама"* Вайль и Генис назвали Венедикта Ерофеева "гениальным писателем счастливой участи", то есть "классиком при жизни", который получил "устойчивое признание на Западе". На самом деле, у Ерофеева был лишь однажды (в 1974 году) шанс быть изданным на английском языке в престижном издательстве "Харпер энд Роу". Издательство дало мне книгу на внутреннюю рецензию. Я заключил, что... Я вижу, как российский литературный истэблишмент бросается на меня, чтобы растерзать. Но прошу заметить, что внутреннюю рецензию издательство "Харпер энд Роу" поручило не им, а мне, полагаясь на мой, а не на их, вкус. Ведь мое

* Май 12-18, 92 г

заключение — дело вкуса, не так ли? Так вот, я заключил, что данный "шедевр" "гениального писателя" и "классика при жизни" можно гальванизировать лишь при наличии советской власти под боком. Так, несмешные анекдоты из области половой жизни могут казаться тем более смешными, чем больше запрет, под которым находится половая жизнь и всякое обсуждение ее. А снимите запрет...

Следующая попытка "покорить Запад" была предпринята Эдуардом Лимоновым, опубликовавшим свой роман в Нью-Йорке в 1983 году. Точнее, это совсем не роман, а изложение люмпеном, "огольцом", своей половой жизни в Нью-Йорке. Когда московское издательство "Ренессанс" (!) опубликовало в 1991 году эти записки огольца, то в России они произвели фурор. Никогда ни один русский в истории России не излагал в печати свою половую жизнь — тем более нецензурным языком. На основании этого издательство "Ренессанс" объявило в своем предисловии: "Роман "Это я — Эдичка" читают во всем мире". Я уверяю издательство "Ренессанс", что вне русскоязычной эмиграции ни один американец не имеет понятия ни о каком Эдуарде или Эдичке Лимонове и его жене Елене, как он не имеет понятия ни о каком издательстве "Ренессанс".

Дело тут в следующем. Когда я учился в школе (при Сталине!), старшекласники, причем девушки, зачитывались романом, переведенным с французского и изданным в 20-х годах. В этом романе автор-рассказчик описывал якобы свою первую брачную ночь, предупреждая, что он вовсе не писатель, а желает изложить все прямо, точно, по правде, без всяких умолчаний или околичностей. Роман так зачитали, что он весь распался на отдельные страницы, и я прочел только несколько из них, притом в беспорядке. Возможно, к 90-м годам все эти листочки рассыпались в прах. Но ведь во Франции книга была издана еще в начале века! Словом, Лимонов удивил Запад не больше, чем если бы он предложил шить на Западе брюки, как он шил их в России, полагая, что брюк на

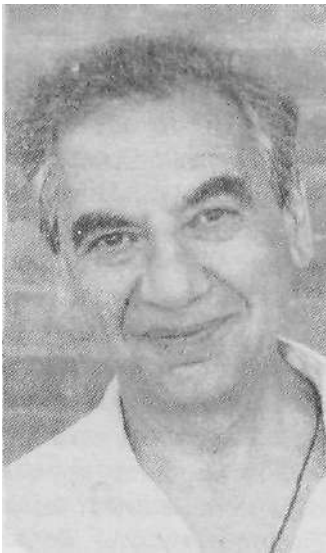
Западе нет, и все ахнут, увидев сшитые Лимоновым брюки.

Кроме того, на Западе вряд ли есть нужда в изложении Лимоновым своей половой жизни, ибо без конца выпускаются в этой области увесистые учебники и пособия. В каждом большом книжном магазине их два-три на разный вкус, но, разумеется, у многих американцев они вызывают лишь отвращение, как ясно из статистики всего населения за вычетом проданных экземпляров всех этих пособий. Да и в России начала 90-х годов, где рынок в этом смысле пустовал добрых шесть десятилетий, изложение Лимоновым своей половой жизни в Нью-Йорке приобрело в конце концов всего лишь около одного процента населения. Тут следует учесть и политический фактор: Лимонов был назначен министром госбезопасности "теневого кабинета" Жириновского, который собрал в 1991 году шесть миллионов голосов.

На Западе Лимонов совершил ошибку: он хотел продать изложение половой жизни в Нью-Йорке нью-йоркцам. Как в Тулу везти самовар. Эту ошибку исправил Виктор Ерофеев, роман которого "Русская красавица" опубликован в Нью-Йорке в этом году. Ерофеев по крайней мере продает в Нью-Йорке экзотическую русскую половую жизнь в России, причем изложение ведет не Ерофеев, а русская красавица. И есть даже описание ее влагалища, как оно видится гинекологу в гинекологическом кресле. Помнится, предыдущий опус Ерофеева называется "Говорящее влагалище", и редактор эмигрантского журнала саркастически предложил назвать данный роман Ерофеева не "Русская красавица", а "Русское влагалище" в целях лучшей продажи книги. Будучи в Нью-Йорке, Ерофеев изобразил в эмигрантской и российской прессе, как книгу захвалили в Нью-Йорке: он прямо не знает, куда от стыда деваться. Где уж там Лимонову...

Как я писал в начале этой статьи, Ерофеев объявил, что российская литературная критика приносит лишь вред. Но ему нравится западная критика. И он "всегда относился с симпатией к писательской критике", то есть

когда писателей критикуют другие писатели, а не литературные критики, "орудия если не мести, то зависти", в которых "как черви, шевелятся комплексы". Ерофееву повезло. Газета "Нью-Йорк таймс", в воскресном книжном обозрении которой появилась рецензия на его книгу, — это как бы "Известия", "Правда", "Литературная газета", газета "Культура" и десяток "толстых журналов" вместе в одном издании. И вот роман Ерофеева в этой единственной американской газете, которую читает вся американская элита, отрецензирован американским романистом Давидом Плантом, который также читал лекции в Горьковском литинституте в Москве. И Ерофеев прав в том смысле, что средние романисты рецензируют друг друга в воскресном книжном обозрении газеты почти всегда положительно, ибо в противном случае можно спросить рецензента-романиста: "А сам-то ты кто — Лев Толстой?" Но бывают исключения. Такое исключение делает Плант для Ерофеева. Он объясняет, что Ерофеев не умеет писать. Конечно, Ерофеев вырос в интеллигентной семье советского дипломата и поэтому начитан. Но начитанность — это не талант и даже не умение романиста. Например, "м-р Ерофеев желает изобразить свою героиню, от лица которой ведется повествование, как женщину благородную и вместе с тем волевою, сексуально изощренную и вместе с тем невинную, умную, несмотря на отсутствие образования, бескорыстную и преданную. А на бумаге возникает избалованная истеричка, тщеславная, глупая, эгоистичная, помешанная на себе и насквозь фальшивая". Плант заканчивает свою рецензию так: "М-р Ерофеев — рассказчик анекдотов, который, воображая, что он страшно остроумен, рассказывает, захлебываясь и брызгая слюной, неприличный анекдот, а анекдот совсем не смешной".



Ю. ШРЕЙДЕР

ПРАВДА СОЛЖЕНИЦИНА И ПРАВДА ШАЛАМОВА

В "Ответном слове на присуждение литературной награды Американского национального клуба искусств"* Александр Исаевич Солженицын обвинил значительную часть писателей постмодернистского направления в сознательном разрыве с нравственной традицией великой русской литературы. Нравственный пафос А. Солженицына глубоко оправдан. Слава Богу, что не перевелись еще люди, способные отстаивать необходимость противостояния добра и зла, не боясь упреков в "старомодности".

И все же не случайно Солженицын начинает свое "ответное слово" с разговора о стиле, с известного выражения "стиль — это человек". Творческие пути Солжени-

цына и Шаламова тесно связаны. "Архипелаг Гулаг" опирается на свидетельства Шаламова, а тот, в свою очередь, приветствовал появление "Одного дня Ивана Денисовича" как первого правдивого свидетельства о лагерной системе.

В ноябре 1962 г. Шаламов направляет Солженицыну письмо, представляющее развернутый (16 страниц машинописи) отклик на "Ивана Денисовича".

"Повесть — как стихи — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что "Новый мир" с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед — все, что идет с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесет только вред".

В письмах Солженицына можно найти очень сочувственный разбор стихов Шаламова и высокую оценку его прозы, попавшей к тому времени в самиздат. Это было общение писателей, делающих общее дело, объединенных общими жизненными и литературными установками. Тем более интересно выявить различия между ними, различия в самом понимании литературных задач. Дело не в оценке литературной значимости того и другого. Это был бы вопрос типа детской загадки: "Кто сильнее — слон или кит?" Подлинная проблема в том, что речь идет о двух путях литературного процесса, каждый из которых необходим для сохранения и развития великой традиции русской литературы.

Сегодня уже немало сказано о том, что русская литература была не только художественным выражением жизни, но и часто брала на себя осмысление социально-исторических процессов, то есть принимала на себя функции философии, социологии и даже религиозного учительства. Литература соцреализма узурпировала и исказила эти функции, поставив себя на службу правящей идеологии. Солженицын вернул литературе духовную самостоятельность и, тем самым, право на учительство. Общественное значение Солженицына выходит далеко за

* Новый мир, №4, 1993, с. 3—6

рамки его писательства и в этом нельзя не усмотреть его глубинное сходство со Львом Толстым.

Шаламов принципиально отказался от учительства и поставил перед собой чисто литературную задачу создания новой прозы, основанной на документальном свидетельстве. Солженицыну важно не только описать лагерную жизнь, но дать возможность читателю осознать истинную реальность. Для этого нужна некоторая доля снисхождения к его способностям пережить шок от несоответствия этой реальности тому, что ему внушала пропаганда. Этим объясняется то, что в первых публикациях Солженицын несколько смягчает лагерные ужасы, сглаживает остроту проблем. В приведенном письме от 1962 г. Шаламов пишет: "В повести все достоверно. Это лагерь "легкий", не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь... пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака".

То, что Шаламов непосредственно описывает в "Колымских рассказах", Солженицын в первой публикации дает как предысторию героя, остающуюся за кадром. Сам Шаламов вспоминает далее, как в Боткинской больнице в 1958 г. с его слов "заполняли историю болезни, как вели протокол на следствии". И полпалаты гудело: "Не может быть, что он врет, что он такое говорит". Дозировать правду допустимо с точки зрения дидактики. Но Шаламов не ставил себе дидактических задач, как и никаких других задач внелитературного характера. Это не значит, что его творчество не принадлежит русской литературной традиции, но истоки его надо искать не у Толстого, а у Пушкина.

Характерно, что Шаламов осознавал себя прежде всего как поэта и это не могло не сказаться на его прозе. И еще одно — его лагерный опыт был существенно тяжелее, чем доставшийся на долю Солженицына, и Варлам Тихонович остро ощущал невозможность выразить его в традиционной форме психологической прозы. Здесь требуется особый художественный дар. Вот реплика Шала-

мова из той же переписки: "Пусть о "правде" и "неправде" спорят не писатели... Для писателя разговор может идти о художественной беспомощности, о злонамеренном использовании темы, спекуляции на чужой крови... Исполнение художественного долга и связано именно с талантом".

Сам Шаламов утверждал, "что именно мое искусство, моя религия, вера, мой нравственный кодекс, сохраняли мою жизнь для лучших дел"* . Подобно рыбам, плывущим на нерест, он плыл "на зов судьбы-беды", чтобы оставить в русле русской литературы все выстраданное и выношенное им. Нужно было доплыть и донести все это для будущего читателя.

Однажды Варлам Шаламов описал собственное состояние страха, которое он испытал на Иркутском вокзале:

"И я испугался, и холодный пот выступил на коже. Я испугался страшной силе человека — желанию и умению забывать. Я увидел, что я готов забыть все, вычеркнуть двадцать лет из своей жизни. И каких лет! И когда я это понял, я победил сам себя. Я знал, что и не позволю моей памяти забыть все, что я видел. И я успокоился и заснул". ("Поезд". Из сб. "Артист лопаты").

Нет никаких сомнений, что страх героя рассказа есть реально пережитое душевное состояние самого автора. В рукописи, которую по праву можно назвать литературным манифестом "новой прозы", он пишет: "новая проза — само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни"***.

То состояние страха, о котором пишет Шаламов, свидетельствует, что еще на Колыме он жил мыслью о литературной деятельности, которая должна была впитать весь его лагерный опыт. Уже в 1949 г. он стал записывать стихи, послужившие началом шести стихотворных колымских тетрадей, состав которых окончательно определен автором в составленных им списках. Но писать прозу в

*Авторский комментарий к стихотворению "Поэзии" из сборника "Дорога и судьба".

**О "Новой прозе". В кн. "Возвращение. М.: Сов. писатель, 1991 г., с. 287.

условиях Колымы было слишком опасно. Прозу Шаламов стал записывать только после возвращения, когда он стал жить в поселке Туркмен Калининской области неподалеку от станции Решетниково, за две остановки от Клина. При всей своей документальности эта проза не бытописание, не мемуарное отражение пережитого, не мораль, извлеченная из опыта. О своих литературных намерениях Шаламов писал следующим образом:

"Отражать жизнь? Я ничего отражать не хочу, не имею права говорить за кого-то (кроме мертвецов Колымы, может быть). Я хочу высказаться о некоторых закономерностях человеческого поведения в некоторых обстоятельствах не затем, чтобы чему-то, кого-то научить. Отнюдь."*

Реальный масштаб Шаламова до сих пор не осознан ни литературной критикой, ни фундаментальным литературоведением. Мешает этому обжигающая боль лагерной темы. Правда, поведенная Шаламовым со всей мощью его литературного таланта, заслонила самого художника. Ирония судьбы состоит в том, что мы восприняли художника, ставящего совершенно новые эстетические задачи, по законам традиционной сталинистской эстетики, стыдливо называемой соцреализмом. Вопросы о том, что изображается, за кого стоит автор, чьи интересы он выражает, от имени кого из героев он говорит — это все из джентльменского набора соцреалистической критики. А Шаламов — это прежде всего новая эстетика в русской литературе. Эта эстетика не только реализована им в прозе и поэзии, она выражена автором в его текстах о литературе, из которых лишь один был опубликован прижизненно, в его письмах, наконец, в многочисленных стихотворениях, посвященных самой поэзии.

В манифесте "О новой прозе" Шаламов четырежды упоминает о тайне Пушкина. Нет ли здесь подсознательного намека на некую тайну самого Шаламова? О наличии Шаламовской тайны свидетельствует ряд противопоставлений.

* Письмо к автору от 24 марта 1968, Возвращение — с. 281.

Первое из них можно обозначить как "отказ от моральной проповеди — утверждение нравственных основ".

С одной стороны, неоднократно подчеркиваемый отказ от проповедничества (апостольства), а с другой — четко выраженные в письме к Солженицину (да и в ряде других мест) моральные принципы поведения в лагере — не заставляя никого работать. Тем самым для самого Шаламова было недопустимо занять бригадирскую должность.

Ему принадлежат "Очерки преступного мира" — страстное обличение "блатной морали" с общечеловеческих нравственных позиций. Обличение — это тоже разновидность проповеди. Но при этом сам он провозглашает чуть ли не противоположное. Согласно Шаламову, "беда русской литературы в том, что в ней каждый мудака выступает в роли учителя, а чисто литературные открытия и находки со времен Белинского считаются делом второстепенным".*

Лагерная мораль (точнее, мораль честного человека в лагере) существенно отличается от принципов общечеловеческого нравственного поведения, хотя и не противоречит им в основе. Чтобы ее понять и выразить, необходим не просто опыт лагерной жизни, но опыт такой, при котором человек не ломается и выживает. При этом сам Шаламов многократно повторяет сентенции типа:

"Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем... Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики" ("О прозе").

Казалось, после этого автор должен был бы отказаться от писания рассказов об этом опыте. Однако, читая эти строки как вступление к подборке из "Колымских рассказов", мы не останавливаемся на этой мысли. Эти строки,

*Письмо к автору, Возвращение, с. 279.

отрицающие право писателя сообщать читателю о своем опыте, почему-то не режут глаз во введении к рассказам, передающим этот чудовищный опыт.

В стихотворении "Нерест" есть четверостишие, выброшенное редакцией при издании, но вставленное Шаламовым от руки в мой экземпляр его сборника "Дорога и судьба" на с. 43:

**И мимо трупов в русло
Плывут живых ряды.
На нерест судеб русских,
На зов судьбы-беды**

Казалось бы, это четверостишие о трагизме лагерной жизни, уничтожившей не просто жизни, но судьбы. Но вдумаясь в слово "нерест"! Нерест, это то, что необходимо для продолжения вида. Нерестящиеся рыбы гибнут ради потомства. Так проявляется замаскированный обертон — необходимость собственной гибели поэта ради новых "судеб русских".

Сегодня мне видится в этом четверостишии еще один дополнительный смысл, относящийся к нам самим, чудом сохранившим самосознание среди многих погибших физически или духовно и пытающимся что-то восстановить и передать следующим поколениям. Наш общий опыт духовной несвободы, который мы только пытаемся изживать, одновременно вреден и необходим последующим поколениям. Итак — еще одно парадоксальное противопоставление: "Необходимость и ненужность лагерного опыта".

Ассоциация с евангельской притчей слишком напрашивается, чтобы ее избежать: "если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода" (Иоанн, гл. 12-24). Но ведь и евангельская притча несет в себе парадокс, ибо стремление к смерти, самоубийство — это грех. Стремиться пожертвовать свою судьбу лагерной бездне — это страшный грех, но кто-то обязан пройти этот крестный путь сознательно и до конца. Тайна Шаламова в том, что он знал о своем предназначении.

Казалось бы, ставя себе задачу выразить нечто фундаментальное о "закономерностях человеческого поведения", следует во главу угла поставить смысловой стержень текста, его содержание, приблизить все это максимально к тому, что происходило на самом деле. Да и сам Шаламов многократно настаивает на документальности новой прозы, на том, что это "проза бывалых людей". Но тут возникает еще одно фундаментальное противоречие: "Необходимость передачи факта (документальность) — самоценность художественной формы".

Дело в том, что письма, статьи и заметки Шаламова о литературе переполнены проблемами творчества как такового, звуковой структуры стихов и прозы и т.п. В письме к автору он подчеркивает, что смысл не дается как нечто исходное по отношению к тексту:

"Стихи не пишут по модели "смысл — текст" — терялось бы существо искусства — процесс искания — с помощью звукового каркаса добираться до философии Гете и обратно из философии Гете почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение".

Когда составитель сборника лагерной поэзии пытался вместе со мной выбрать нечто, в буквальном смысле отвечающее этой теме из "Колымских тетрадей", то из 3-х просмотренных нами тетрадей его устроили только 2 произведения. Зато по тем же тетрадам я подсчитал, что около 25% стихотворений — это "стихи о стихах" или, реже, стихи о творчестве в более широком смысле. (У Шаламова немало стихотворений о живописи). Впрочем, это явно признает и сам Шаламов:

"Это и есть стихи о труде, о поэтическом труде. Стих о стихах — это и есть стихи о труде... Именно стихи о стихах дали бы возможность сравнить ряд поэтических концепций, показали бы, кто есть кто".

Так и просится ассоциация с Брюсовским: "Быть может,

*Письмо к автору "Возвращение" — с. 283.

все в мире лишь средство для ярко-певучих стихов". Ассоциация глубоко ошибочная. Шаламов отнюдь не любит звучность стихов или прозы — для него звук, интонация, "ритмизация сообщаемого" — средство выхода к подлинности, к достижению эффекта присутствия. Подлинность, достоверность достигаются не с помощью строгого метода или, что — то же, внешнего инструментария, но с опорой на собственную личность:

"Смотря на себя как на инструмент познания мира, как на совершенный из совершенных приборов, я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы в этот момент ни сказал — тут не будет ошибки".

"Личное ощущение" тут может относиться и к описываемым впечатлениям, и к создаваемому тексту. Высшая объективность (по признанию Шаламова) достигается через максимальную субъективность творческого акта. Тем самым отрицается возможность сформулировать приемы своего творчества в понятиях и этим сделать их воспроизводимыми, отчуждаемыми от авторской личности, канонизируемыми. Нет и нет! "Я добился каких-то важных для литературы результатов... не с тем, чтобы превратить их в очередной канон или схему".*

Это еще не разгадка тайны, но указание на то, что она относится не к каким-то приемам и принципам творчества Шаламова, а к его личности. И все противоречия, о которых выше шла речь, — это альтернативы, стоявшие перед самим Шаламовым. Альтернативы, в которых для него не могло быть жесткого "или..., или...", но требовалось парадоксальное "и..., и...".

Дидактичность, общественная запрограммированность послепушкинской русской литературы отвергалась Шаламовым, но его личный нравственный опыт настойчиво требовал литературного воплощения. Для Шаламова личный опыт ведет к отрицанию любого наперед заданного

* Письмо к автору от 24 марта 1968 г.. Возвращение. — с. 281.

идеологического шаблона. Шаламов убежден в бессмысленности лагерного опыта, он бы сам не пошел на него по доброй воле, но он отлично понимает, что удалось ему сделать на основе этого страшнейшего нечеловеческого опыта, в какие шедевры отлились накопленные им впечатления. И все же эти впечатления, все перенесенные страдания, не заслоняют в нем самоценную страсть к творчеству, не отменили в Шаламове художника. Размышления над сущностью литературного творчества занимают в его жизни место, по меньшей мере, сопоставимое с собственно литературным творчеством. Эти размышления очень важны для понимания феномена Шаламова, которого нельзя рассматривать как одного из "лагерных писателей" — он резко выламывается из этого ряда, даже если говорить о самых лучших. Он сам признавал, что пишет о состояниях человека почти запредельных, когда от человека остается очень немногое.

В одном из очень хороших рассказов О. Волкова описывается судьба пианиста Рубина, отказывающегося работать на морозе, ибо еще один такой день погубит его руки. Это рассказ о трагической гибели человека, продолжающего в лагере жить своей прежней жизнью и гибнущего в попытках сохранить себя прежнего. Апофеоз одного из лучших рассказов Шаламова "Надгробное слово" — это мечта героя о том, чтобы стать человеческим обрубком и "плюнуть им в рожу за все, что они делают с нами".* У этого героя уже нет никаких иллюзий о возвращении к прежней жизни. Не вернулся к ней и сам Шаламов. Олег Волков и Варлам Шаламов — оба абсолютно правдивы, но в приведенном сравнении выявляются некоторые принципиальные особенности писательского взгляда Шаламова. В "Надгробном слове" семь восьмых текста занимает экспликация — описываются жизни погибших. Посмертно им возвращаются их предлагерные биографии. Суть рассказа в его концовке, где говорится

*Новый мир, №6, 1989. — с. 115.

о еще живых, коротающих у натопленной печки рождественский вечер (этот чисто Диккенсовский мотив только усиливает ощущение бесчеловечности происходящего). Живые лишены биографий — речь идет только об их запредельном состоянии, их выпадении из человеческой жизни.

Шаламова не интересуется суд над жизнями тех, кто уже прошел лагерные муки. Все их идеологические схемы, житейские интересы, удачи, неудачи и вины остались по ту сторону бытия. Попал ли человек в волну 1929 года или 1937-го — не существенно. Важно то, кем он становится в лагерных условиях. Обвиняется не возможность осуждения невинных, а сама система, обесмыслившая понятие вины и наказания.

В рассказах Шаламова практически всегда присутствует персонаж, олицетворяющий автора и выносящий свой финальный суд над происходящим. Сам контраст между ясным сознанием автора и чудовищной бессмыслицей происходящего несет в себе оценку лагерного существования и самого существования лагерей. За счет этой оценки, воздействующей на читательские эмоции, строго документальный материал превращается в шедевры художественной прозы. В этой прозе начисто отсутствует психологизм, столь характерный для классической русской литературы 19-го века.

Именно поэтому интересно сопоставление лагерной прозы Шаламова с произведениями А.И. Солженицына, прямого наследника Толстовской традиции, узнаваемой не только в его приемах, но и в самом наборе персонажей, среди которых есть свои Платоны Каратаевы, Пьеры Безуховы и Берги.

Проза Шаламова принципиально антипсихологична, это проза предельного экзистенциального опыта, получаемого человеком, попадающим за грань человеческого существования. Она с трудом воспринимается теми, кому этот опыт чужд, кто еще готов верить в то, что жизнь в социалистическом государстве не лишила его остатков человечности, кто хотел бы считать себя еще сохранив-

шим человеческое достоинство. Вот почему советская интеллигенция не простила Шаламову его печально известное "отречение" и сразу отшатнулась от него, хотя подобные письма подписывали многие из читаемых и почитаемых.* Я уверен, что Солженицын никогда бы такого письма не написал, ибо для него был слишком важен собственный образ в глазах читателей. Но Шаламов считал более важной возможность хоть что-то опубликовать в своей стране, он видел в себе только писателя.

Не исключено, что это было и своего рода "вызовом" интеллигенции, не оценившей должным образом его дар. После этой публикации многие от него отшатнулись, вокруг него создалась почти пустота. Лично я даже внутри себя не могу давать никаких оценок поведению Шаламова. Его нравственное чутье несравненно выше моего. Мне доводилось слышать от людей, отсидевших свои лагерные сроки, что где и в лагерях были и человеческие отношения, и человеческие радости, и в этом смысле "человечный" Солженицын ближе к правде, чем "бесчеловечный" Шаламов. Такие вещи Шаламова, как "Очерки преступного мира", "Четвертая Вологда" и особенно "Перчатка или КР-2" уже не имели широкого хождения в самиздате и не попали в то время за рубеж. Очерки плохо воспринимались из-за их "негуманной" позиции по отношению к блатарям или "ворам в законе" как поставившим себя вне человеческой морали. Воспоминания о Вологде касались больных вопросов Гражданской войны, имевшей в те годы еще некий ореол "святости" в глазах интеллигенции.

Отпугивала и жесткость второй серии Колымских рассказов, где автор прямо утверждал, что в лагере нельзя апеллировать к знакомствам, начавшимся на воле, ибо это смертельно опасно в силу всеобщего страха доносов о якобы попустительстве. Солженицына интересует человеческое в нечеловеческих условиях. Человеку свойствен-

*Лит. газета, 29 февраля 1972 г. — с. 9.

но обустроиваться в самых трудных ситуациях. Недаром Иван Денисович остро ощущает удачу прожитого дня. В конце концов, мы и на воле жили в нечеловеческих условиях непрерывного страха и несвободы, которую даже шепотом нельзя было назвать таковой. Требовалось не просто говорить, но и думать, что живешь в самой свободной стране. Именно эти, думавшие по велению партии, сегодня жаждут возврата к старому. Писатель, сумевший увидеть человеческие проявления в нашей страшной жизни, был не только обманщиком, он помогал выжить. Вопрос в том, какая цена платится за такое выживание, за возможность думать, что мы живем в стране Пушкина, Чехова и Толстого? Шаламов ясно понимал, что, в действительности, сохранить в себе человеческое можно, только осознав бесчеловечность нашей жизни. Его поле наблюдения принципиально отлично от того, которое выбрал Солженицын. В своем первом письме к нему Шаламов как бы предполагал, что молодой автор двинется в ту сторону, которую сам он, Шаламов, уже открыл. За восторженными похвалами повести можно не сразу заметить важные поправки Шаламова: "Очень хорош бригадир..., хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром..., ибо хуже такой должности... в лагере нет", "ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего твоему товарищу, особенно работать".

А как оба писателя относились к лагерной литературе? Для Шаламова решающим аргументом служит вопиющая бездарность плеяды фальшиво пишущих о лагерях. Талант, по Шаламову, есть критерий и гарантия правды, ибо талант это и есть способность увидеть и высказать правду в единственно точных словах. Быть почти-правдивым — это называется лгать. Почти-талантливость — это бездарность. В литературе и то и другое равносильно подлости: "Желание обязательно изобразить "устоявших" — это тоже вид растления духовного". Стремление судить о писателе по его таланту, а не жизненному опыту, показывает, что Шаламов связывает талант с упомянутой

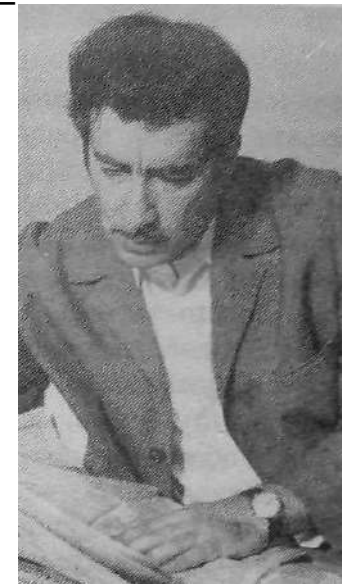
выше способностью быть "инструментом познания мира". Бездарность — это негодность писателя как инструмента познания. В другом месте Шаламов писал, что талант это не труд, а свойство личности, однако труд есть потребность таланта в самореализации.

Пути, проложенные Шаламовым и Солженицыным, не отрицают, но дополняют друг друга. Солженицын делает акцент на отказе от лжи путем возвращения к лучшим традициям русской классики. Шаламов уверен в том, что подлинный талант художника гарантирует правду изображения и заставляет искать изобразительные средства, способные ответить на вызов эпохи.

Начиная с этого номера, редакция вводит новую рубрику "СУДЬБЫ". Под этой рубрикой будут печататься острые документальные рассказы о жизни, характерах и драматических поворотах судьбы некоторых наших соотечественников в Америке. Предлагаемое в этом журнале эссе Виктора Перельмана "Один на свете жил солдат..." посвящается судьбе доктора Владимира Сафонова.



СУДЬБЫ



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ОДИН СОЛДАТ НА СВЕТЕ ЖИЛ...

Драма доктора Сафонова

Рыцарь удачи

"Ну, теперь начнется война денег, — сказал после всего случившегося один из друзей Сафонова. Победит та сторона, у которой будут сильнее адвокаты и которая, естественно, больше заплатит. Никто не знает, сколько эта война протянется: год-два-десять? Но мне кажется, шансы на успех ничтожны. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк никогда не признает своей вины — в таком скандальном, нашумевшем деле. Да вы что? Когда замешано столько людей и интересов, сам губернатор Куомо! Вы же читали статью в "Нью-Йорк Таймс?"

— А если друзья Сафонова победят? Что тогда?

— О, тогда! — иронически улыбнулся мой собеседник. Тогда... виновных лиц... спровадят на пенсию...

А дальше? С самим Сафоновым что? Из-за которого

весь сыр-бор? Пожалуй, с этого и следовало начать, сказать в самой первой фразе. Дело в том, что самого Сафонова уже нет в живых — доктор Владимир Данилович Сафонов 11 июня 1993 года покончил жизнь самоубийством. Думаю, если бы не этот трагический факт, вообще никакой бы войны не возникло. Все лица из указанного выше Департамента здравоохранения сидели бы на своих местах, и действовал бы все тот же порядок вещей, при котором, как видно, чтобы быть услышанным, человеку надо пустить себе пулю в лоб.

Одно обстоятельство затрудняет мою и без того не простую задачу. Журналистке "Нью-Йорк Таймс" Мэри Куммингс, напечатавшей об этой истории статью, было легче. Человеку со стороны в таких случаях всегда легче. Мэри Куммингс спрашивала: что все-таки побудило этого жизнерадостного, полного сил человека и преуспевающего хирурга застрелиться? Мне не отделаться ни этой общей характеристикой, ни этим риторическим вопросом — тем более не сохранить столь полезной в подобных случаях беспристрастности. Дело в том, что я был хорошо знаком с Сафоновым. Ездил к нему в гости на Лонг Айленд, встречался с ним на днях рождения и бармицвах. Всем он нам тогда казался "рыцарем удачи", которого все без исключения любили — и за то, как с шумом и своими вечными сафоновскими хохмами вваливался в компанию, часто прямо после операции (никогда не расставаясь с болтающимся на пояске бипером), как, весело звеня ножами и вилками, усаживался за стол и начинал поднимать тосты — любил человек хорошо выпить и закусить и в такие минуты становился особенно нежен и галантен с дамами, обожал исполнять Окуджаву и Высоцкого, и, полный вдохновения, сам себе аккомпанировал на стуле. Не могу припомнить, пел ли он при мне "Бумажного солдата" Окуджавы. Помните: "Один солдат на свете жил, красивый и отважный". Возможно даже пел. Много позже его старшая дочь Ирина рассказала, что он этого "Бумажного солдата" обожал. И даже она, когда поступала в первый класс, тоже эту песню

пела — в общем, стал этот бумажный солдат любимцем их семьи.

Никаких авторитетов Сафонов не признавал, любого мог послать подальше, вечно лихачил на дорогах (в связи с чем постоянно возникали проблемы с полицией), зарабатывал бешеные деньги, сорил ими направо и налево, в его домах всегда кто-то гостил, вечно он оплачивал чьи-то счета, кому-то помогал, кого-то куда-то продвигал — и все это проделывал легко, как бы между прочим, ровно это ему ничего не стоило.

Помню, когда моя жена искала резидентуру, он позвонил и стал тащить ее к себе на Лонг Айленд и не желал выслушивать никаких возражений. "Вы видели, она не хирург! Так научим, не боги горшки обжигают. Нет квартиры — снимем, у меня будешь жить! Ах, как быть со "Временем и мы"? Да ты, мать, будешь столько зарабатывать, что сама "Время и мы" содержать сможешь!"

Странное дело: был он будто весь на ладони, а его истинного мы так и не знали, — что он был не просто "рыцарем удачи" и душой компании, а и кем-то совсем другим, тогда еще нам не знакомым. Вот и тянет меня пройти его историю еще раз, вслед за высказываниями коллег и друзей, за газетой "Нью-Йорк Таймс", за всеми другими газетами. Однако взглянуть на все случившееся с другой точки зрения, пройти как бы все на другом уровне.

Последняя встреча

Вспоминаю нашу последнюю встречу в Нью-Йорке, на одной эмигрантской свадьбе, на которую он, по-видимому, как и я, попал случайно. Встретились при выходе, в гардеробе. Ни с того, ни с сего, он начал меня расспрашивать, не собираюсь ли я в Москву, и к полной для меня неожиданности стал предлагать, чтобы мы ехали вместе. Дело было за полночь, оба мы были сильно навеселе, и, не зная, как среагировать, я стал над его просьбой посмеиваться. Он вдруг обиделся, словно ему

плюнули в душу: "Да вы знаете, зачем он в Москву едет! — кивнул на меня и желчно рассмеялся. — Догадываетесь, зачем?" Это была его детская месть, а за что, я понял много позже.

Когда его не стало, я начал вспоминать дату этой свадьбы, с тех пор не оставляет меня чувство вины, а не было ли это уже время, когда у него начались неприятности. Он хотел вырваться, куда угодно убежать, — а я, "инженер человеческих душ" так ни в чем и не разобрался.

Думаю, было в нем как бы два уровня, один Сафонов — на поверхности, каким мы все его знали, знакомый всем нам "рыцарь удачи", а про другого вот так просто и не скажешь — этот Сафонов открывался постепенно, по мере того, как развивалась его история. На первый взгляд, обычная бюрократическая тяжба. Все было так и не так. Ибо на самом-то деле он отстаивал истину, свой взгляд на мир, свое человеческое достоинство. Как ни странно, но последнее в наши дни может оказаться смертельно опасным для человека. Легко дается жизнь людям бесхребетным. Сафонов не был таким. А взглянуть с другой стороны — какая невероятная нелепость: жил рядом человек, душа нараспашку, а узнать его удалось только после того, как он пустил себе пулю в лоб.

Как мы уже знаем, в этой истории замешан Департамент здравоохранения, точнее, одно из его подразделений под названием "Отдела расследования непрофессионального поведения врачей" (Office of professional medical conduct (ОПЭМСИ)). Чем конкретно занимается этот отдел? Он занимается всем. Говорили, что он создан по инициативе самого губернатора Куомы. По крайней мере, губернатор всегда его защищал, когда делались попытки ограничить его права. В результате появился как бы высший судебный орган, наделенный практически неограниченными полномочиями, и в этом, по-видимому, заключалась большая опасность. Так или иначе 10 июня 1993 года Сафонов получил от ОПЭМСИ пространное письмо, содержащее длинный перечень обвинений по его

адресу. В итоге в связи с проявленной некомпетентностью и халатностью в работе ему запрещалось в течение двух лет самостоятельно делать операции. Не больше, не меньше!

Он тотчас сел сочинять протест на имя главы Департамента здравоохранения Марка Хассина, в котором писал, что ОПЭМСИ допустил величайшую несправедливость, что присланное ему "заклучение в условиях сегодняшней жесточайшей конкуренции равносильно смертному приговору, который вынесен врачу."

К этому неоконченному письму мы еще вернемся, а пока лишь сообщим, что он покончил с собой на другой день утром, застрелившись в собственном саду, вблизи от озера, которое он когда-то купил вместе с домом и большим лесным участком. Не станем тратить время на описание шока, поразившего всех, кто его так или иначе знал. Прощание продолжалось три дня, гудел весь Саутхэмптон, 75 врачей выступили с открытым письмом в газете "Ньюс-дэй", затем статьи в местной печати и, наконец, "Нью-Йорк таймс". В дом Сафоновых непрерывным потоком шли письма — от коллег, от друзей, от пациентов, и самое интересное — от совершенно не знакомых людей, о которых он никогда и нигде не упоминал, и которые только теперь обнаружили, чтобы выразить благодарность за то, что он им когда-то помог. Но сафоновская широта — это особая тема, между прочим, также проистекающая из его характера, о котором у нас еще пойдет речь.

Да здравствуют анонимщики!

Начало этой истории положило анонимное письмо, присланное в Департамент здравоохранения Штата Нью-Йорк. Автор письма ставил департамент в известность о том, что доктор Сафонов осуществляет неправильное лечение больных, о чем свидетельствует ряд сделанных им за последние годы операций. В качестве доказательств приводились пять случаев. Само их описание говорило о

том, что автором письма был коллега Сафонова, хорошо осведомленный о всех его делах и делавший операции в тех же, что и он, госпиталях.

Один из случаев был оставлен без внимания, четыре других стали предметом рассмотрения дисциплинарного отдела Департамента здравоохранения. Но прежде чем идти дальше, давайте коснемся профессиональной биографии Сафонова. В 24 года он закончил старейший в России Первый Московский Медицинский институт, работал в Институте проктологии 67 городской больницы, где оперировал под руководством знаменитого московского хирурга профессора Александра Наумовича Рыжика, к которому приезжали пациенты со всей Европы.

После того, как эмигрировал, попал в Миннеаполис, затем в Южную Дакоту, затем закончил хирургическую резидентуру в Стони Брук Госпитале у ведущего хирурга этого госпиталя, профессора. Гарри Сорова. Получив право практиковать, начал прием больных в Саутхэмптоне и Риверхеде, на юго-восточном побережье Лонг Айленда, и в двух госпиталях оперировал больных. Несмотря на то, что был сравнительно молод, за его плечами было более 20 лет хирургической практики. Местные врачи охотно посылали ему пациентов, и не прошло двух-трех лет, как он стал в этих местах одним из самых популярных и преуспевающих хирургов. Может быть, оттого, что не отказывался ни от каких операций, соглашался на самые простые и для хирурга не очень выгодные, такие, например, как аппендицит или грыжа. Когда приглашали к больному, он тотчас ехал, в любое время дня и ночи, его трудоспособность воистину не знала границ. Как впрочем и широта натуры, какая-то старороссийская, не знающая пределов широта. И если вспомнить его всегдашний оптимизм, и то, что был самым веселым в госпитале хирургом, всех вечно подбадривал и всегда шутил, и неизменную его доброжелательность к коллегам и персоналу, — вспомнить это все, и появление анонимки может, вообще, показаться странным. Но жизнь надо принимать такой, как она есть, поэтому попробуем понять

и другую сторону и на минуту заглянем в мысли врача, пославшего анонимное письмо. Лично меня не удивляет, что среди сафоновского окружения нашлась такая личность, с самого начала возненавидевшая его. У всех он вызывал восторг, а у этого совершенно иные чувства. Так оно и случается в жизни: он не перебарывал в Сафонове именно те качества, которые у других вызывали симпатию: что не гнушался тот никакими операциями, и бесплатно оперировал бедных, и работал за троих, и зарабатывал столько, что позволял себе покупать дом за домом, и сам жил в имении за полмиллиона с видом на собственное озеро, имел свой катер... И ко всему еще был человеком независимым, и самое главное, что ведь не американский врач, а нувориш, советский эмигрант, со своим ужасным акцентом и своими плебейскими замашками. Конечно, Америка — страна эмигрантов, но слова эти следовало правильно понимать, а Сафонов не желал знать никакой дипломатии (позже это ему еще аукнется). Он ощущал себя специалистом своего дела — у хирурга это особое чувство! — и хотел идти по жизни, как хозяин. И если от этого неудачника к нему переходили пациенты (а то, что это был неудачник и бездарь, я чувствую кожей), то он с удовольствием их принимал и, думаю, даже испытывал тайное ликование, что они шли к нему, а не к американцу. Он вел честную игру и не хотел понять, в сущности, самой простой вещи, что никакой не талант и не успех, и даже не деньги, а з а в и с т ь правит миром. Деньги, власть, успех — это уже потом, а изначально — зависть! И применительно к врачам прописную эту истину следует возвести в квадрат, в куб, в десятую степень. И имя этому всему — конкуренция. Вот чего он не понимал. Или полагал, что конкуренты будут действовать против него в таких же белых перчатках, в каких делают операции?

В чем-то анонимщики во всем мире одинаковы, — и на каком бы языке не писали, неизменно пекутся о высших интересах. В Америке, например, прежде всего о соблюдении закона и порядка. За порядком в ней следят

все, в том числе рядовые граждане, которые, если вы неправильно запарковались, считают себя обязанными сообщить в полицию, если манкируете своими обязанностями на работе — доложить начальству, если транжирите на своем участке воду — написать в мэрию. Так что не думаю, что врач, написавший жалобу на Сафонова, чувствовал хоть какое-то угрызение совести. Он сигнализировал наверх. Пускай без подписи. В Америке таких людей не обязывают к подписи. Говорят, это их право даже предусмотрено в каких-то официальных документах, дабы сочинители анонимок не боялись расправы и мести. Не станем рассматривать моральные аспекты этого закона. У меня лично анонимки не вызывают восторга. И почему-то думаю, что у вас, дорогие читатели, тоже. Но мало ли что в чужом монастыре у нас не вызывает восторга! К тому же, согласимся, что ведь расправа и месть действительно возможны. Но кого, спрашивается, боялся врач, анонимно выступивший против Владимира Сафонова? Русского эмигранта, оказавшегося в чужой стране и по одной этой причине не имеющего равных возможностей с ним состязаться?

Анастомоз или колостомия?

Как мы уже знаем, Сафонову инкриминировалось четыре случая неправильного лечения. К их изложению я и хотел бы перейти (отдаю себе отчет в щепетильности своего положения — писать то, о чем не имею почти никакого представления). Потому и не ощущаю за собой никакого права на собственные оценки. Но ведь Сафонов действовал не в безвоздушном пространстве, а среди таких же, как он, практикующих и независимых хирургов, на мнения которых я и буду опираться.

Итак, первый случай относился к 87-летней женщине, которую привезли к Сафонову на консультацию через час после полученного ею прободения толстой кишки у другого хирурга.

Вспоминая эту историю, автор анонимной жалобы пи-

сал, что доктор Сафонов, в нарушение общепринятых стандартов, сделал больной "анастомоз", т.е. осуществил сшивание здоровых частей кишки, тогда как в таких случаях рекомендуется "колостомия", т.е. вывод прямой кишки, — операция более быстрая и безопасная. Другие обвинения сводились опять же к отклонениям от стандартов — в одном случае он вовремя не сделал переливание крови, считая, что для этого не было показаний, в другом, — у жертвы автомобильной аварии — он счел нужным ограничиться ревизией брюшных органов и не сделал корректирующих операций...

Следует отметить, что все эти случаи относились ко времени между февралем 1988 года и августом 1989-го, то есть имели почти четырехлетнюю давность. И произошли на фоне тысяч других, куда более сложных и никем не оспариваемых операций. Так что, думаю, не случайно, узнав о жалобе, коллеги посоветовали ему не обращать на нее внимания. Такие обвинения могли быть предъявлены любому хирургу, и серьезным врачам было смешно, из чего пытались "сделать дело".*

Тем не менее, когда в октябре 1992 года Сафонов получил извещение, что на ноябрь назначается первое слушание по жалобе, он заново провел ревизию всех обвинений. Наверху этой жалобе явно придавали значение, и, значит, ставилась под сомнение его квалификация хирурга. Хирургия была в его жизни главным. Всего остального могло не быть. Но исчезни хирургия — исчез бы сам смысл существования.

Что касается отклонений от стандартов, то, по мнению друзей и коллег, этих отклонений у него не могло не быть. Возможно, даже в силу склада характера. Стандарты были отправным пунктом. Но в ходе операции, в

*Позже партнер Сафонова Мирант Ботер, с которым они вместе вели прием в Саутхемптоне и Риверхеде, рассказал мне, что провел среди хирургов опрос, часть высказалась за "колостомию", а большая часть за "анастомоз", т.е. за решение Сафонова.

условиях сопутствующих ей стрессов, он считал для себя важным находить собственные решения, за которые готов был отвечать головой.

Вероятно, существует и другой подход, более осторожный и консервативный, но Сафонов этот другой подход не признавал. В конце концов, важны были результаты, а они подтверждали его правоту.

С другой стороны, он слишком себя уважал, чтобы позволить себе не признать ошибки, если бы они действительно имели место. "Они не хотят понять простой вещи, что главный мой судья — это моя совесть!" — говорил он. Но в том-то и дело, что он снова пришел к заключению, что все было верным — можно было избрать один вариант, можно было другой — право решать оставалось за хирургом. С таким настроением и явился на первое слушание, готовый пойти на все, чтобы отстоять правоту, и смутно представляя себе, какого рода инстанция приступает к разбору его дела.

А он на ниточке висел.

Слушание, на которое был приглашен Сафонов, действительно напоминало судебное заседание — с обвинением, защитой, экспертизой, свидетелями. "Судьями" оказались три пожилых, уважаемых врача, к которым нельзя было предъявить никаких претензий, за исключением одной: их специальность имела весьма отдаленное отношение к общей хирургии.

Первым был доктор Лестер Гутник из Рочестера — в "Медикал директори штата Нью-Йорк" (1989 — 1990 гг.) он упоминался как хирург-ортопед, окончивший в 1944 году Чикагский университет, другим был — доктор Стивен Лапидус из Пакипси, упоминаемый как специалист в области лицевой хирургии. Третий доктор — Роберт Парадни выполнял в Комиссии функцию штатного эксперта-свидетеля. Вот в этом облике на ноябрьском слушании и предстала перед Сафоновым эта "тройка". Мы помним это зловещее слово из времен сталинских чисток. Но не

станем заниматься спекуляциями. События, о которых идет речь, происходили и в другом мире, и в другие времена, хотя о членах комиссии и стоит сказать отдельно. Позже Сафонов будет более всего возмущаться, что среди них не было ни одного практикующего хирурга, с которым он бы мог говорить на равных. Но главное было в другом — в его глазах ОПЭМСИ был типичный орган сыска, чья единственная цель состояла в том, чтобы "выловить" и наказать виновных. (В своем предсмертном письме он им еще не такое бросит.) Наверное, он преувеличивал — на самом деле это была обычная бюрократическая контора, наделенная, впрочем, непомерно большими правами.

У нас нет данных о том, какие взаимоотношения сложились между Сафоновым и проверяющими его лицами, но думаю, что с самого начала тут не было идиллии. Людям практики всегда неприятны вышестоящие бюрократы. В их глазах, если использовать язык войны, это штабисты, которые не нюхали пороха и потому не заслуживают никакого уважения. Таким я, собственно, и вижу климат, возникший на слушаниях. И Сафонов, со своим независимым характером, вряд ли не дал им почувствовать, что он как хирург знает себе цену. И им цену он тоже знает. Вот тут-то, на мой взгляд, и был заложен корень конфликта. Никак он не хотел понять, что перед ним — в л а с т ь , а он-то как раз никто, объект расследования, бумажный солдат, который, попав в жернова системы, с самого начала, подобно герою Окуджавы, "повис на ниточке".

Позже, после его самоубийства, корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Мэри Куммингс попросила прокомментировать случившееся представителя Департамента здравоохранения миссис Шоттенфельд. Ответы ее представляют немалый интерес. По крайней мере для понимания той силы, на противостояние которой решился наш наивный солдат.

"Мы чувствуем себя ужасно после всего случившегося, — заявила миссис Шоттенфельд, — но глядя назад,

никто не может бросить упрек, что наши обвинения не имели под собой оснований". И далее миссис Шоттенфельд излагает принципы, которыми руководствуется в подобных делах Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк. Главный принцип — это защита акюзера (как элегантно она именуется анонимщиком), пускай он даже пишет, чтобы задушить конкурента, имя его ни при каких обстоятельствах не должно быть раскрыто. Акюзеру даже не следует утруждать себя сбором доказательств, — этим, чтобы поддержать его, займутся специальные люди, назначенные Департаментом здравоохранения. И если найдется достаточно доказательств, то Департамент сам выступит в роли обвинителя. Что касается "судей", то разумеется, все делается для того, чтобы подобрать таких людей, профиль которых отвечал бы поставленной задаче, но самым важным является их способность заслушивать мнения обвинителя и защиты и особенно экспертов по данному делу.

Как видим, ни слова о Сафонове и вообще ни одного живого слова. (Ни о том, что за судьи судили Сафонова — компетентны ли были — и отчего даже эксперт, престарелый доктор Парадный, и тот оказался проктологом.) Обо всем этом ни слова, а лишь холодная к а з у и с т и к а, мертвый свод правил, согласно которому и решалась судьба человека.

Итак, на ноябрьском слушании ему было предъявлено обвинение, в январе — планировалось заслушать защиту и его свидетеля, профессора Гарри Сорова. В чем состояло обвинение, мы уже знаем, к защите подойдем ниже. А пока о событии, которое неожиданно врывается в нашу Одиссею, и, с одной стороны, многократно ускоряет ход дела, а с другой — показывает, чего вообще стоило все это расследование.

Подарок на Кристмас

24 декабря 1992 года в местной газете "Ньюс ревью" публикуется большая статья, в которой подробно пере-

числяются обвинения, выдвинутые против Сафонова. "Статья была подобно разорвавшейся бомбе!" — рассказывает доктор Мираб Ботер. На слушании Сафонову были еще только предъявлены обвинения, но газетой он уже был объявлен виновным. Разумеется, никто не располагал доказательствами, — имелась ли связь между анонимным письмом и статьей в "Ньюс ревью", но все было шито белыми нитками: какие-то силы старались подкрепить жалобу анонимщика авторитетом газеты. И даже то, что статья появилась в кристмасовский вечер, когда Америка праздновала свой самый большой праздник, тоже не выглядело случайностью.

Предполагалось, что в праздничный вечер эта публикация явится для Сафонова особо приятным сюрпризом. Но и этим не кончилось. Чтобы не забыть о газете, она в те же кристмасовские дни была подослана ему в офис. На конверте красовался адрес: "Этой русской свинье Сафонову!"

Статья в "Ньюс ревью" была грубейшим нарушением конституции, согласно которой никто не может быть обвинен иначе, как по решению суда. Никакого суда по сафоновскому делу не было. Не было, как мы сказали, даже ублюдочного разбирательства на ОПЭМСИ, присвоившей (опять же вопреки конституции) себе право судебной инстанции.* Но так или иначе статья в "Ньюс ревью" свое дело сделала — по городу, как и следовало ожидать, пошли слухи. Де, нет дыма без огня, и вместе со слухами и пересудами практика Сафонова резко пошла вниз.

В подобной ситуации человек может вести себя по-разному. Как вспоминает доктор Александр Мильман, один из близких друзей Сафонова, он не был политиком. Был он абсолютно прямолинеен и верил только в себя.

* Впрочем, уже в те дни вопрос о незаконности преждевременных публикаций обвинений разбирался в судебном порядке. Через четыре дня после самоубийства Сафонова решением апелляционной палаты штатного суда по аналогичному делу такая практика была запрещена.

"Искал ли он помощи? Пожалуй, нет, он сам всем помогал, всех поддерживал, и, я думаю, другой своей роли в жизни не знал, потому, верно, и не хотел никого пускать к себе в душу. Единственно, о чем он говорил, — о своей мечте поехать в Москву и за сто миллионов построить там американский лечебный центр. Чем тяжелее было положение, тем чаще говорил о Москве."

Как мы знаем, на втором слушании в качестве свидетеля выступал его учитель профессор Соров, который великолепно обосновал то, что ни в одном из четырех инкриминируемых Сафонову случаев не было допущено ошибок. Как хирург думающий, он был вправе принимать самостоятельные решения, и то, что он решал, с медицинской точки зрения имело такое же право на применение, как и то, что предлагали члены ОПЭМСИ. Но мнение Сорова, вспоминает доктор Ботер, на слушании никого не интересовало. Все было предрешено, обвинение вынесено (и даже опубликовано в газете), и судьи лишь для проформы выслушивали стороны.

Позже профессор Соров снова вернется к этой истории. "Все это расследование, — скажет он, — представляло собой грубую работу. У Сафонова был быстрый и очень живой ум. Проявляя блеск и разнообразие в своем подходе к больным, он добивался успеха. Не могло быть и речи о халатности в работе. Но самое худшее, что пытались ему навесить, — профессиональную некомпетентность, неспособность ставить диагнозы и принимать верные решения." После слушания Соров пытался успокоить Сафонова, но тот теперь понимал, куда идет дело, и вернулся домой крайне подавленным. С этого дня над его головой уже висел дамоклов меч. И это продолжалось пять месяцев — пять месяцев в ожидании приговора, который не предвещал ничего хорошего.

— Все дело было в том, что он был человеком принципов, — продолжал доктор Мильман, — он всю свою жизнь отдал хирургии, верил в то, что делал, и не хотел отступить ни на шаг под давлением этих некомпетентных людей. Я уверен, что если бы он хоть для виду сказал

им: "Ай эм сори!" — они бы не стали слишком настаивать. Их чиновничье тщеславие было бы удовлетворено, поскольку весь мир бы увидел, что они не зря просиживают штаны и едят хлеб налогоплательщиков. Но для этого надо было быть юлой и политиком, а он был слишком горд и самостоятелен. Да и зачем он уезжал из Союза, если надо было снова лгать и идти на сделки с совестью.

Не хочу жить с опаленными крыльями

Мне осталось описать последние дни этого противостояния. Это уже не была война денег, которая вдохновила анонимщика, и, в сущности, стала подоплекой этой истории. Для Сафонова это была война другого рода. Он боролся за то, чтобы отстоять свою правоту и честь врача, за свое человеческое достоинство — за такие вот старомодные вещи, в пылу забыв, кем был он и кому был им брошен вызов. (Снова все развивалось по Окуджаве, чей бумажный солдат становится типичным героем нашего времени). Все последние дни Сафонов обсуждал с женой и друзьями возможные повороты в жизни. Во-первых, это была, как всегда, Москва, во-вторых, переезд в Нью-Йорк и поступление в онкологическую резидентуру. В другие дни, говорили, он хотел стать врачом дерматологом. Но ни один из этих вариантов так и не был использован.

Конец истории известен. В письме от 10 июня, фактически лишившем его на два года права практиковать, старались ему вставить каждое лыко в строку. Вспомнили даже, как он однажды, отстаивая решение, среди прочего, сослался на интуицию. Даже это должно было бросить пятно на его компетентность — какой же серьезный врач будет руководствоваться интуицией. Последние его часы, по рассказам близких, были особенно мучительны. Письмо пришло уже на исходе дня, он довольно долго обсуждал с женой, Инной, что предпринять, но так ничего и не придумали. До рассвета оба не могли уснуть. Где-то часов в шесть Инна задремала, а когда утром, около

восьми, проснулась, Сафонова рядом не было. Она вышла на улицу, его машина стояла на месте. Решив, что муж пошел прогуляться, выехала на улицу, но не найдя его, вернулась и, окликая, стала обходить сад, пока не нашла его... уже мертвым.

Окидывая взглядом случившееся, я хотел бы сослаться на письмо доктора Джозефа Миранды, в прошлом работавшего вместе с Сафоновым в Риверхеде, а ныне ассистента профессора и ассистента декана медицинского факультета университета в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

"Те, кто вел это дело, не придерживались никаких норм, — писал доктор Миранда в своем открытом письме губернатору Куомо, — это был настоящий произвол, ибо не соблюдались никакие правила проверки доказательств."

"Я обвиняю, — писал он, — Департамент здравоохранения, Отдел по расследованию непрофессионального поведения врачей, Медицинский борд по делам врачебной квалификации штата Нью-Йорк в небрежности, некомпетентности и недоброжелательности, которые они проявили в отношении моего друга Владимира Сафонова. Я призываю к официальному непредвзятому расследованию всей деятельности этого хирурга безупречной репутации. Если те, кто будет проводить это расследование, придут к выводу, что доктор Сафонов был действительно некомпетентен и небрежен, значит, система работает, но если выяснится, что Сафонов таким не был, значит, система богохульствует над принципами честности и благородства."

Вопрос о том, как работает эта система, действующая вопреки Конституции, сегодня ни для кого не составляет секрета: как выяснилось, начиная с 1989 года, самоубийство Сафонова было в этих местах уже третьим по счету. Теперь его друзья и сторонники намереваются судить тех, кто довел его до такого трагического конца. Нанимают адвокатов. Собираются подать в суд на губернатора Куомо. Но я — пессимист. И так же, как друг Сафонова, словами которого я начал это эссе, не очень

уверен, что свет победит тьму. Одни бюрократы уйдут, другие придут на их место. И вряд ли жизнь порядочных людей — вроде погибшего Володи Сафонова — на нашей брэнной планете как-то преобразится.

Мы помним, что перед смертью им было оставлено недописанное письмо, в котором он из последних сил, на восьми страницах пытается оспорить предъявленные обвинения. Все они ложны. Судили его те, кто был не вправе судить, и действовали, как действовали Гестапо и КГБ... В этом месте письмо обрывается... Возможно, перечитав его, он почувствовал, сколь бесполезно и бессмысленно все им написанное. Отчего же он не воспользовался выходами, которые сам рассматривал? К тому же он был состоятельным человеком и мог безбедно прожить, пока улягутся неприятности и его восстановят в правах. Но ведь это значило молча смириться с судьбой, молча принять унижение. А для этого он был слишком гордым человеком. "Я не могу жить с опаленными крыльями!" — писал он жене в последней записке. Он так и остался висющим на ниточке бумажным солдатом — по иронии судьбы его любимая песня оказалась песней о самом себе. Тогда, видно, и понял: чтобы спасти честь, остался у него один-единственный путь. Этим последним выходом и стал выстрел в себя: смертью мою, джентельмены, вам придется услышать!

Говорят, что самоубийство есть акт слабости. Это как у кого. Солдат Окуджавы, любимец Сафонова, как мы знаем "не тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный". Конец тоже помните? "В огонь, ну что ж, иди, идешь — и он шагнул однажды, и там сгорел он ни за грош, ведь был солдат бумажный".



ИСПОВЕДЬ ПАЛАЧА

Эти мемуары пролежали в секретном архиве семьдесят лет. Написаны они Яковом Юровским. Именно он был организатором убийства Николая II, его семьи и близких им людей. Он же и руководил расстрелом, совершенным июльской ночью 1918 года в подвале реквизированного дома инженера Ипатьева, в центре Екатеринбурга.

НИКОЛАЙ НАШЕЛ СВОЕ МЕСТО

В первых числах июля 1918 года я получил постановление Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Урала предписывающее мне занять должность коменданта в доме так называемого Особаго назначения, где содержался бывший царь Николай II со своей семьей и некоторыми приближенными.

7-8 июля я отправился вместе с председателем Областного Исполнительного Комитета Советов Урала тов. Белобородовым в дом Особаго Назначения, где и принял должность коменданта от бывшего коменданта тов. Авде-

ева. Нужно сказать, что как тов. Авдеев так и его помощник тов. Украинцев по-видимому небрежно относились к своим обязанностям, считая лишней проволочкой охрану царя, которого по их мнению надо было поскорее ликвидировать. Такое их отношение не могло не отразиться и на настроении рабочих б. Злоказовского завода, которые находились там в составе охраны, а также красногвардейцев из Сысертского завода, рабочие давно поговаривали, что и Николая, и его семью следовало бы давно расстрелять, не тратя народные деньги на них, на содержание охраны и так далее. Однако пока не было никакого определенного решения из центра по этому вопросу, необходимо было принять меры, чтобы охрана стояла на должной высоте. Нужно сказать, что как сигнализация, которая связывала нас с Советским полком и частями наружной охраны, а также пулеметы расставленные в разных местах, были не в должном порядке. Это обстоятельство понудило меня набрать известных мне закаленных товарищей, которых я взял частью из Областной Чрезвычайной Комиссии, где я был членом коллегии, а частью из Отряда Особаго Назначения при Екатеринбургском Партийном Комитете. Таким образом я организовал внутреннюю охрану, назначил новых пулеметчиков, одного из них я особенно помню, товарищ Цальмс (латыш) фамилии остальных товарищей в настоящее время не припомню. Нужно сказать, что на случай пожара также не были приняты меры. Были пожарные приспособления, имелся колодец, из которого можно было брать воду, и я в виду этого занялся организацией всего необходимого на всякий случай. При ознакомлении с арестованными, мне бросились в глаза ценности, которые находились на руках как у Николая, так и его семьи и у прислуживающих: у повара Харитонова, лакея Труппа, а также у врача Боткина и фрейлины Демидовой. В составе арестованных был еще мальчик Седнев, который прислуживал Алексею. Как в доме так и в складе находились царские вещи в огромном количестве мест. Я внес предложение о про-

изводстве обыска, но не получил на это разрешение от Исполкома.

Нужно полагать что этот обыск не считали нужным делать в виду того, что в это время напали на след ведения переписки Николая с волей. Считая что оставлять ценности на руках не безопасно, так как это может все-таки соблазнить того или другого из охраны, я решил на свой страх и риск ценности, находящиеся на руках, отобрать. Для этого я пригласил с собой помощника коменданта тов. Никулина, поручил ему переписать эти ценности; Николай, а также дети, громко своего недовольствия не выражали. Он только просил оставить часы Алексею, так как без них ему будет скучно. Александра Федоровна же выражала громко свое недовольствие, когда я хотел снять с ее руки золотой браслет, который был одет и закреплен на руке и который без помощи инструмента снять было невозможно. Она заявила, что 20 лет носит этот браслет на руке и теперь посягают на то, чтобы его снять. Принимая во внимание, что такие же браслеты были и у дочерей и что эти браслеты особой ценности не представляют их оставил. Переписав все эти вещи я попросил шкатулку, которую мне Николай дал, сложил туда вещи, опечатал комендантской печатью и передал на хранение самому Николаю. Когда я приходил на проверку, которую, я установил, Николай предьявлял мне шкатулку и говорил: "Ваша шкатулка цела".

В смысле продовольствия семья получала в начале советский обед. Обеды эти были далеко не изысканные, но снабжение обедами с воли решили прекратить. Обеды стали готовить на кухне. Кроме того, мне удалось узнать, что из монастыря царской семье приносят ежедневно ватрушки, масло, яйца и т.д. Я это решил принять, но был крайне удивлен, что разрешаются такие вольности. Позднее я узнал, что это было разрешено комендантом Авдеевым, но тов. Авдеев не много передавал семье, а больше оставлял для себя и товарищей. Я решил все принесенное семье передать. Только на второй или третий день мне удалось узнать, что приношение было раз-

решено тов. Авдеевым. Я решил все приношения прекратить, разрешив приносить только молоко, доктор Боткин заявил мне "Только при Вашем назначении в течении двух дней мы получали полностью все приносимое из монастыря и вдруг мы всего этого снова лишились, дети так нуждаются в питании, а питание так скудно, мы были очень обрадованы, что стали получать все приносимое из монастыря". Однако я отказался передавать все кроме молока, а также решил перевести их на тот паек, который был установлен для всех граждан г. Екатеринбурга, так как продуктов в городе было мало, я считал, что мои заключенные ничего не делают и могут довольствоваться тем пайком, который получали все граждане. По этому поводу ко мне обращался повар Харитонов с заявлением, что он ни как из четверти фунта мяса не может готовить блюд. Я ему отвечал, что нужно привыкать жить не по царски, а как приходится жить: по арестантски.

Как не трудно было Харитонову справиться с этой задачей, он был вынужден точно отмеривать и отвешивать то количество, которое причиталось на каждый день. Я ему заявил, что ни каких продуктов, в случае нехватки, добавочно не будет отпущено.

Комната где помещалась Александра Федоровна с nasledником, выходила окнами во двор, который от улицы был отгорожен деревянным забором. Она позволяла себе часто выглядывать в окно и подходить близко к окну. Однажды, однако Александра Федоровна позволила себе подойти к окну. Она получила от часового угрозу ударить штыком. Она пожаловалась мне. Я ей сказал, что выглядывать в окна не полагается.

За три — четыре дня до казни в комнату Александры Федоровны была вставлена железная решетка. Доктор Боткин по этому поводу заявил, что было бы хорошо, если бы такие решетки поставили и в другие окна. Внутренний распорядок во времени был такой: утром вставали до 10 часов. В 10 я являлся для того, чтобы проверить все ли арестованные на лицо. По этому поводу Александра Федоровна высказывала недовольствие, что она не

привыкла так рано вставать. Тогда я сказал, что могу проверять, когда она будет еще в постели. На это она заявила, что она не привыкла принимать, когда она лежит. А я заявил, что мне безразлично, как ей угодно, но я проверять ежедневно должен. Татьяна и Ольга или Мария, чаще Татьяна приходили спрашивать скоро ли можно будет пойти гулять. Александра Федоровна ходили реже. Когда она отправлялась гулять то обязательно с зонтиком и в шляпе. Все же остальные обыкновенно ходили с обнаженными головами. Николай разгуливал по очередно то с одной, то с другой из дочерей. Алексей в этой время забавлялся хлопущками с мальчиком Седневым.

Когда я чинил колодец, Николай приблизился ко мне и сделал какое-то замечание, но разговора я не поддержал. Однажды, на гулянии, Ольга разговорилась с одним из латышей и спросила у него, где он служил. Тот ответил, что он служил в одном из гренадерских полков, где на смотре видел дочерей царя. Ольга обратилась к Николаю с восклицанием: "Папа, это ваш гренадер". Он подошел и сказал: "Здорово", надеясь вероятно услышать "здравия желаем" но получил простое здравствуй. Долго как мне потом сказал товарищ латыш ему говорить не удалось, так как пришел я и разговор прекратился.

Дочери, особенно Татьяна, часто открывали двери, где стоял постоянно часовой. Старались с ними любезничать, очевидно надеясь расположить к себе конвой. Нужно сказать, что ребята были довольно твердые и конечно, повлиять на них эти заигрывания не могли.

На сколько мне удалось заметить семья вела обычный мещанский образ жизни утром напиваются чаю, напившись чаю, каждый из них занимался той или иной работой: шитьем, починкой, вышивкой. Наиболее из них развиты были Татьяна, второй можно считать Ольгу, которая очень походила на Татьяну и выражением лица. Что касается Марии, то она не похожа и по внешности на первых двух сестер: какая то замкнутая и как будто бы находилась в семье на положении падчерицы. Анастасия самая младшая, румяная с довольно милым личиком. Алексей пос-

тоянно больной семейной наследственной болезнью, больше находился в постели и поэтому на гулянье выносился на руках. Я спросил однажды доктора Боткина, чем болен Алексей. Он мне сказал, что не считает удобным говорить, так как это составляет секрет семьи я не настаивал. Александра Федоровна держала себя довольно величественно, крепко очевидно памятуя кто она была. Относительно Николая чувствовалось, что он в обычной семье, где жена — сильнее мужа. Оказывала она на него сильное давление. Положение в каком я их застал, оно представляли спокойную семью, руководимую твердой рукой жены. Николай с обрызгшим лицом выглядел весьма и весьма заурядным, простым, я бы сказал деревенским солдатом.

Заносчивости в семье кроме Александры Федоровны не замечалось ни в ком. Если бы это была не ненавистная царская семья, выпившая столько крови из народа, можно было бы их считать как простых и не заносчивых людей. Девицы например прибежали на кухню, помогали стряпать, заводили тесто или играли в карты в дурачки или разкладывали пасьянс или занимались стиркой платков. Одевались все просто, никаких нарядов. Николай вел себя прямо "по демократически" не смотря на то, что как обнаружилось позднее, у него было в запасе не один десяток хороших новых сапог, он носил сапоги обязательно с заплатами. Не малое удовольствие представляло для них полоскаться в ванне по несколько раз в день. Я однако запретил им полоскаться часто, так как воды не хватало. Если посмотреть на эту семью по обывательски, то можно было бы сказать что она совершенно безобидна.

Мальчик Седнев настолько привык и обжился в семье, что ничего похожего на лакейские услуги, оказываемые наследнику Русского престола не было. Часто своей игрой с собачкой, которая у них была, он приводил в раздражение Александру Федоровну. Он, однако, непокидал этого для него приятного занятия, часто отравлял состояние Александры Федоровны. Трупп и Харитонов были слугами с собачей приверженностью к господам.

Доктор Боткин был верный друг семьи. Во всех случаях по тем или иным нуждам семьи он выступал ходатаем. Он был душой и телом предан семье и переживал вместе с семьей Романовых тяжесть их жизни. Всем известно, что Николай и его семья были люди религиозные. Они меня просили нельзя ли им устроить обедню. Я пригласил священника и дьякона. Когда они у меня в комендантской рядились в свое облачение, я их предупредил, что они могут выполнять службу, так как это полагается по их обряду, но что ни каких разговоров им дозволено не будет. Дьякон заявил: "Это что же бывало и раньше и не к таким большим особам ходили. Что напутаешь, и получится скандал, а в этой то обстановке мы отмахаем за милую душу". Обедню служили. Очень усердно молились Николай и Александра Федоровна.

Когда я вступил в должность то уже стоял вопрос о ликвидации семьи Романовых, так как чехославаки и казаки надвигались на Урал все ближе и ближе к Екатеринбург. Какие то связи у Николая с волей существовали.

Ввиду угрожающей обстановки развязка ускорилась.

Развязка возлагалась на меня, а ликвидация на одного из товарищей.

16 июля 1918 года часа в 2 днем ко мне в дом приехал товарищ Филипп и передал постановление Исполнительного Комитета о том, чтобы казнить Николая, при чем было указано, что мальчика Седнева нужно убрать.

Что ночью приедет товарищ, который скажет пароль "трубочист" и которому нужно отдать трупы, которые он похоронит и ликвидирует дело. Я позвал мальчика Седнева и сказал ему, что вчера, арестованный его дядя Седнев, бежал, что теперь он вновь задержан, и что он хочет видеть мальчика. Поэтому я его и направляю к дяде. Он обрадовался и был отправлен на родину. Непокойно стало в семье Романовых. Ко мне как всегда, сейчас же пришел доктор Боткин и просил сказать, куда отправлен мальчик. Я ему ответил тоже, что и сказал мальчику, он все же несколько успокоился. Потом приходила Татьяна,

но я ее успокоил, сказав, что мальчик ушел к дяде и скоро вернется. Я призвал к себе начальника отряда товарища Павла Медведева из Сысертского завода и других и сказал им, что бы они в случае тревоги ждали до тех пор, пока не получат условного специального сигнала. Вызвав внутреннюю охрану, которая предназначалась для расстрела Николая и его семьи, я распределил роли и указал кто кого должен застрелить. Я снабдил их револьверами системы "Наган". Когда я распределял роли, латыши сказали, чтобы я избавил их от обязанности стрелять в девиц, так как они этого сделать не смогут. Тогда я решил за лучшее окончательно освободить этих товарищей в расстреле, как людей неспособных выполнить революционный долг в самый решительный момент. Выполнив все соответствующие поручения, мы ждали, когда приедет "трубочист". Однако ни в 12, ни в 1 час ночи "трубочист" не являлся, а время шло. Ночи короткие. Я думал, что сегодня не приедут. Однако в 1 1/2 постучали. Это приехал "трубочист". Я пошел в помещение, разбудил доктора Боткина и сказал ему, что необходимо всем спешно одеться, так как в городе неспокойно, и я вынужден их перевести в более безопасное место. Не желая их торопить, я дал возможность одеться. В 2 часа я перевел конвой в нижнее помещение. Велел разложиться в известном порядке. Сам-один повел вниз семью. Николай нес Алексея на руках. Остальные кто с подушкой в руках, кто с другими вещами, мы спустились в нижнее помещение в особую очищенную заранее комнату. Александра Федоровна попросила стул, Николай попросил для Алексея стул.

Я распорядился, чтобы стулья принесли. Александра Федоровна села. Алексей также. Я предложил всем встать. Все встали и, заняв всю стену и одну из боковых стен. Комната была очень маленькая. Николай стоял спиной ко мне. Я объявил, Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов Урала постановил их расстрелять. Николай повернулся и спросил. Я повторил приказ и скомандовал "Стрелять". Пер-

вый выстрелил я и на повал убил Николая. Пальба длилась очень долго и не смотря на мои надежды, что деревянная стенка не даст рикошета, пули от нее отскакивали. Мне долго не удавалось остановить эту стрельбу, принявшую безалаберный характер. Но когда наконец мне удалось остановить, я увидел, что многие еще живы. Например доктор Боткин лежал опершись локтем правой руки, как бы в позе отдыхающего, револьверным выстрелом с ним покончил, Алексей, Татьяна, Анастасия и Ольга тоже были живы. Жива была еще и Демидова. Тов. Ермаков хотел окончить дело штыком. Но однако, это не удавалось. Причина выяснилась только позднее (на дочерях были бриллиантовые панцири в роде лификов). Я вынужден был по очередно разстреливать каждого. К величайшему сожалению, принесенные с казненными вещи обратили внимание некоторых присутствовавших красногвардейцев, которые решили их присвоить. Я предложил остановить переноску трупов и просил тов. Медведева, последить в грузовике за тем, чтобы не трогали вещей. Сам на месте решил собрать все что было. Никулина поставил за тем, чтобы следить в дороге когда будут проносить трупы, а также оставил одного внизу следить за теми которые еще здесь на месте. Сложив трупы я позвал к себе всех участников и тут же предложил им немедленно вернуть все что у них есть, иначе грозил разправой. Один по одному стали отдавать что у них оказалось. Слабодушных оказалось два три человека. Хотя я имел распоряжение поручить остальную работу тов. Ермакову, я все же безпокоясь за то, что он эту работу не выполнит надлежащим образом, решил поехать сам. Оставил Никулина. Распорядился чтобы не снимать караулов, чтобы ни чего внешне не изменилось. В 3 — 3 1/2 утра 17 июля мы двинулись по направлению в Верх-Исетскому заводу. Проезжая двор Верх-Исетского завода, я спросил Ермакова: есть ли у него инструменты на случай, если придется копать яму. Ермаков мне сказал, что у них приготовлена шахта и следовательно ни каких инструментов не надо, но вероятно, ктонибудь из ребят чтонибудь захватил.

Отъехав версты три от Верх-Исетского завода мы натолкнулись на целый табор пролеток и верховых. Я спросил Ермакова: "Что это значит". Он мне сказал: "Это все наши ребята, которые приехали нам помогать". Для чего тебе понадобилась такая уйма людей, для чего тебе понадобились пролетки. Он сказал. Я думал, что люди все будут нужны. И так как я не знал его плана, я продолжал следовать в своем грузовике. Ни один раз мы застревали в грязи. В одном месте мы зацепились между двумя деревьями и остановились. Дальше было болото. На грузовике ехать было нельзя. Рабочие, среди которых были и не члены Исполкома Верх-Исетского завода выражали неудовольствие, что им привезли трупы, а не живых, над которыми они хотели по своему поиздеваться, чтобы себя удовлетворить... Когда начали перегружать в пролетки, это оказалось крайне и крайне неудобно (телег захватить не догадались). С величайшим трудом пришлось уложить трупы в пролетки, чтобы следовать дальше. Обещанной шахты не оказалось. Где эта шахта, никто не знал. Когда начали разгружать с грузовика трупы, ребята снова начали обшаривать карманы. Здесь обнаружилось, что в вещах, очевидно что то такое зашито, и я тут же решил, что прежде, чем буду их хоронить, эти вещи сожгу. Пригрозил ребятам, чтобы они этим делом не занимались и продолжали погрузку. Верховые поехали отыскивать эту шахту о которой говорили. Проездив некоторое время, они ни какой шахты не нашли, вернулись ни с чем. Начало уже светать. Крестьяне выезжали на работу. Ни чего другого не оставалось, как двинуться в неизвестном направлении. Ермаков убеждал, что он знает где то дальше шахту, и мы в этом направлении поехали. Верстах в 16 от Верх-Исетска и в верстах 1 1/2 или 2 от д. Коптяков мы остановились. Ребята поехали в лес и вернулись сказав, что шахту нашли. Мы свернули в лес. Шахта оказалась очень мелкой. Какая то заброшенная старательская. Распрягли лошадей. Разложили костер. Поставили стражу из верховых вокруг леса. Отогнали бывших вблизи крестьян. Окружили место верховыми. Я

приступил к раздеванию трупов. Раздев труп одной из дочерей, я обнаружил корсет в котором было что то плотно зашито. Я распорол и там оказались драгоценные вещи. Масса народу при такой обстановке была совершенно не желательна. Драгоценности невольно вызывали крики, восклицания. Не зная хорошо этих ребят, я сказал: "Ребята, это пустяки: простые какието камни". Остановил работу и решил распустить всех, кроме некоторых, наиболее мне известных и надежных, а также несколько верховых. Оставив себе пять человек, и трех верховых, остальных отпустил. Кроме моих людей было еще человек 25, которых приготовил Ермаков. Я приступил снова к вскрытию драгоценностей. Драгоценности оказались на Татьяне, Ольге и Анастасии. Здесь подтвердилось особое положение Марии в семье на которой драгоценностей не было. На Александре Федоровне были длинные нитки жемчуга и огромное витое золотое кольцо или вернее обруч, более полуфунта весом. Как и кто носил эту штуку мне показалось очень странным. Все эти ценности я тут же вынимал из искусно приготовленных лификов и корсетов. Драгоценностей набралось не менее полпуда. В них находились бриллианты и другие драгоценные камни. Все вещи (платье и т.д.) здесь же на костре сжигались. У всех на шее были одеты подушечки, в которых были зашиты молитвы и напутствия Гришки Разпутина. На месте, где были сожены вещи находили драгоценные камни, которые, вероятно, были зашиты в отдельных местах и складках платья.

Однако из после прибывших красногвардейцев принес мне довольно большой бриллиант, весом каратов в 8 и говорит, что вот возьмите камень я нашел его там где сжигали трупы.

По распоряжению Уральского Областного Исполкома мною были эти драгоценности отвезены в Пермь и переданы тов. Трифонову. Позднее тов. Трифонов вместе с тов. Филиппом (Голощекиным) и тов. Новоселовым "предали эти вещи Уральской пролетарской земле", как об этом выразился тов. Смилга, в одном из домиков, специ-

ально для этого временно занятом в Алапаевском заводе. В 1919 году после занятия Урала эти вещи были выкопаны и привезены в Москву.

Место для вечного упокоения Николая было выбрано крайне неудачно. Но ни чего не оставалось делать, пришлось временно опустить их в эту шахту для того чтобы на следующий день или в тотже, если успеем предпринять что то другое. Мы спустили трупы в шахту. Воды в шахте было не более аршина или полтора. Я оставил охрану. Поставил разъездных. Сам отправился в город, чтобы доложить Совету, что так оставлять дело нельзя. Увидел в Совете товарищей Сафарова и Белобородова. Доложил, что было сделано. Указал на невозможность оставления их в этой шахте. Сказал, что необходимо отыскать другое место, ночью поехать их извлечь и похоронить в другом месте. Тов. Белобородов и Сафаров мне тогда ответа не дали. Позднее тов. Филипп предложил одного товарища, который должен был каким то другим способом уничтожить трупы. Я отправился к Чуцкаеву, который был тогда председателем Екатеринбургского Городского Совета, чтобы узнать, неизвестны ли ему какие нибудь глубокие шахты вблизи Екатеринбурга. Тов. Чуцкаев сказал, что на 9 версте по Московскому тракту имеются глубокие шахты. Я решил, что лучшим местом будут эти шахты. Я взял машину и отправился. От Чуцкаева я отправился в Чрезвычайную Комиссию там застал снова Филиппа и других товарищей. Здесь порешили сжечь трупы. Но так как никто с этим делом не знаком, то не знали как и что сделать, Однако решили все таки их сжечь. Я поехал к Заведующему Отделом Снабжения Уральского Народного Хозяйства тов. Войкову, заказал три боченка керосину, три банки серной кислоты. Затем отправились верхами с тов. Павлушиным посмотреть, как обстоит дело на месте, и где это лучше устроить. Поехали мы туда поздно вечером. В дороге у меня лошадь упала и сильно придавила мне ногу, я встать не мог. Пролежав несколько минут, пересел на другую и кое как поплелся. Приехали на место. Я предложил похоронить их в разных местах:

во первых по дороге, где имеются глиняные дороги и следовательно, следы легко замести, а во вторых в болоте. На том мы с товарищем Павлушиным и порешили. Частью сожжем, частью похороним. Мы вернулись обратно в Исполком. Я просил тов. Павлушина съездить по кой каким делам в связи с этим. Павлушин поехал, я в это время был у тов. Войкова насчет керосина и серной кислоты, которую не так уж просто было добыть. Необходимо были лопаты, которых у заведующего снабжением не было, но у дворника во дворе было несколько лопат, которые мы взяли. Павлушина все не было. Прождав некоторое время, я пошел в Чрезвычайную Комиссию. Оказалось, что Павлушин лежит в постели. Возле него доктор. Он свалился с лошади и разшиб себе ногу и едва ли может поехать. Между тем вся работа по сжиганию возлагалась на него, как на человека якобы имеющего так сказать некоторый опыт в операциях более или менее сложных. Но всетаки необходимо было это проделать, что было дело не легкое. Я пользуясь положением товарища комиссара Юстиции Уральской Области, сделал распоряжение в тюрьму, чтобы мне прислали лошадей и телег без кучеров. Прибыли телеги часов в 12 1/2 ночи. Погрузив все необходимое, посадив в пролетку тов. Павлушина, мы отправились. Часам к 4 мы добрались до места и стали вытаскивать трупы. Деревня Коптяки расположена всего в 2 верстах от того места где была наша шахта. Нужно было обезопасить это место. Я послал в деревню людей сказать, что бы ни кто не смел выезжать из деревни, так как здесь сейчас происходит разведка, возможно, завяжется перестрелка и по этому возможны жертвы. Поставя верховых, мы продолжали свою работу. Извлечение трупов вышло делом не легким. К утру мы однако трупы извлекли. Вывезли их поближе к дороге и я решил похоронить Николая и Алексея. Мы выкопали довольно глубокую яму. Это было вероятно часов около 9 утра. Кто то заметил, что подъезжал мужик. Был тут и Ермаков. Мужик этот оказался знакомым Ермакова, Ермаков уверял, что мужик ни чего не видел, и он его

отпустил. Мною было отдано распоряжение, что ни в коем случае прорвавшегося насильно, живым не отпускать. Я проверил видел ли мужик, что здесь происходило и выяснилось, что он несомненно мог видеть и разумеется, разболтал, что здесь что то такое делалось. Я решил отнести глубже в лес трупы и снова отправился в город и решил на всякий случай запастись еще одним местом. Не без труда добыв автомобиль, отправился на Московский тракт к тем шахтам о которых накануне говорил Чуцкаев.

Верстах в 1 1/2 — 2 от шахт автомобиль сломался. В течении часа или полуторах починить автомобиль не удалось. Я решил отправится пешком осмотреть эти шахты. На этих шахтах было несколько сторожей с их семьями. Шахты были довольно глубоки и я решил, что это будет самым лучшим местом где можно похоронить Николая с его семьей, где их никто не отыщет. Вернувшись к автомобилю, я увидел автомобиль в том же положении. В город двигаться пешком было невозможно. Я решил остановить первую попавшуюся лошадь или машину. Как раз проезжала пара лошадей. Я остановил: "Ну друзья, вы куда едете, мне нужны лошади". "Но позвольте это товарищ Юровский", "Да товарищ Юровский. А вы кто такие". "Знакомые". "Ну, так вот что ребята. Необходимо мне ехать в город, а машина поломалась". "Да мы торопимся". "Ну, что же машина довезет вас, ребята". Согласились. На этих лошадях я приехал в Екатеринбург. Пришлось заняться розыском автомобиля. Дело было не легкое. А мои товарищи, второй день были без продовольствия. Нужно было отвезти и еду. Я отправился в авто-базу Округного Военного Коммисариата. Там я почти никаго не застал. Машины свободной не оказалось. Однако, один паренек, очевидно откуда то пронюхавши или догадавшись, говорит: "А это вам надо машину грузовик и так далее. Хорошо я вам сейчас дам. Но вот какая вещь. Машина есть только Стогова, легкая". "Давай Стогова, так Стогова какая разница". Генерал Стогов был Начальником Военных Сообщений: впоследствии он был

разстрелян за белогвардейщину. Грузовик с продовольствием отправил. Отправил и второй грузовик. Поручил, чтобы все трупы перегрузить в телеги, а потом где можно будет свободно проехать, чтобы можно было перегрузить в грузовики, чтобы люди поели и так далее. Позднее я отправился на грузовике и на легкой машине по одной дороге, а по другой отправил товарищей для того, чтобы проследить, каким путем будет удобнее ехать обратно, так как я решил вести трупы на автомобилях. Велел приготовить камни, веревки, чтобы привязав к телам эти камни спустить их в шахты. Проехав линию железной дороги, верстах в двух я встретил движущийся караван с трупами. Часов в 9 — 9 1/2 вечера мы пересекли линию железной дороги, где и решили перегрузиться на грузовики. Меня уверили, что здесь дорога хорошая. Однако на пути было болото. Потому мы взяли с собой шпал, чтобы выложить это место. Выложили. Проехали благополучно. В шагах десяти от этого места мы снова застряли. Провозились не менее часа. Вытащили грузовик. Двинулись дальше. Снова застряли. Провозились до 4 утра. Ничего не сделали. Время было позднее. Один из легких грузовиков с другими товарищами и с тов. Павлушиным где то так же застрял. Публика возилась третий день. Измученная. Неспавшая. Начинала волноваться: Каждую минуту ожидали занятия Екатеринбурга чехословаками. Нужно было искать иного выхода.

Я решил использовать болото. А частью трупы сжеч. Разпрягли лошадей. Разгрузили трупы. Открыли бочки. Положил один труп для пробы как он будет гореть. Труп, однако обгорал сравнительно быстро, тогда я велел начать жечь Алексея. В это время копали яму. Яму в болоте копали там, где были намощены шпалы. Выкопали яму аршина в 2 1/2 глубиной, аршина три в квадрате. Уже было под утро. Жечь остальные трупы не представлялось возможным, так как снова начали крестьяне собираться на работу и поэтому пришлось хоронить эти трупы в яме. Разложив трупы, в яме, облили их серной кислотой, этим

закончили похороны, Николая и его семьи и всех остальных. Наложили шпалы. Заровняли. Проехали. Прочно.

Место, где были сожжены трупы, мы тут же выкопали яму, сложили туда кости, снова зажгли костер. И замели следы.

После этой тяжелой работы на третьи сутки, т.е. 19 июля утром закончив работу, я обратился к товарищам с указанием на важность работы а на необходимость полной тайны до тех пор, пока станет официально известным. Отправились в город. На следующий день утром я по поручению Исполнительного Комитета уехал в Москву с докладом Председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарищу Я.М. Свердлову.

Первоначальное место похорон было, как я уже указал раньше, в 16 верстах от Екатеринбурга и 2 верстах от Коптяков, последнее же место находится приблизительно в 8 — 8 1/2 верстах от Екатеринбурга в 1 1/2 приблизительно верстах от линии железной дороги.

КАК МЕНЯ ИСКАЛИ

26 июня 1918 года как только чехо-словаки заняли Екатеринбург, была разграблена моя квартира и моя мать старушка 70 лет была арестована и посажена в тюрьму при чем у нея были отобраны все ея вещи вплоть до белья. Она почти год просидела в тюрьме в одной рубашке босиком и только по счастливой случайности не была разстреляна. Перед отступлением белых, кто то из медицинского персонала уговорил ее пойти в тифозный барак. У нее все время требовали выдать сына т.е. меня. Обращались с ней по варварски: ругали площадной бранью или кричали: "Сволочь, родила такого сына". Я конечно не говорил матери ни чего о моем участии в казни Николая. А не говорил я ей потому, что она уезжать из Екатеринбурга решительно отказалась, заявляя, что она стара и что ее как старуху вероятно не тронут, а в крайнем случае все равно умирать. А так как по натуре она не правды говорить не могла ей было бы разумеется трудно

отговариваться. А так как она прямо ничего не знала, а только догадывалась, то она на вопросы: "Где семья Николая. Где они". Отвечала: "Я мол знаю ухват, кочергу, кухню и т.д. а больше ничего не знаю". А когда ее спрашивали за кого она за большевиков или за белую власть она отвечала: "Я за сына". Когда ей однажды указали на то, что она напрасно упирается, что стоит ей все рассказать и она будет свободна, а иначе ее расстреляют за запирательство и тут же добавили, что сын уже в наших руках. Она ответила: "Ну что-же и я в ваших руках, что хотите то и делайте"... Снова ругань и угрозы.

Товарищи, сидевшие вместе с ней немногие из уцелевших (так как известно, что перед отходом белых под напором Красной Армии из Екатеринбургской тюрьмы было выведено 600 человек из которых спаслось массовым бегством человек 30 остальные были зверски расстреляны) из них ныне покойная Сима Дерябина, живы: Ольга Даниловна Лобкова (ныне Сосновская), Аня Лирман и многие другие фамилии которых не помню. Называли мою мать бабушкой рабочей революции за ее постоянно веселый и бодрый характер. Часто в тягостные минуты ее упрекали, что она поет песни, она отвечала: "А чего же тужить". Но однако варварские условия содержания в тюрьме надорвали ее силы и она спустя 6 месяцев по освобождению из тюрьмы скончалась от паралича сердца. Она за это время принимала горячее участие в субботниках и вообще была полна жизни не смотря на то что ей был 71 год. Здесь не входит в мою задачу писать биографию матери вообще и в частности за период революции, но я не мог отказать себе в удовольствии сказать несколько слов о горячо любимой матери с ее вечно живым характером, перенесшей массу страданий за свою долгую жизнь и последние годы из-за меня.

В Томске приблизительно в ноябре 1918 года были арестованы два моих брата, жена брата и еще несколько человек оказавшихся в момент ареста в квартире брата Леонтия. Второй брат Илья приехал в Томск лечится и вместо профессоров оказался в руках белогвардейцев.

Леонтий рассказал мне следующее. Однажды весь квартал, где он жил был окружен целой ротой солдат. Вошли в квартиру офицеры и солдаты (брат часовщик сидел за верстаком, работал) офицер спросил: Ваша фамилия". Тот ответил: "Юровский". Взглянув на него офицер воскликнул: "Вот его то и надо". Всем было объявлено, что они арестованы и у брата потребовали немедленно выдать шкатулку с ценностями взятую у царя. На его заявление, что здесь какое то недоразумение, посыпались ругательства и угрозы с криками "цареубийцы". Немедленно всех связали начали обшаривать квартиру, взломали штыками полы, разворотили печи, стены, но разумеется ничего не нашли. Это оголтелое белогвардейское офицерство не обратило внимание на почти нищенскую обстановку, на оборванных ребятишек. Были уверены, что именно здесь должны быть царские ценности и что именно тут цареубийцы, которых они тщательно в бешенстве разыскивают. Всех увезли в Омск, заковав предварительно в ручные и ножные кандалы. Там их продержали некоторое время. Отправили в Иркутск. Затем в Читу. Позднее опять в Иркутск. И так в течении 8 месяцев держали под угрозами расстрела. Очевидно их держали не расстреливая в надежде создать процес. Но Красная Армия освободившая Сибирь, освободила и их.

В интересах выяснения этого факта, я счел необходимым теперь же изложить подробно историю казни бывшего царя Николая его семьи и приближенных, не желавших оставить царскую семью не смотря на предложение Исполкома.

Белогвардейская, колчаковская и другая печать в том числе и заграничная, описывает этот факт в совершенно извращенном виде (да они и не могли иметь всех данных).

Она старается изобразить нас как разбойников и палачей. А между тем великодушие пролетариата являет пример, не знающий образцов. Примеров же зверств белогвардейцев сколько угодно: 26 комиссаров казненных зверски в Грузии, тов. Радек у шейдемановцев на железной цепи в какой то трущобе и т.д.

Ведь нужно подумать: преступления Николая: сколько крови рабочих и крестьян не только своих "подданных", но и кровь иностранных рабочих выпил этот Всемирный жандарм-кровопиец. И чтож: в Тобольске он живет еще по царски и только в Екатеринбурге он переводится на положение средняго буржуа. Имеет четыре прислуги, занимает 6 комнат. Ни каких оскорблений четыре царские дочери не получали. Сравните поведение царских палачей, интеллигентных белогвардейцев, претендующих на цивилизованность, по отношению к нашим, к рабочим и крестьянам, красноармейцам.

Восставший пролетариат, забитый нуждой, безграмотный, имея полную возможность и полное право излить свою вековую злобу на попавших в их руки злодеев.

И, однако, какая красота: вставшие для раскрепощения человечества, даже в отношении своих злейших врагов являют безпримерное великодушие, не оскорбляя, не унижая человеческого достоинства, не заставляя страдать напрасно людей, которые должны умереть потому, что того требует историческая обстановка.

Люди строго выполняют тяжелый революционный долг, разстреливаемые узнают о своей судьбе буквально за две минуты до смерти.

Разговоры о том, что царя и его семью нужно было разстреливать инородцам-латышам, что будто бы русские рабочие и крестьяне не могли дойти до разстрела, это разумеется чепуха, которой поверить могут только глупо и безнадежно тупые монархисты.

Факт ускорения казни и его семьи был вызван не нами, а наступлением контрреволюционеров и в особенности чрезвычайные "заботы" о судьбе Николая со стороны его ближайших высоких родственников и приближенных. Насколько это было своевременно, показывает то обстоятельство, что ни в Екатеринбурге, ни в других местностях в пределах Р.С.Ф.С.Р. в тогдашних ее границах, и в остальной территории России эта казнь не вызвала выступления или протеста низов.

Значит, уничтожение самодержавия и персонально Ни-

колая и его семьи в сознании народа настолько созрело, что пожалуй это было сделано слишком поздно, чем это нужно было по ходу революции.

Здесь нужно упомянуть о полученном мною в 1919 году (после занятия нами Екатеринбурга) письма, от группы крестьян деревни Коптяки за подписью "доброжелатели", предупреждающее меня о грозящей мне опасности со стороны некоторых неисправимых слепых поклонников кровавого царя.

Насколько было правильно наше решение в этот момент, свидетельствует то, что нам приходилось сдерживать напор рабочих Урала, считавших необходимым возможно скорее покончить с никому ненужным хламом, который может сыграть злую роль в неблагоприятных условиях борьбы за укрепление власти трудящихся.

Суд Революции был судом народа.

События и обстановка борьбы выбросили за борт и организацию суда над Николаем и публичность его казни.

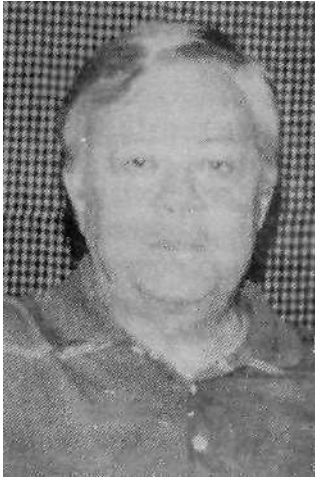
Слишком все было ясно для народа...

Яков Юровский

Апрель-май 1922 г.

Москва

(Журн. "Источник", 1)



Сергей ИВАНОВ



МОИ ОТЕЦ БЫЛ СВИДЕТЕЛЕМ СМЕРТИ МАЯКОВСКОГО

Я хорошо помню тот день, когда в 10-м классе "Б" нашей 170-й школы появился семнадцатилетний Сережа Иванов, в биографии которого, как мы вскоре провели, было одно загадочное пятно — его отец. Об отце Сергей никому и никогда не рассказывал, будто его вообще не существовало в природе. Лишь много позже — мы уже кончили школу — он как-то затащил меня в свой дом и под секретом поведал "самую важную тайну своей жизни". Да, у него был отец, журналист, носящий имя "Михаил Презент" и арестованный в 1935 году.

После этого пути наши разошлись, но его рассказ об отце мне как-то врезался в память. И когда спустя целую эпоху мы встретились в Америке, он заговорил о своем отце снова. На этот раз о том, что хочет

писать о нем воспоминания — де отец его был человеком замечательным, с совершенно необычной судьбой. Шло время, за мемуары он не садился, и неизвестно, сколько продолжались бы эти разговоры, если бы неожиданно не вмешался случай. Однажды он мне позвонил — невероятно взволнованный — и спросил, не читал ли я последнего, июльского номера "Огонька". Дело в том, что в этом номере под несколько загадочным заголовком "Черная тетрадь" опубликованы выдержки из дневника его отца. Дневник, как выяснилось, был найден в архивах НКВД, а напечатанные отрывки посвящались самоубийству Маяковского, свидетелем которого был отец Сергея Михаил Презент.

Дневнику был предпослан интересный рассказ его публикатора В. И. Скорятина. По его словам, у текста, найденного в архивах Лубянки, вначале вообще не было автора. "Интуиция подсказывала мне, — пишет он, — что в руки органов тетрадка попала вместе с ее владельцем". Интуиция не обманула исследователя: вскоре он разыскал и дело самого М.Я. Презента, оставившего после себя замечательно интересное свидетельство времени.

Ниже мы публикуем выдержки из дневника Михаила Яковлевича Презента и комментарии его сына Сергея Иванова.

В.П.

ОТРЫВКИ ИЗ ЧЕРНОЙ ТЕТРАДИ

14.4.30 — 19.4.30

Около 11 утра позвонили: в 10.17 застрелился Маяковский. Пришел в ужас. Потом на секунду; сегодня по старому стилю — 1 апреля, не шутка ли? — Нет, не шутка. Ужас. Позвонил Демьяну — проверить.

— Да, было три поэта — теперь я один остался.

Вечером из редакций газет стали сообщать содержание письма, оставленного Маяковским. Кто такая В.В. Полонская? Сообщают: последнее увлечение В.В., жена актера

малой сцены МХАТ Яншина, актриса того же театра, 23 года ей.

Ленинградская вечерняя "Красная газета" сообщает: "...В ночь на вчера, вопреки обыкновению, он не ночевал дома. Вернулся домой к 7 ч. утра. В течение дня не выходил из комнаты. Ночь он провел дома". Здесь одно противоречит другому: если он не ночевал дома, то как он ночь провел дома?; "в течение дня не выходил из комнаты" — какого дня? Чепуха здесь на чепухе. Сенсация за счет верности. Дело было, как рассказывает Регинин,* так: в эту ночь, вернее, 13.4 вечером, к В.Катаеву пришел Маяковский, который никогда к Катаеву на новую кв. не заходил. Маяковский вначале пошел по старому адресу и там узнал, что Катаев переехал. Через некоторое время к Катаеву пришли Яншин, Полонская и актер того же театра Ливанов, тоже, как и Маяковский, увлеченный Полонской. Около 12.30 в эту компанию пришел Регинин. Мирно ели, лили чай с тортом. Маяковский писал записки Полонской, та отвечала. "Флирт цветов" — шутили остальные и в знак такой оценки переписки вручили взятую из тортовой коробки карточку с изображением незабудок. Около 2 1/2 вся компания, за исключением оставшихся дома Катаевых, проводили Регинина; он живет на Садовой, у Кр. Ворот.

Затем известно, что Маяковский поехал на телеграф. Потом вернулся в свой рабочий кабинет, Луб. пр. 3, кв. 12, до 7 спал. В 7 побрился, принял ванну. Около 9 ч. послал прислугу за папиросами, вышел во двор, сидел во дворе. Потом поехал к Яншиным. В передней просил Яншина отпустить Полонскую к нему на 10 м., плакал. Полонская поехала. Произошел разговор, содержание которого мне неизвестно. Полонская одевалась в передней, когда раздался выстрел. А "Красная газета" пишет: "Скоро из комнаты Маяковского раздался выстрел, вслед за которым выбежала артистка N".

Несмотря на просьбу в предсмертном письме "...и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил" — весь город был и сейчас находится во власти сплетен. Имя Полонской склоняется на все лады. И имя Лили Брик. 14.4 Маяковского перевезли на Таганку, где он жил с Бриками, а вечером поздно перевезли в клуб федерации писателей. Мозг взяли в институт Мозга. Вес мозга — 1700 гр. Демьян по этому поводу говорит: "дело не в весе, а в извилинах. Вот у Ленина сколько извилин. Пушкинский череп не больше вашего, Миша".

*Регинин В А (1883—1952) — журналист.

С 15.4 началось шествие к телу — десятки тысяч. В этот день переговорили по телефону с Бриками — они в Берлине — и ко дню их приезда — 17.4 — назначили кремацию. В комиссии по похоронам орудуют Ионов, Халатов, Сутырин и Агранов (из ГПУ, приятель Бриков и, кажется, Маяковского). В ночь на 17.4, в 1 ч, 30., я заехал в клуб федерации. Ворота на запоре. Зал справа, где лежит тело, ярко освещен. Видно через ворота, как в глубине двора, у входа в клуб, три-четыре человека — дворник и еще кто-то, стоя на скамейке, пытаются взглянуть во второй этаж, где тело. После недолгих разговоров с молодым красноармейцем я вышел во двор, но там милиционер не пустил меня. Пошел в комиссию. Сидят Ионов, Агранов, Сутырин. Уставшие. Прошу у Сутырина разрешения пройти к телу. — Нельзя, его сейчас бальзамируют. Причина веская. Я вышел, отложив посещение на утро. Взглянул и я в окно второго этажа. Сгрудились люди в белых халатах. Я уехал.

Наступило 17.4. У гроба очередь, завернувшая с Поварской, по Кудр. пл. до Никитской. Поехал туда с Регининым и с женой Демьяна. Конные патрули. Толпа. Люди — на крышах домов, в окнах, на балконах.

Демьян не поехал. Его снедает зависть к славе Маяковского. 15-го он мне говорит: "Не езжайте туда. Отнесемся к этому платонически". А сам 16-го стоял у гроба, и когда его снимали фотографии, отирал мифическую слезу. 15-го он поместил в "Правде" и в "Комс[омольской] Пр[авде]" свое "Чудовищно. Непонятно". Говорит: "написал в 1 ч. ночи. Выпросили. (врет!). Теперь прекратятся всякие разговоры. Не любил я покойника, терпеть его не мог. Человек он был большой, но поэт слабый. А невзлюбил его после такой истории. Иду я несколько лет тому назад по Столешникову. Навстречу Маяковский. — Куда идете? — К Маркуше* обедать, говорю. — А, знаю Маркушу, он меня когда-то в карты обыграл!.. Идем вместе. Пришли. Победали. Потом Маяковский вынимает, как из голенищ, какие-то старые, замусоленные карты и предлагает Маркуше сыграть. Эти карты произвели на меня такое гнусное впечатление, что я ушел в другую комнату, заперев и лег спать. Меня разбудил Маркуша, когда Маяковский ушел".

Итак 17.4. к 4 ч. мы приехали в клуб федерации писателей. Во дворе и на улице стояла колоссальная толпа. Началась т.н. гражданская панихида. Ее открыл Халатов. Во время речи Луначарского, которую все расценили бле-

*Приятели Демьяна по девочкам и выпивкам Марк Анат. Каган. Теперь сидит в ГПУ за какие-то делишки (прим. автора дневника).

стоящей, я пошел к гробу. Это были последние минуты. С правой стороны, на двух рядах стульев сидели женщины — мать, сестры и др. родств. покойного. Два юпитера льют свет на гроб. С левой стороны молодые художники — мужчина и женщина рисуют. Еще два-три молодых человека стоят. 4 красноармейца застыли у гроба. Два, стоящие у изголовья, бросают косые, испуганные взгляды на тело. Сменился последний военный караул. Стук сапог и хлопанье двери — страшный здесь диссонанс. Маяковский мало изменился. Обычная смертная желтизна. Лиловость губ. Пальцы левой руки не разогнуты. На великолепных заграничных туфлях — металлические пластинки — на носках. Такая мелочь запоминается.

Я вышел на воздух. С балкона начал говорить Федин. Потом Кон,* потом Авербах**, потом Третьяков***. Он сказал, что сегодняшней митинг кем-то неправильно назван панихидой. Такого слова не было в словаре Маяковского. Оно было только в его ироническом словаре. Потом взволнованный Кирсанов, которого называют лучшим учеником Маяковского, прочел отрывок из предсмертного стихотворения Маяковского "Во весь голос". Оно звучит, как пушкинский памятник. Напечатанное во второй книжке "Октября", оно произвело на всех такое впечатление. Даже берлинский "Руль" в № от 10(?) (во всяком случае за несколько дней до смерти поэта) высказал такую же мысль.

* * *

Митинг окончен. Без девяти минут 5 выносят гроб. Он закрыт. Порядка в толпе никакого. Все происходит стихийно. Долго толпа не может выйти за ограду на улицу. Гроб устанавливают на грузовик "паккард", облицованный на подобие броневика темно-серой фанерой. За руль садится Кольцов. Грузовик резко дергается, т.к. Кольцов никакого опыта управления грузовиком не имеет. Я с женой Бедного возвращаемся в Кремль. Рассказываю Демьяну о грандиозности похорон. Он говорит совершенно серьезно, хотя хочет, чтоб это походило на шутку: "Не говорите, а то я начну завидовать". Но ему нечего начинать, он давно завидует. Демьян начинает нервничать: он не знает, как быть — ехать или не ехать в крематорий.

*Кон Ф.Д. (1864—1941) — старый большевик, начальник Главискусства.

**Авербах Л.Л. (1903—1939) — критик, публицист, один из руководителей группировки РАПП.

***Третьяков С.М. (1892-1937) — поэт, публицист, один из лидеров литгруппировки ЛЕФ.

Но ясно, что он поедет. Это было ясно и тогда, когда он говорил Регинину за два часа перед этим: "Вы там распустите пошире, что я болен и не могу приехать, но может соберусь с силами и приеду в крематорий".

Мы приехали в крематорий около четверти седьмого. Оцепление милиции. Вход строго по пропускам. Я в крематории впервые. С любопытством разглядываю внутренность зала, помост для гроба, орган, цветы, оркестр из скрипачей, из которых один — приятель Регинина... Медленно тянется время. Зал заполняется. Вносят гроб без крышки. Толпа сгущается у помоста. Входит, ведомая под руки, плачущая мать, сестра, тетка и др. Л.Ю. Брик ведет себя молодцом. Не плачет, но видно — исстрадалась. Впечатление, будто она беременна. А может, это такой покррой заграничного платья. Демьян, стоявший у гроба, предлагает всем ехать домой. Мы не согласны. "Тогда я еду один". — Пожалуйста, мы вернемся на трамвае. Но он, конечно, не уехал. Через несколько минут он отозвал меня в сторонку и дал билетик на проход вниз — посмотреть процесс сожжения. Подошел завед. крематорием и повел нас вниз. Я подумал было, что нас подведут по очереди к глазку печи, и мы увидим сразу же процесс сожжения. Я был поражен, когда в 20-25 шагах увидел на полу гроб с телом Маяковского.

— Одна минута тишины, — сказал заведующий.

Но мы и так молчали. Было жарко и такое впечатление, как будто мы в пекарне. По приглашению завед. мы подошли несколько ближе: гроб задвигался на рельсах и подошел вплотную к дверце печи. Дверца поднялась, и в 7 ч. 40 м. (я посмотрел на часы) гроб въехал в печь. Пламя мгновенно охватило часть гроба, где голова, а затем и весь гроб, и дверца мгновенно опустилась.

Публика начала медленно расходиться. Мы тоже уехали. С нами сел в автомобиль Халатов и В.И. Соловьев (один из новых редакторов собр. соч. Пушкина). Соловьев, сидя рядом со мной, рассказал тихо, чтоб Халатов не слышал, как тот приказал вырезать из всего тиража No 2 "Печать и рев." портрет Маяковского с приветствием ему по случаю 20-летия литературной деятельности. Это было передано Маяковскому, который болезненно реагировал на эту очередную подлость окружающей сволочи.

* * *

В.В. Полонская была задержана на квартире Маяковского. Ее до вечера допрашивали. Это говорят, повторялось долго. Ее отпускали на вечер играть в театр. 15-го или 16-го она играла в "Сестрах Жерар". По ходу пьесы ее обвиняют в убийстве, и там есть ряд слов, которые

очень близко напоминают события последних дней. Говорят, она играла истерически подъемно. На похоронах ни она, ни Яншин, ни Ливанов не были. Первые два с утра были приглашены к следователю, который их держал до вечера. Говорят, что это сделано со специальной целью — не дать им быть на похоронах, чтобы не встретиться с семьей Маяковского и Л.Ю. Брик.

* * *

Регинин и многие другие утверждают, что Маяковский не имел никакого основания и права включать в число членов семьи, перечисленных в предсмертном письме, — Полонскую В.В.* По этому поводу Стеклов** говорит: "Жил хулиганом и умер хулиганом". В.А. Мильман, бывавшая у Бриков, рассказывала мне, что Л.Ю. Брик специально познакомила Маяковского с Полонской, которая снималась в ее картине. Специально — для того, чтобы Л.Ю. всегда бы знала степень увлечения Маяковского и имела бы возможность вовремя дернуть его за ниточку.

* * *

Рассказывают, что незадолго до самоубийства Маяковский, встретив на каком-то литературном собрании поэта Адуева, сказал ему, хлопывая по плечу: "Ничего стали писать, Адуев! Подражаете Сельвинскому". — "Что же, — отвечает Адуев, — хорошим образцам подражать можно. Вот и вы, В.В., уже пять лет подражаете себе". Маяковский смолчал.

Второе: по поводу "Бани" был устроен в Доме печати диспут. Выступал Левидов и ругал "Баню". Маяковский отпуская с места реплики. Левидов на одну из реплик сказал: "Вы, Маяковский, молчите, Вы — человек конечный". И снова Маяковский смолчал.

Третье. Недавно Маяковский сказал Полонской: "Если хотят засушить цветок, нужно это делать тогда, когда цветок еще пахнет. Как только он начал подгнивать — на помойку его!"

Четвертое. Недавно Маяковский говорит Жарову: "Шура, вам сколько лет?" — "25". — "Так имейте в виду, что когда мужчина не старше 25 лет, его любят все женщины."

*По словам Полонской (см. ее "Воспоминания", "Вопросы литературы, 1987 г., № 5), Л.Ю. Брик посоветовала ей исключить себя из числа наследников Маяковского, что та и сделала. В Постановлении СНК РСФСР от 23 июля 1930 г. об увековечении памяти Маяковского имя ее не названо.

**Стеклов Ю.М. (1873-1941) — журналист, с 1917 по 1925 г. редактор "Известий".

А когда старше 25, то тоже все женщины, за исключением одной, той, которую вы любите и которая вас не любит".
20.4.30

Два дня по Москве гуляет слух о самоубийстве Л.Ю. Брик, но это — чепуха. С ее слов: Маяковский в последнее время жаловался на одиночество, говорил, что нет у него друга, ни с кем из мужчин дружески не сходилась. Часто говорил, за последнее время, что надо кончать жизнь. Очень тяготился отсутствием Бриков. Говорят, он боялся, что Брики вовсе не вернутся из-за границы. Скульптор Луцкий, снимая маску с лица М., сорвал с правой щеки кусок кожи*

При исследовании мозга М. были обнаружены гриппозные микробы, вызывавшие психическую усталость поэта. Говорят, что Маяковский незадолго до самоубийства подал заявление о желании вступить в ВКП(б), но условием поставил не ограничивать его в гонораре. В этом ему было отказано.

Когда я рассказывал 17.4 Демьяну впечатления о траурной процессии, в которой ехал и "рено" Маяковского (№ 3344), Демьян сказал: "Автомобиль покойника вели под уздцы", — и, довольный своей остротой, расхохотался.

* * *

Маяковский был левша. Пуля пробила сердце, легкие и почку. Говорят, в маузере, в восьмизарядной обойме была одна пуля.

Рассказывают, что Полонская созналась следователю в том, что жила с В.В., но просила об этом никому не говорить и что выстрел он произвел в ее присутствии. Вероятно, спор между ними шел о том, чтобы она ушла от мужа; во время спора, отчаявшись ее убедить, он вынул из кармана написанное еще 12.4 письмо и со словами: "Так я Вам (или тебе) из загробной жизни отомщу", — вписал в число членов семьи и ее имя.

В ночь на 24.4.

Провел вечер с Катаевым и др. По дороге к Катаеву встречаю в автобусе Асеева.

— Куда едете? — спрашивает он.

— К Катаеву. Едем вместе.

*К.Л. Луцкий недостаточно тщательно смазал вазелином лицо покойного. После этого был вызван С.Д. Меркуров, снимавший маски со знаменитых покойников. По мнению В.И. Скорякина, маска Луцкого "более удачна". Она была снята днем, еще до прихода сотрудников Института мозга, то есть до трепанации черепа.

— Нет, это болото. Это люди, которые сами не стреляются, но от которых стреляются другие.

8.5.30.

Звонок Д. Бедного по телефону:

"...Встретились как-то с Маяковским и разговорились о здоровье. Предлагаю поменяться. — Нет, говорит, на диабет не согласен. Он знал, что я не очень к нему благоволил, но если он хотел своим выстрелом доставить мне удовольствие, он ошибся. Да... я всегда посмеивался внутренне, когда видел, как он пытался идти "цу грессе". Он падал... Только в последнем стихе он в некоторых местах хорошо прокричал"... Говорят, что, прострелив сверху вниз все внутренности, он еще имел силы подняться, но снова упал.

В ленинградском журнале "Стройка №7" помещена статья Зел. Штеймана "О некоторых скорбящих...", который пишет:

"...Маяковский лежит в гробу, а в почетном карауле стоят два человека, имена которых меньше всего были известны как имена друзей. И вот теперь они пришли к гробу, чтобы отдать покойному свой последний долг... Однако снимок был таков, что можно бы предположить обратное: это Маяковский лежал в "почетном карауле" к этим двум живым мертвецам литературы".

18.5

Регинин рассказывает:

Через несколько минут после того, как Маяковский привел Полонскую к себе, в дверь постучался агент ГИЗа, который пришел за очередным трехрублевым взносом за какую-то книгу. Маяковский разозлился — "Не до вас сейчас, товарищ!", но, кажется, достал эти деньги, и агент ушел. А через некоторый очень короткий срок раздался выстрел, и Полонская выбежала из комнаты Маяковского и стала звать хозяйку или соседей, не знаю. Когда на ее зов прибежали, она растерянно сказала: "Там В.В. застрелился, а мне надо на репетицию ("Нашей молодости")", — и ушла.

У Регинина сидел Бабель и я. Бабель, как и многие, до сих пор не может успокоиться после смерти Маяковского и пришел к Регинину узнать детали, но Регинин вертится ужом и в сущности ничего нового не говорит. Так Бабель и ушел неудовлетворенным. Он между прочим считает, что через 6 месяцев Маяковского совершенно замолчат.

Регинин рассказал, что М. рано утром, за 3 часа до выстрела поехал на телеграф и дал в Париж, дочери художника Ал. Яковлева, в которую был влюблен и для встречи с которой ездил три раза в Париж, — телеграмму: "Маяковский застрелился".

8.6.30.

Истекшей ночью в лит[ературно]-арт[истическом] клубе встретились Бедный, В. Катаев, Регинин, Яроны,* Менделевич, Пессимистов (Швейцер) и я. Разговор, в частности, о Маяковском и о том, как на его похоронах суетились, "распоряжаясь", различные ничтожества вроде П. Германа и Малышева, которые спрашивали, устанавливая "почетные караулы": "Вы где хотите стоять — в голове или в ногах?" Разговор пересыпался цитатами из стихов покойного, вообще за столом сидели поклонники его необычайного таланта. Мрачно слушал явно недовольный таким вниманием к Маяковскому Д. Бедный. — Вообще и смерть его, и похороны произвели на меня несерьезное впечатление, — вставил он.

Катаев рассказывает, что в последние дни Маяковский, играя на биллиарде, говаривал, ударяя шары: "Полжизни я отдам за верность Дездемоны!" Очень ему нравилось, и он повторял часть двустушия Ильфа: "Марк Аврелий — не еврей ли?"

* * *

Как известно, лет пять назад Маяковский напечатал известное стихотворное письмо к Горькому; в письме он требовал возвращения Горького в Россию. Это было похоже, хотя и менее резко, на стихотворение Демьяна "Гнетучка". Но Горький, очевидно, злопамятный человек, если по поводу смерти Маяковского пишет в "Наших достижениях" №6, 1930 в статье "О солитере", отвечая кратко на запрос какого-то читателя, которого он относит к мещанам. Этот читатель спрашивает: "Тов. Горький! Застрелился Маяковский — почему? Вы должны об этом сказать. История не простит Вам молчание ваше". Горький пишет: "Но — лирика — истерический глист питит... единственный". Маяковский сам объяснил, почему он решил умереть. Он объяснил это достаточно определенно. От любви умирают издавна и весьма часто. Вероятно, это делают для того, чтобы причинить неприятность возлюбленной".

И все! Так Горький откликнулся на смерть М.

29.6.30.

Н.Н. Асеев развивает такую версию обстоятельств самоубийства М. Утром 14 апреля, имея в кармане заготовленное заранее письмо о самоуб., М. привез к себе

*Ярон Г.М. (1893-1963) — актер, режиссер; в 1930-м художественный руководитель Московской оперетты.

Полонскую. Произошла беседа, в которой М. предложил П. поехать с ним в Ленинград. Та отказалась. М. вынул револьвер. — Едете или я стреляюсь. — Вместо того, чтобы хотя бы солгать, согласиться, и этим привести ужасную мысль М. к какому-то спокойствию, Полонская выбежала из комнаты с криком "Спасите!", и, как рассказывает хозяйка, после этого раздался выстрел. Асеев ищет психологическую причину нажатия курка и видит ее в том, что Маяковскому больше ничего не оставалось сделать, как выстрелить в себя: крик "Спасите" — могли подумать, что он пытался изнасиловать П. Отказ Полонской ехать в Ленинград, угроза Маяковского убить себя в случае отказа П. ехать — боязнь Маяковского показаться смешным, чего он не терпел. Отсюда — выстрел.

9.7.30.

Актер З.Ю. Даревский рассказывает, что в 1921 г., когда он экзаменовался в студии Вахтангова и предложил прочесть стихи Маяковского "150.000.000", Е.Б.Вахтангов сказал: — Нет, вы прочитайте что-нибудь такое... А то Маяковский непонятен.

— Вы все-таки разрешите...

И Даревский прочел. Впечатление было так велико, что после этого студия приглашала Маяковского по понедельникам читать свои стихи.

11.7.30.

"Бабушка русского диспута" — Маяковский о себе на диспуте в июне 1922 в помещении театра Вахтангова; докладывал Осинский. Впервые там же М. употребил слово "нэпач", тут же записанное Бедным в записную книжку и потом появившееся в его стихах (сообщил Ю.Н. Потехин).

20.7.

Образ "очки-велосипед", данный Маяковским в "Во весь голос", был впервые дан Олешей в "Зависти", затем Д. Алтаузенем в "Безусом энтузиасте" и после них — Маяковским.

23.7.

Бедный звонит: "Беспризорные в Киеве и Одессе поют на мотив "Товарищ, товарищ, болят мои раны" переделанные строки из предсмертного письма Маяковского:

"Товарищ правительство,
корми мою Лилю,
корми мою маму и сестру..."

и добавляет: "Если бы М. знал, что его так переделают беспризорные, наверное не стрелялся бы".

31.7.30.

Арнольд Барский,* киноактер, мой приятель, рассказывает, что в 1929 г. в Евпатории был Маяковский и Николай Эрдман. Арнольд говорит: "Я очень мало смыслю в литературе, но позвольте мне, профану в этом деле, высказать одно соображение. Вот сейчас превозносят Хлебникова, считают его вождем, давшим истоки ЛЕФу. Это мне напоминает избрание папы на конклаве кардиналов, когда наиболее выдающиеся боятся избрать друг друга и избирают середнячка. Так и В. Маяковский не хочет быть вождем, Асеев — тоже, Шкловский — тоже, Эрдман — тоже, и вождем избирают Хлебникова".

Маяковский и Эрдман бросились качать Арнольда, признав его правоту. Потом наедине Маяковский говорит Арнольду: "Только никому об этом не говорите — об том, что мы вас качали".

* * *

В этом санатории все платили по 5 р. в день, а Маяковский — 8, но с правом есть, что хочет и сколько хочет. На этом основании они с Арнольдом опустошали утром тарелки всех отдыхающих, забирая фрукты.

Песенка, которую начали петь беспризорные, гласит так:

"Как говорится
инцидент исперчен
и лодка разбилась о быт,
я с жизнью в расчете,
и не к чему перчень
взаимных болей и обид
товарищ правительство,
прокорми мою маму,
обеспечь мою Лилю и сестру.
В столе лежат 2 тыщи, —
пусть фининспектор взыщет,
а я себе спокойненько умру.
Счастливо оставаться!"

*Барский А.Г. (1897—1969) — режиссер цирковых и эстрадных представлений. Выступал под псевдонимом А. Арнольд.

Кто был Михаил Презент

Рассказ его сына Сергея Иванова

Когда они пришли, первыми их словами было: "Где дневник?" — "Понятия не имею, — сказала мама. — Ищите". Искать долго не пришлось. Они знали, где он лежит и как выглядит. Выдвинули для блезиру пару боковых ящиков, потом средний. И сразу торжествующий возглас: "Вот они, обе тетради!"

Отца дома не было. Накануне он остался ночевать у приятеля, Льва Александровича Канторовича. Утром он позвонил Елизавете Павловне Шмит, на чьем попечении я должен был в этот день остаться. Она сказала отцу, что идет обыск, его ждут и моя мама не на работе, а с ними, в его кабинете.

"Пусть не ждут, — сказал отец раздраженно, представив себе, очевидно, во что превращен его кабинет. — Я сам сейчас пойду туда. Поцелуйте Сережу и Надежду Владимировну" (они, конечно, ждали, пока им не позвонили, что он пришел). Уходя, он снял с руки часы и оставил их Льву Александровичу — для меня. Красивые старинные часы с темно-синими стрелками, фирмы "Павел Буре".

Вот и все, что мне осталось от отца, не считая фотографий, писем и нескольких книг. Скрипку мама продала. Библиотеку, занимавшую весь наш коридор, тоже. Многие годы я мечтал, чтобы в букинистическом магазине мне попалась какая-нибудь книга с пометками отца. Увы! И вот вдруг целый дневник в "Огоньке" — одна из двух конфискованных тетрадей. И последнее, тюремное фото отца. Он в зимнем пальто, в рубашке без воротника и без галстука, уже хлебнувший первых лубянского унижений.

Годом раньше его вызвали на Лубянку, да там и оставили. Мама сразу же бросилась звонить Енукидзе, секретарю ЦИКа, который не знаю за что благоволил к отцу, одно время работавшему под его началом, и тому каким-

то чудом удалось отвоевать его у Ягоды. Но на этот раз взывать к Енукидзе было поздно: его уже обложили со всех сторон. Да и время чудес миновало: шел февраль 35-го, а в декабре 34-го был убит Киров.

Лифт не работает, мы поднимаемся с отцом по лестнице, и я спрашиваю его, от чего умер Киров. "Поднимался так же вот по лестнице, наступил на апельсиновую корку, поскользнулся и ударился головой о ступеньку". Я понимаю, что это он придумал на ходу, чтобы я смотрел под ноги, а не считал ворон. Знаю ли я сам, что Киров не просто умер, а его убили? Во всяком случае всю зиму дети нашего подъезда играют в убийство Кирова, меняясь ролями, чтобы не было обидно. Как сейчас вижу толстую девочку Галю Рабинович, которая была Киров. Она выходит из своей комнаты ("идет на работу"), а я, злодей Николаев, притаившийся в коридоре, должен в нее из чего-то выстрелить. Внезапно слезы заливают мое лицо, мне жалко Кирова, но в этой слабости, нарушающей игру, признаться я не могу и говорю, что мама не разрешает мне играть в игры, где убивают.

А мама тем временем доходит до самого Вышинского. Старшая дочь маминой приятельницы Елизаветы Павловны Шмит Нина дружна с его дочерью Зиной. Зина постоянно бывает в нашей квартире, ее уговаривают попросить отца "выяснить в чем дело", "разобраться", "помочь". Через некоторое время Зина приходит с ответом: папа просил передать, что Презенту помочь ничем нельзя, в его "изоляции" заинтересованы "высшие силы". А вот Надежда Владимировна с Сережей могут жить спокойно, никто их не тронет. Когда лет через десять мама рассказала мне об этих хлопотах и об ответе Вышинского, я испытал чувство гордости. Погубить моего отца распорядился Сам. Высшие силы! Я воспринимал это как знак особой милости. Лишь постепенно, к середине 50-х, моя гордость приобрела противоположное направление — вот кому насолил мой отец.

Зину Вышинскую я встретил через полвека, на похоронах Нины. Мы оказались рядом в автобусе, она узнала

меня и пожаловалась на то, что на Андрея Януарьевича, ее отца, много теперь возводят напраслины и клеветы. Конечно, он был сложный человек, но он был добр, и не его вина, что он не мог помочь всем, кому хотел.

Летом 35-го меня отправили с бабушкой в Галич — подальше от Москвы, от маминых слез, от перетаскиваний мебели. Сохранились три моих письма из Галича. В первом сообщается, что галичское озеро шире Волги, что я ем малину и сметану и скучаю по маме. Дальше идет такая фраза: "Если папа не приедет, значит, он и правда умер". И все это заключено в орнамент из любимой геометрии тогдашней детворы: ромбы, шпалы, кубики, треугольники — полный набор знаков отличия Красной Армии. А на оставшемся месте в качестве части орнамента слово "Ворошилов".

Папа и правда умер. Не прожив в тюрьме и четырех месяцев. Не дожив и до 37 лет. Маму вдруг вызвали на родную Лубянку и вручили справку, что Президент М.Я. умер 3 июня 1935 года от сахарного мочеизнурения в такой-то больнице. Кроме справки, маме дали квитанцию, по которой она могла получить в крематории урну с прахом своего мужа и похоронить, где ей захочется. В той печи его, выходит, и сожгли, в которую они с Демьяном заглядывали, когда горел Маяковский. И там же, в крематории, в стене, мама его и похоронила. Я, когда бывал в Донском, у отца, заходил и в колумбарий к Маяковскому: вот уж где он был одинок так одинок.

Маме сказали, что она может нигде не писать и никому не говорить, что ее муж был репрессирован. Он просто умер, и все. А так как он был кормильцем, то его сыну полагается пенсия — за смертью кормильца. И вот не успел я вернуться из Галича, как мне почтальон стал ежемесячно приносить пенсию — 76 рублей. Представляете, как меня распирало от гордости (еще от одной), и как я старался не подать и виду, что горжусь, когда расписывался в тетради у почтальона. Кто еще из моих сверстников получал пенсию? А я получал ее до 1946

года, когда мне, к моему великому сожалению, исполнилось 16 лет и я мог прокормить себя сам.

И все это — справка из больницы, урна, дружеский совет нигде не писать и, наконец, пенсия, — все это оттого, что отец не дотянул до суда или, выражаясь юридическим языком, до того, как ему предъявили обвинение.

Что его так быстро свело в могилу, нетрудно догадаться. Это-то я понимал всегда. С медицинской точки зрения причину смерти они указали верно: сахарное мочеизнурение, или диабет. В конце 70-х Владимир Юрьевич Стеклов рассказал мне, что он встретил на Колыме человека, который сидел в одной камере с моим отцом и помнил, как у отца отнимались ноги. Отнимались ноги — типичный диабет, типичней не бывает. Разыгрался же он столь бурно оттого, что ни самому ему колоть себе инсулин не давали — у заключенного да шприц! — ни сами толком не кололи. А, может, и вообще не кололи. Как уж точно было дело, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Все 113 дней, проведенных на Лубянке и в Бутырках, он умирал.

В 70-х годах имя В.Ю. Стеклова стало широко известно среди интеллигенции. Руководитель информационной службы в области энергетики, он брал на работу всех, у кого случались неприятности на почве политики.

Давно мне хотелось порасспросить его о моем отце. Он был старше меня на 20 лет и должен был многое помнить. В маминых бумагах хранилась единственная открытка его матери Софьи Яковлевны из-под Уфы — единственная и прощальная. Я отыскал ее и отправился к Владимиру Юрьевичу. Он рассказал мне о своей колымской встрече с сокамерником моего отца и о том, как однажды к его отцу забрел Демьян Бедный и сокрушенно воскликнул: "Юрий Михайлович, слышал ли ты, что Президент дневник пишет и нас с тобой там, небось, описывает?" Я, в свою очередь, рассказал Владимиру Юрьевичу, как Демьян кричал в каком-то литературном кафе: "Я этого Мишку Презента посажу!" О демьяновой угрозе

мама знала со слов отца. — "Мог, мог Демьян и кричать, мог и стукнуть, и не кому-нибудь, а прямо Кобе, — усмехнулся Владимир Юрьевич. — И дружили, и жили рядышком". Я рассказал про ответ Вышинского, про "высшие силы". "Ну, вот видите", — сказал Владимир Юрьевич.

Все сходилось. В 35-м отца взяли как участника "кремлевского заговора", в котором был замешан чуть ли не весь секретариат Енукидзе. Об этом я узнал давно от Ирины Каллистратовны Гогуа, которая сама работала у Енукидзе и была арестована одной из первых. Но в качестве кого его пытались посадить в 34-м? И почему, явившись под утро 11 февраля, они первым делом спросили про дневник? Не будь дневника и первого ареста, может быть, за ним бы и не пришли? Ведь он уже давно не работал у Енукидзе — был помощником главного редактора ГИХЛа — Издательства художественной литературы.

Сходилось, впрочем, не все. Неизвестно мне было, за что так невзлюбил Михаила Яковлевича Презента Ефим Алексеевич Придворов, он же пролетарский поэт Демьян Бедный. Теперь, после публикации в "Огоньке" дневника "О Маяковском", понятно, за что мог невзлюбить. В самом неприглядном виде предстает там Демьян — черный завистник и беспросветный профан в поэзии, воплощенное самодовольство и темнота. Таков он, кстати, и в своей речи на Первом всесоюзном съезде советских писателей. Стенографический отчет об этом съезде — книжищу энциклопедического объема и формата — отец подготовил к печати в молниеносный срок. Это была одна из двух известных мне книг, на которых стояло его имя. Другая была авторская: "Заметки редактора". Вышла она в Ленинграде в 1932 году тиражом 5500 экземпляров. Это был первый залп по канцеляризмам, предтеча пособий по стилистике Д.Э. Розенталя и статей Корнея Чуковского. Думаю, что "Заметкам редактора" отец отчасти и обязан тем, что ему поручили готовить к печати съездовский "Отчет". Четыре года назад "Отчет" пере-

издали, и я, не веря своим глазам, купил его в Лавке писателей, заглянув, конечно, перед тем в выходные данные.

Не все, не все еще сходится. За что мог невзлюбить, понятно, но откуда узнал о дневнике? Не показывал же отец Демьяну свои записи. Демьяну не показывал, но кому-нибудь еще мог показать. Или, скорее всего, нечаянно забыть на столе и надолго выйти из кабинета, оставив гостя сгорать от любопытства. Или гостью. Имя такой гостьи нам с мамой было известно: Галина Серебрякова. После ее визита отец недосчитался черновых записей, а одна из чистовых тетрадей лежала не на своем месте.

Что же было там, во второй тетради? Что узрел в ней Поскребышев, к которому ее доставили в день ареста отца, листал ли ее хозяин Поскребышева? Как пишет Валентин Иванович Скорятин, публикатор первой тетради, "О Маяковском", имя этого хозяина встречается во второй тетради. Да и как же иначе! Не загорелся бы тогда сыр-бор с дневником. Мама помнила только одно: там были записи о встречах Горького с Ромэном Ролланом, о которых рассказывал отцу кто-то из очевидцев, и об его собственных встречах с Горьким в дни, когда он готовил к печати отчет о съезде писателей. Увидим ли мы этот второй дневник?

Всю жизнь в моем сознании голос отца звучал как-то отдаленно, немного искусственно. Были слова в маминых пересказах, в нескольких коротких письмах, в отрывочных моих воспоминаниях — не было ж и в о й и н т о н а ц и и . "Заметки редактора" — книга слишком специальная; в ней есть сарказм, есть даже гнев, но и сарказм, и гнев направлены против обобщенного бюрократа — не то. Были слова, были даже поступки — Гогуа видела, как однажды отец летел по Мясницкой на свидание с букетом гортензий. Борис Юльевич Мурин, журналист, долгий гулаговский узник, мудрый наставник мой, уверял меня, что однажды на ступеньках Дома ученых, в его присутствии, отец мой закатил пощечину юмористу

Иванову-Грамену за какую-то антисемитскую выходку... И вот теперь все по-настоящему сошлось — не кто пронюхал про дневник, и кто куда настучал (черт с ними, в конце концов!), — нет, сошлись поступки, слова и интонация автора дневника "О Маяковском". Я слышу и вижу его, я его представляю себе и понимаю. Я оплакиваю его и восхищаюсь им. Не может быть, чтобы не вырвалась из темницы на свет Божий и вторая тетрадь, второй дневник.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинами жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD.20852
USA

ПАМУКАЛЕ — ГОРОД ТРЕХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Многие читатели, возможно, даже не слышали о существовании этого фантастически интересного места на нашей планете. По-турецки его называют "Памукале". Другое его имя восходит к древней Элладе — "Гираполис", или Гираполь. Два имени отражают два "чуда" этого поселения, затерявшегося среди горных ущелий бывшей Османской империи, к северу от Эгейского моря.

В переводе на русский Памукале означает "котоновые замки", появление которых, впрочем, имеет вполне прозаическое объяснение. Упомянутые замки возводились здесь самой природой: тысячелетиями горячие минеральные источники, выделяя из своих вод углекислый газ, оставляли после себя многослойные известковые образования в виде причудливых многоэтажных террас, отличавшихся ослепительно снежной белизной. Согласно преданию, древнейший из этих источников бил ключом из так наз. "пещеры дьявола", имевшей столь высокую концентрацию углекислого газа, что стоило, например, туда залететь птице, как она тотчас погибала.

Зарождение Памукале окутано множеством легенд, которые столь тесно переплетаются с сохранившимися здесь осколками древних цивилизаций, что временами невозможно определить, где кончаются предания и где

вступает в свои права археология, проявляющая все больший интерес к прошлому Памукале.

Стоит обратиться к его другому, древне-эллинскому имени — Гираполь, ("святой город"), как открывается возможность прикоснуться сразу к трем древним цивилизациям, через которые прошел этот белоснежный "котоновый" город и следы которых сохранились до наших дней: древняя Эллада, за ней древний Рим и, наконец, возникшая на его развалинах Византия.

О самом существовании Гираполя стало известно лишь в 80-х годах прошлого столетия, когда были осуществлены первые раскопки древнего города, завершённые в 1957 году экспедицией итальянских археологов, возглавляемой профессором Паоло Верзона. Столь поздно пришедшая известность выглядит тем более странной, что первые упоминания об этих местах мы находим еще у Геродота и Страбона, в V веке до нашей эры. Но и по сей день, несмотря на многочисленные раскопки, археологи не располагают достаточно широкой и достоверной информацией о древнем Гираполе. Известно лишь, что он был основан приблизительно в III веке до нашей эры королем Зуменом II, что в эпоху Тиберия город постигло страшное землетрясение, хотя в виде руин он сохранился даже во времена правления Нерона, и, восстав из небытия, вступил в свой третий век, известный как золотой век Гираполя. Источники подчеркивают, что к этому времени здесь уже успешно развивалось искусство обработки камня и металлов, создавались скульптурные рельефы на мраморных плитах, было налажено широкое производство изделий из шерсти и хлопка, при этом расписные ткани и ковры гирапольских мастеров пользовались известностью во многих провинциях Римской империи, не говоря о том, сколь привлекательны для соседей были целебные источники Памукале.

Что же представляют собой эти места в наши дни? Словами трудно описать фантастический облик этого древнего города. Памукале нужно видеть. Видеть его снежные котоновые замки, его древние улицы, его разрушенные временем римские бани, колонны и арки, остатки его мавзолеев и саркофагов. Все это и побудило нас обратиться к жанру Вернисажа, страницы которого помогут читателям увидеть Памукале "живым" со всеми его чудесами, главное из которых — следы ушедших цивилизаций.

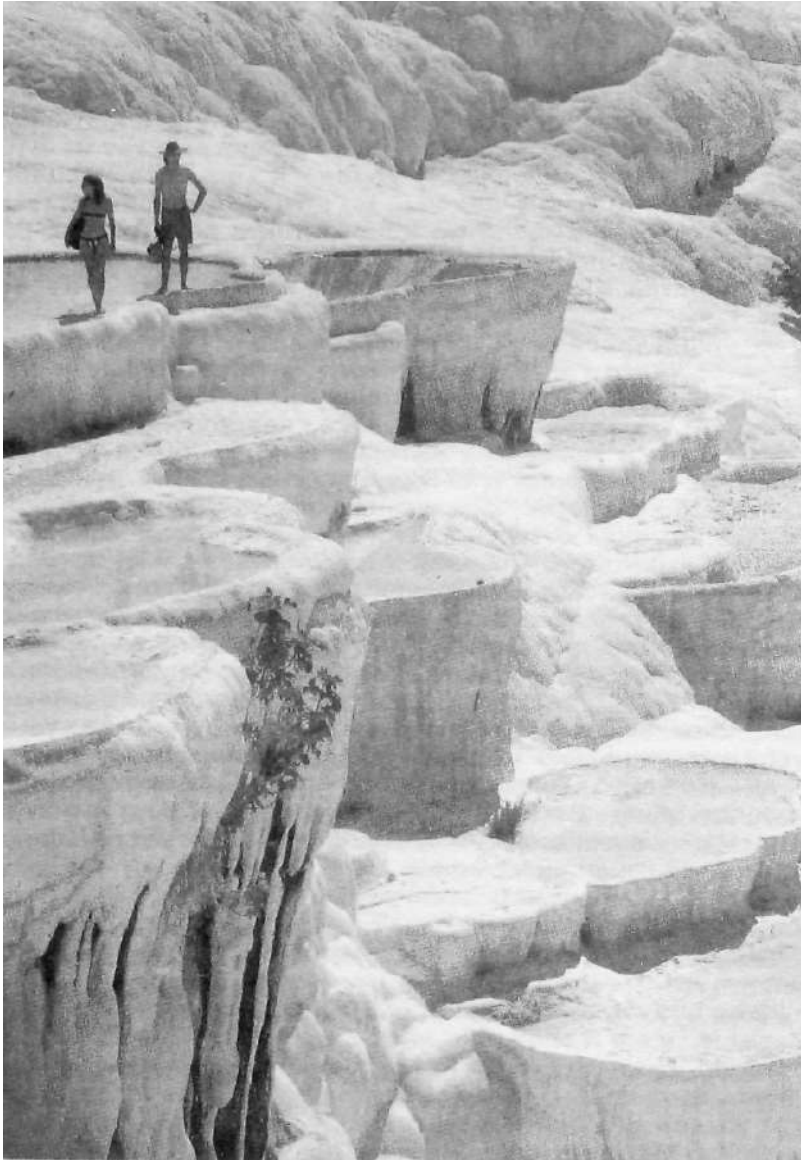
Археологами доказано, что Гираполь, занимавший территорию, равную 800 тысячам квадратных метров, строился по единому проекту и состоял из перпендикулярно расположенных улиц, главная из которых длиной в кило-

метр шла с севера на юг, затем раздваивалась и заканчивалась воротами, напоминающими Арку победы. В Гираполе существовали северные и южные ворота. Неподалеку от главной улицы располагались знаменитые римские бани, каждая из которых имела зал для ванн, парную и прохладительный зал для отдыха. К бане примыкала гигантская палиестра для проведения спортивных игр и официальных церемоний. По свидетельству некоторых источников, население города в годы его расцвета достигало 100 тысяч человек. По другим источникам (согласно которым император Константин в золотой век Византийской империи сделал Гираполь столицей Фиригии), большинство жителей города в то время составляли евреи.

Из числа дошедших до нас строений лучше всего сохранился театр Гираполя, рассчитанный на 25 тысяч зрителей. Фасад театральной сцены украшен искусно выполненными по мрамору рельефами, изображающими картины быта и увлечений жителей города.

На его территории и сегодня можно увидеть руины византийских базилик, фрагменты храма Аполлона. Некрополь, на стенах которых различимы мастерски выполненные орнаменты, и, наконец, построенные позже, по-видимому, уже в византийскую эпоху, стены города. По правую сторону от главной улицы расположено кладбище, насчитывающее более тысячи могил, на некоторых саркофагах прочитываются профессии похороненных, их пожелания и последняя воля, записанные одновременно греческими и римскими буквами. Согласно источникам, в городе существовало несколько таких кладбищ, отличавшихся друг от друга по социальному признаку — кладбище простолудин, кладбище богачей и кладбище героев, составляющих высшее сословие жителей Гираполя.

*В. Петровский,
Стамбул — Мармарис — Памукале*



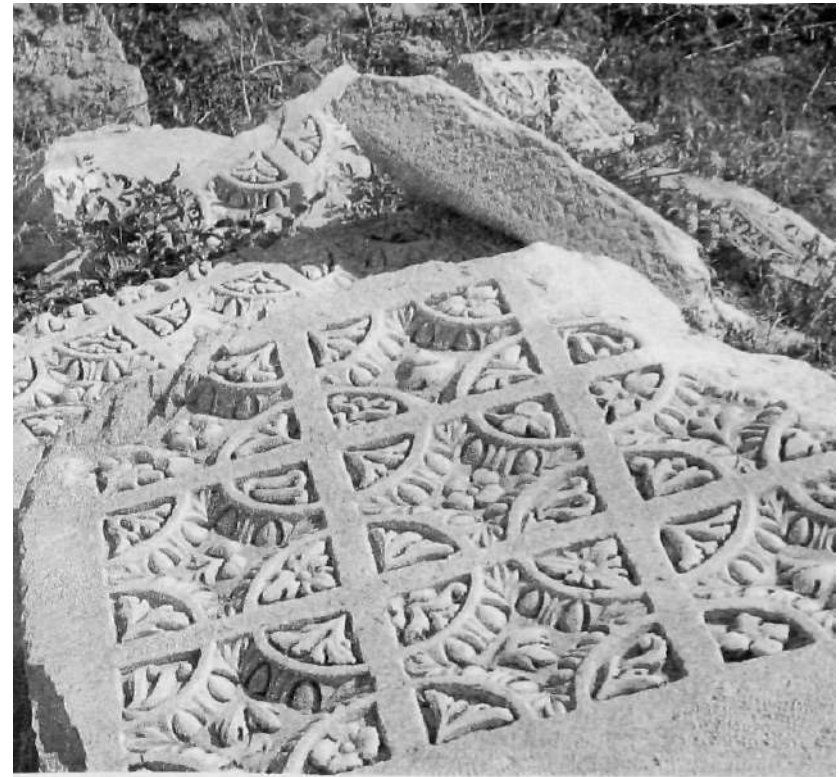
КОТОНОВЫЕ ЗАМКИ



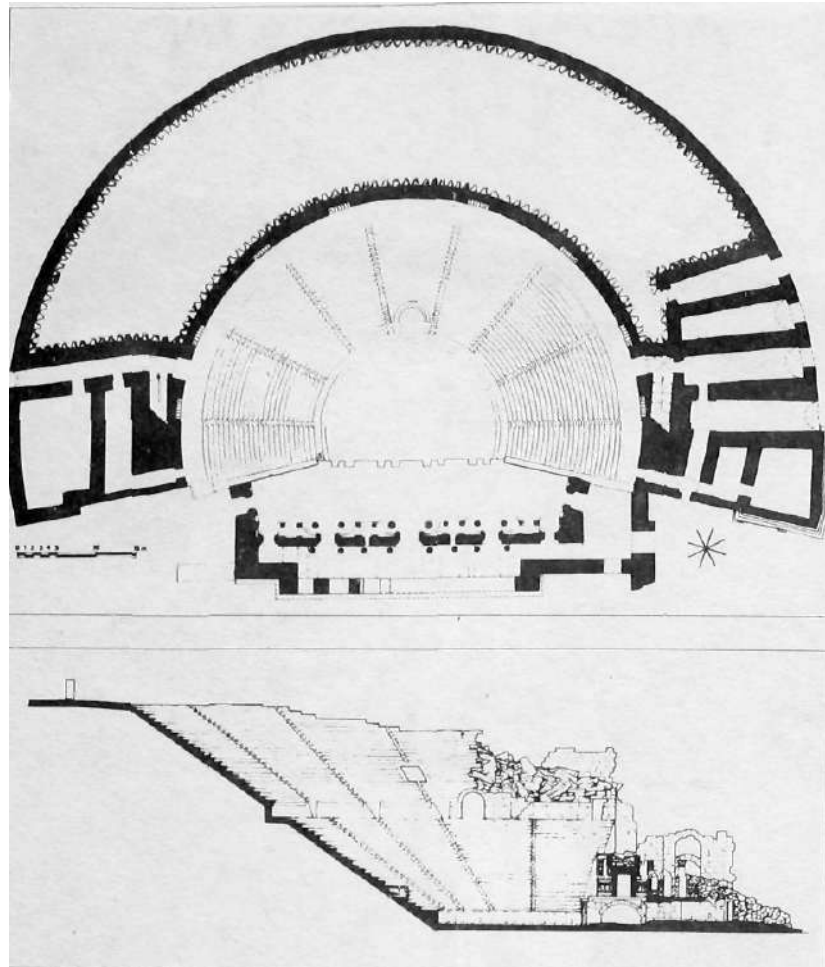
РИМСКАЯ БАНЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА



СТАТУЯ БОГИНИ ПЛОДОРОДИЯ ДЕМЕТРЫ



РУИНЫ ХРАМА АПОЛЛОНА



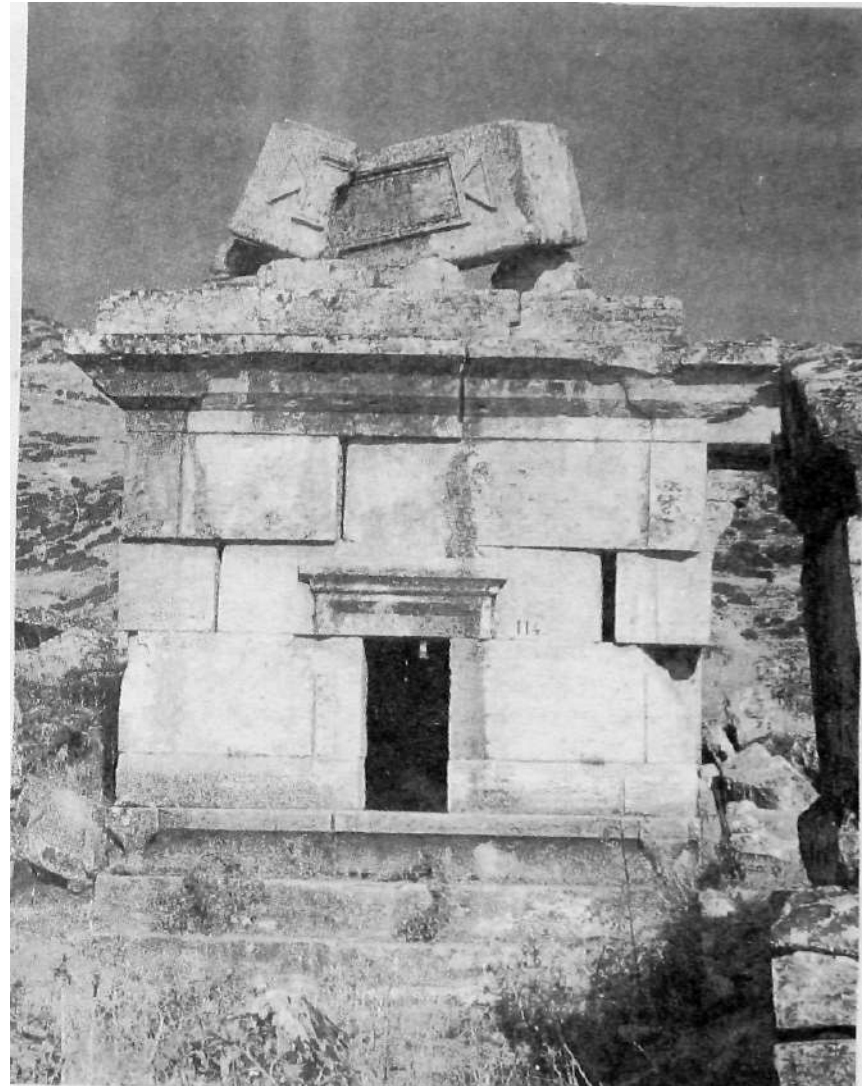
ПЛАН ТЕАТРА



ТЕАТРАЛЬНАЯ СТЕНА С РЕЛЬЕФАМИ,
ИЗОБРАЖАЮЩИМИ УВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГИРАПОЛЯ



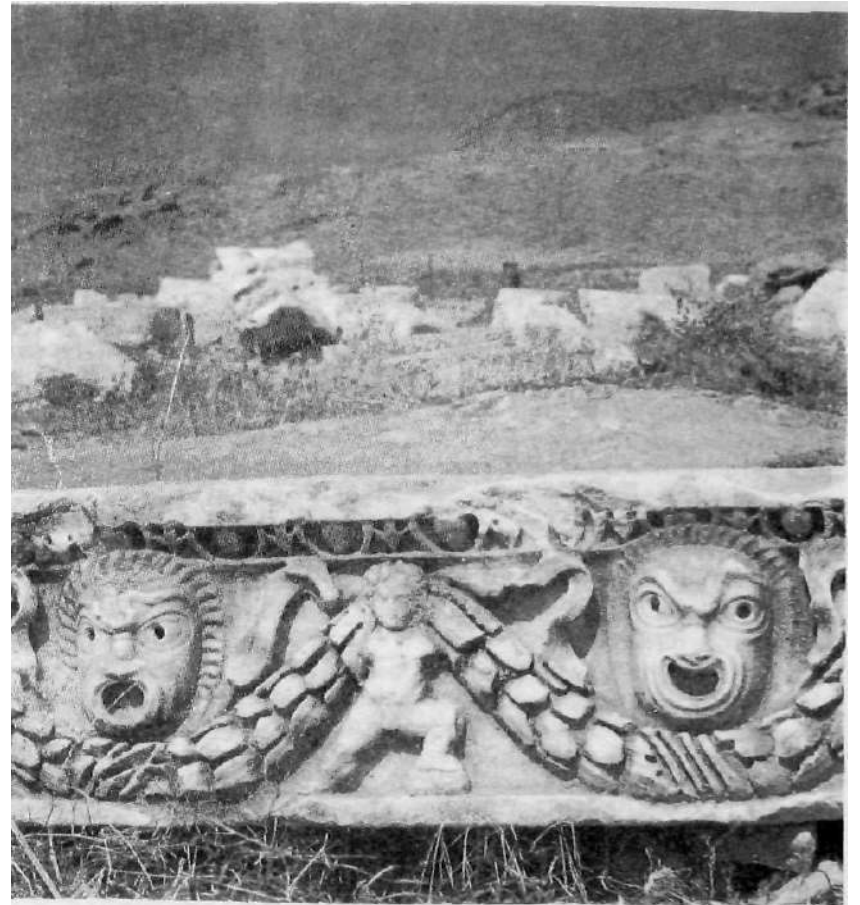
НЕКРОПОЛЬ, ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ САРКОФАГ



САРКОФАГ, ПОСТРОЕННЫЙ В ВИДЕ ДОМА



**РЕЛЬЕФ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЛЬВОВ,
РАЗДИРАЮЩИХ ГОЛОВЫ БЫКОВ**



МРАМОРНАЯ МАСКА НА ФРОНТАЛЬНОЙ СТЕНЕ ТЕАТРА

АБРАМ Б. ЙЕГОШУА. Родился в Иерусалиме в 1936 году. Окончил факультет философии и израильской литературы Иерусалимского университета. В течение трех лет возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. С 1972 года стал полным профессором сравнительной литературы Хайфского университета. Удостоен литературных премий Бреннера, Альтермана, Бялика. Публикуется в толстых литературных журналах Израиля: "Кешет" ("Радуга"), "Ахшав" ("Сейчас"), "Симан крия" ("Знак препинания"). Произведения А.Б. Йегошуа переведены на английский, французский и другие европейские языки.

НАТАЛЬЯ ВОЛЬБЕРГ. Родилась в Москве. В 1953 году окончила географический факультет Ленинградского университета и факультет русского языка и литературы пединститута им. Покровского. Работала инженером-гидрологом, корректором, литературным редактором. В Израиль эмигрировала в 1973 году, окончила Беер-Шевское педагогическое училище, в течение последних тридцати лет на педагогической работе. Перевела с иврита на русский ряд произведений израильских писателей.

ВЕРА ЗУБАРЕВА. Родилась в Одессе. Эмигрировала в США в 1990 году. Учится в докторантуре Пенсильванского университета. Автор нескольких стихотворных сборников, вышедших в Америке. Постоянно публикуется в периодической печати.

ПЕТР БОЛДЫРЕВ. Окончил философский факультет ЛГУ. Член американской философской ассоциации. Принимал участие в ленинградском диссидентском культурном движении за свободу творчества. Эмигрировал в 1976 году. Статьи и выступления П. Болдырева публиковались в США, Канаде, Европе и Австралии. В 1993 году в Американском издательстве "Эрмитаж" вышла книга П. Болдырева "Уроки России".

ЛЕВ НАВРОЗОВ. см. "Время и мы" №119.

ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР. Родился в 1927 году, в Днепропетровске. В 1946 году окончил механико-математический факультет МГУ. В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию по математике, а в 1980 году — докторскую — по философским проблемам науки. В 1970 году принял римско-католическое вероисповедание. В настоящее время главный научный сотрудник Института передачи информации и профессор колледжа католической философии им. Св. Фомы Аквинского. Автор свыше 570 научно-философских и публицистических работ. Член редколлегии журнала "Новая Европа". С 1993 года — действительный член Академии естественных наук.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Главный редактор журнала "Время и мы", см. №118.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ. Родился в 1930 году в Москве. Окончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Работал в издательстве "Знание", агентстве печати "Новости", член Союза писателей, автор 22 научно-популярных книг. В настоящее время живет в США. Систематически выступает на радио "Свобода" и в газете "Новое русское слово".

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ТЕАТР АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров

СОДЕРЖАНИЕ:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ»

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201) 592-6155**

**Цена книги 10 долларов.
В книге 254 стр.**

SUMMARY OF VREMYA I MY [TIME AND WE] №121

A.B. Yogoshua, *The Lover*. The concluding chapters of the novel by the prominent Israeli writer. The novel, narrated by its central characters, chronicles the life of an Israeli family, including war and the moral problems arising within family and society.

Vera Zubareva, "The Play of Fantasy." Modern verses.

Alexander Shklyarinsky, "Prayer." Modern verses.

Pyotr Boldyrev, "But the Eternal Law Is Above Us." The essay examines the relationship between law and morality in American society. Defending a conservative approach to the U.S. Constitution, the author asserts that liberal policies contradict the spirit of American society and objectively contribute to the erosion of the Constitution.

V. Bogoyavlensky, "American Television as Art and Narcotic." The author critically examines several aspects of American television, showing that in selecting movies and TV programs, broadcast companies sacrifice art to commerce, exerting a negative influence on viewers' tastes.

Lev Navrozov, "Midnight Is Near, and G. Still Has Not Come." A scathing critical essay on modern Russian prose examines the most notable works published in Russia's "fat" literary journals over the past year.

Yuli Schreider, "Solzhenitsyn's Truth and Shalamov's Truth." A comparative analysis of styles: Solzhenitsyn's realism vs. Shalamov's post-modernism.

Victor Perelman, "There Once Lived a Soldier..." A new feature, "Destinies", offers the story of the June 1993 suicide of Dr. Safonov.

"The Confession of an Executioner." The reminiscences of

Yakov Yurovsky, who organized the slaughter of the Romanoff royal family.

Sergei Ivanov, "My Father Witnessed Mayakovsky's Death." Pages from the diary of Vladimir Mayakovsky's contemporary, Mikhail Present, and the reminiscences of his son, New York journalist Sergei Ivanov.

Д. ШТУРМАН и С. ТИКТИН

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ**В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНЕКДОТА**

издание второе исправленное и дополненное

Цена книги — 21 доллар. Для подписчиков цена, включая доставку заказной бандеролью морем — 16 долл, авиапочтой — 17,5 долл. Некоторое повышение стоимости книги вызвано увеличением ее объема, в основном, за счет НОВЫХ анекдотов, богатых событиями 1985-1986 гг.

Чеки посылать по адресу:

S.Tictin, 422/6 Misrakh Talpiot. Jerusalem 93802, Israel

Просьба к подписчикам сообщать свой подробный адрес.

"ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ ФИНАНСОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ РЕДАКЦИЯ ОБРАЩАЕТСЯ К СВОИМ ЧИТАТЕЛЯМ-ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ С ПРОСЬБОЙ ПОДДРЕЖАТЬ ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ". В ЭТИХ ЦЕЛЯХ, НАЧИНАЯ С 120 НОМЕРА, УЧРЕЖДАЕТСЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ЖУРНАЛА. СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ В ЭТОТ ФОНД, БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ В НЫНЕШНИХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ГАРАНТИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ИЗДАНИЯ.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федины, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М. Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:

Time and We, 409 Highwood Avenue, Leonia, N.J. 07605

БИБЛИОТЕКА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ВРЕМЯ И МЫ"

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

ЭТО КНИГА О ПОБЕГЕ НА ЗАПАД ВИДНЫХ СОВЕТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ, ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ И ДИПЛОМАТОВ (ИГНАТИЯ РЕЙССА, ВАЛЬТЕРА КРИВИЦКОГО, ГРИГОРИЯ БЕСЕДОВСКОГО, ГЕОРГИЯ АГАБЕКОВА, АЛЕКСАНДРА ОРЛОВА, БОРИСА БАЖАНОВА И ДР.), О ИХ СТРЕМЛЕНИИ ОТКРЫТЬ ЗАПАДУ ГЛАЗА НА СТАЛИНСКУЮ РОССИЮ, О ИХ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЗАПАДНЫМИ РАЗВЕДКАМИ, О ПРОИСКАХ СОВЕТСКОЙ АГЕНТУРЫ В ЕВРОПЕ И НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ.

КНИГА РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ РАСПРАВЫ НЕОТСТУПНО ПРЕСЛЕДУЕТ КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ПЕРЕБЕЖЧИКА. РАНО ИЛИ ПОЗДНО РУКА СОВЕТСКОЙ ПОЛИЦИИ НАСТИГАЕТ ОДНИХ, И ПЕРЕД ВЕЧНОЙ УГРОЗОЙ РАСПРАВЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ЖИЗНИ ЖИВУТ ДРУГИЕ.

ГОРДОН БРУК-ШЕФЕРД — ИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ПУБЛИЦИСТ — ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНУЮ, УНИКАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОБРАННУЮ ИМ ВО МНОГИХ СТРАНАХ МИРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАД КНИГОЙ.

КНИГА ПЕРЕЖИЛА НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВЕДЕНА НА МНОГИЕ ЯЗЫКИ МИРА

Цена книги - 15 долларов.

Заказы и чеки высылать по адресу:

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel.: (201) 592-6155**

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо и окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАГИНОВ. Труды и дни Свистонова. - 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Соборная. — 5 долларов.
 А. РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. - 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. - 12 долларов
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. - 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.
 Готовится к печати:
 В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEIN'S ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477. USA.

Владимир Карцев РЕГОТМАС

Новая книга Владимира Карцева "РЕГОТМАС" - это нарядный литературный коллаж о шестидесятих-восемидесятих годах, о встречах со знаменитыми российскими и американскими учеными, художниками, писателями, издателями, увиденными в новом, порой поразительном ракурсе. Это также и размышления о вечных загадках "человеческого" времени, неожиданно перекликающиеся с идеями кембриджского физика Хокинга. Эта экспериментальная работа стала двадцать первой книгой Владимира Карцева и "распечатала" третий миллион экземпляров общего количества его книг, переведенных во многих странах мира.

Владимир КАРЦЕВ (Володин) - один из наиболее интересных русскоязычных писателей, ныне живущих в США, родился в 1938 году в Самарканде, учился в Ленинграде. Журналистикой занимается с 1956 года, первая книга вышла в 1966 году. Начав с научной популяризации ("Приключения великих уравнений"), Владимир Карцев всю свою жизнь в литературе двигался к созданию собственного стиля, наиболее отчетливо проявившегося в биографии Ньютона (1987). Работал в московских и нью-йоркских издательствах. В Союз писателей вступил по рекомендации Льва Разгона, Юрия Нагибина и Даниила Данина. К одной из его книг ("Трактат о притяженьи") предисловие написал академик Андрей Сахаров. В США с 1989 года.

Книга (113 с, м.о., с иллюстрациями О.Целкова, Ю. Соостера и др. известных художников) может быть заказана через издательство "Fort Ross, Inc." по адресу: 79 Madison Ave, Suite 1106, New York, NY 10016. Тираж книги ограничен, все экземпляры номерные. Возможна персонализация автографа. Цена книги - \$8.95, с автографом - \$10.95, с персонализированным автографом - \$14.95, пересылка одной книги \$1.50, каждой последующей - \$0.50. Чеки и мани-ордеры.

Виктор Перельман „Грехопадение Цезаря“.

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа - выходцы из среды московской богемы, - оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия - жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности - тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закуулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и вышедшей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться потомно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «УЗНИК РОССИИ»

По следам неизвестного Пушкина

Легальные и тайные попытки Александра Сергеевича Пушкина выбраться за границу сразу после окончания Лицея в качестве дипломата и путешественника, а затем из Кишиневской и Одесской ссылки (1817-1824). Решение бежать в Константинополь, а оттуда в Италию с помощью контрабандистов. Новый взгляд на известные факты психологической биографии поэта.

Antiquary Publishers, 1992, 254 с, \$ 25
594 Chestnut Ridge Rd. Orange, CT 06477

ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ «ДОСЬЕ БЕГЛЕЦА»

По следам неизвестного Пушкина

Настойчивое желание великого поэта добиться разрешения отправиться в Европу из ссылки в Михайловском и из Москвы (1824-1829). После отказов Николая I и Бенкендорфа - подготовка к побегу под видом слуги своего приятеля и для лечения болезни, которую он выдумал, подкрепив справкой ветеринара. История вербовки Пушкина в осведомители с обещанием выпустить в Европу. Путешествие поэта в Арзрум с целью нелегально перейти турецкую границу.

Hermitage Publishers, 1993, 271 с, \$ 15
P.O.Box 410 Tenafly, NJ 07670

На основе критического изучения огромной литературы, писем современников и архивов тайной полиции известный писатель и профессор русской литературной истории Калифорнийского университета впервые в пушкинистике исследует страстное желание поэта покинуть Россию, в которой, как Пушкин сам выразился, черт догадал его родиться с душой и талантом.

ТАМАРА МАЙСКАЯ
«КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюз, д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

Владимир СОЛОВЬЕВ, Елена КЛЕПИКОВА

БОРЬБА В КРЕМЛЕ —

ОТ АНДРОПОВА ДО ГОРБАЧЕВА

Вслед за американским изданием (издательство "Додд, Мид"), весной 1986 года "Время и мы" выпустило книгу Владимира Соловьева и Елены Клепиковой "Борьба в Кремле — от Андропова до Горбачева".

Для русского издания авторы предоставили дополнительные материалы, не вошедшие в английское издание книги.

**ПРЕДЕЛЫ ПОНИМАНИЯ. ЧТО МИР ЗНАЕТ О КРЕМЛЕ И ЧТО
 КРЕМЛЬ — О МИРЕ**

**О ТОМ КАК СТРАНА УПРАВЛЯЛАСЬ СО СМЕРТНОГО ОДРА
 ДУЭЛЬ У ГРОБА АНДРОПОВА, ИЛИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО
 В КРЕМЛЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ МЕЖДУ ЕГО СМЕРТЬЮ И ЕГО
 ПОХОРОНАМИ**

**ИНТЕРМЕЦЦО С КОНСТАНТИНОМ ЧЕРНЕНКО
 ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМПЕРИИ — КГБ
 ГАМЛЕТОВЫ СОМНЕНИЯ КРЕМЛЯ: КАК БЫТЬ С ПОЛЬШЕЙ
 ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕМЛЕВСКИХ МАФИЙ, ИЛИ ПОЧЕМУ
 В КРЕМЛЕ НЕТ ЕВРЕЕВ, ЖЕНЩИН, МОСКВИЧЕЙ И ВОЕННЫХ?
 КОРОЛЬ УМЕР — ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!**

**ЗНАКОМЬТЕСЬ: МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
 ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬСКИЕ ПЕНАТЫ**

**БАЛОВЕНЬ ПОЛИТБЮРО
 ТЕНЬ СТАЛИНА НАД КРЕМЛЕМ
 КРЕМЛЬ, ИМПЕРИЯ И НАРОД ИЛИ ПАРАДОКС НАРОДОВЛАСТИЯ
 Цена книги — 16 долларов.**

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
 409 Highwood Avenue
 Leonia, NJ 07605, USA

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 120

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзапф, Борис Щрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова, Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1386 доп.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала,
в качестве подарка получает полный комплект книг
издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue,
Leonia, NJ 07605, USA

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1993

УСТАНОВЛЕННЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов;
с целью экономической поддержки редакции — 69 дол-
ларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларам чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. и высылаются по адресу «Time and We»

409 HIGHWOOD AVENUE. LEONIA. NJ 07605. USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера Журнал высыпать обычной (авиа) почтой по адресу:

.....

.....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

409 High wood Avenue, Leonia, NJ07606

(201) 592-6155

OCR и вычитка — Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Театр Гираполя”.**

